МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

9

1939

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

Художественная литература, наука, искусство, публицистика, критика

ГОД ИЗДАНИЯ XVIII

ВЫХОДИТ ПОД РЕДАКЦИЕЙ Б. ЛАПИНА, В. ЛУГОВСКОГО, Л. [illegible], И. ПАПАНИНА, Л. СЛАВИНА, Б. ЧИРКОВА

1939

КНИГА ДЕВЯТАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЧЬ ПО РАДИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР ТОВ. В. М. МОЛОТОВА

17 сентября 1939 г.

Товарищи! Граждане и гражданки нашей великой страны!

События, вызванные польско-германской войной, показали внутреннюю несостоятельность и явную недееспособность польского государства. Польские правящие круги обанкротились. Все это призошло за самый короткий срок.

Прошло каких-нибудь две недели, а Польша уже потеряла все свои промышленные очаги, потеряла большую часть крупных городов и культурных центров. Нет больше и Варшавы, как столицы польского государства. Никто не знает о местопребывании польского правительства. Население Польши брошено его незадачливыми руководителями на произвол судьбы. Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. В силу такого положения заключенные между Советским Союзом и Польшей договора прекратили свое действие.

В Польше создалось положение, требующее со стороны Советского правительства особой заботы в отношении безопасности своего государства. Польша стала удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Советское правительство до последнего времени оставалось нейтральным. Но оно в силу указанных обстоятельств не может больше нейтрально относиться к создавшемуся положению.

От Советского правительства нельзя также требовать безразличного отношения к судьбе единокровных украинцев и белоруссов, проживающих в Польше и раньше находившихся на положении бесправных наций, а теперь и вовсе брошенных на волю случая. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белоруссам, населяющим Польшу.

Ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром ноту польскому послу в Москве, в которой заявило, что Советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.

Советское правительство заявило также в этой ноте, что одновременно оно намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями и дать ему возможность зажить мирной жизнью.

В первых числах сентября, когда проводился частичный призыв запасных в Красную армию на Украине, в Белоруссии и еще в четырех военных округах, положение в Польше было не ясным и этот призыв проводился, как мера предосторожности. Никто не мог думать, что польское государство обнаружит такое бессилие и такой быстрый развал, какой теперь уже имеет место во всей Польше. Поскольку, однако, этот развал налицо, а польские деятели полностью обанкротились и не способны изменить положение в Польше, наша Красная армия, получив крупное пополнение по последнему призыву запасных, должна с честью выполнить поставленную перед нею почетную задачу.

Правительство выражает твердую уверенность, что наша Рабоче-Крестьянская Красная армия покажет и на этот раз свою боевую мощь, сознательность и дисциплину, что выполнение своей великой освободительной задачи она покроет новыми подвигами, героизмом и славой.

Вместе с тем, Советское правительство препроводило копию своей ноты на имя польского посла всем правительствам, с которыми СССР имеет дипломатические отношения, и при этом заявило, что Советский Союз будет проводить политику нейтралитета в отношении всех этих стран.

Этим определяются наши последние мероприятия по линии внешней политики.

Правительство обращается также к гражданам Советского Союза со следующим разъяснением. В связи с призывом запасных среди наших граждан наметилось стремление накопить побольше продовольствия и других товаров из опасения, что будет введена карточная система в области снабжения. Правительство считает нужным заявить, что оно не намерено вводить карточной системы на продукты и промтовары, даже, если вызванные внешними событиями государственные меры затянутся на некоторое время. Боюсь, что от чрезмерных закупок продовольствия и товаров пострадают лишь те, кто будет этим заниматься и накоплять ненужные запасы, подвергая их опасности порчи. Наша страна обеспечена всем необходимым и может обойтись без карточной системы в снабжении.

Наша задача теперь, задача каждого рабочего и крестьянина, задача каждого служащего и интеллигента, состоит в том, чтобы честно и самоотверженно трудиться на своем посту и тем оказать помощь Красной армии.

Что касается бойцов нашей славной Красной армии, то я не сомневаюсь, что они выполнят свой долг перед родиной — с честью и со славой.

Народы Советского Союза, все граждане и гражданки нашей страны, бойцы Красной армии и военно-морского флота сплочены, как никогда, вокруг Советского правительства, вокруг нашей большевистской партии, вокруг своего великого вождя, вокруг мудрого тов. Сталина, для новых и еще невиданных успехов труда в промышленности и в колхозах, для новых славных побед Красной армии на боевых фронтах.

Конст. Симонов

ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *

Всю жизнь любил он рисовать войну.
Беззвездной ночью наскочив на мину,
Он вместе с кораблем пошел ко дну,
Не дописав последнюю картину.

Всю жизнь лечиться люди шли к нему,
Всю жизнь он смерть преследовал жестоко.
И умер, сам привив себе чуму,
Последний опыт кончив раньше срока.

Всю жизнь привык он пробовать сердца.
Начав еще мальчишкою с Ньюпора,
Он в сорок лет разбился, до конца
Не испытав последнего мотора.

Никак не можем помириться с тем,
Что люди умирают не в постели,
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,
Не долечив, не долетев до цели.

Как будто есть последние дела,
Как будто можно, кончив все заботы,
В кругу семьи усесться у стола
И отдыхать под старость от работы!

Нет, мне не жаль всех тех, кому свинец,
Огонь, вода, чумные карантины
Вписали неожиданный конец
В их опыты, полеты и картины.

Мне жаль того живого мертвеца,
Который без волнений и терзаний
Еще при жизни дожил до конца
Своих гроша не стоящих дерзаний.

СТАРИК

Памяти Амундсена

Весь дом пенькой проконопачен прочно,
Как корабельное сухое дно,
И в кабинете круглое нарочно
На океан прорублено окно.

Тут все кругом привычное, морское,
Такое, чтобы, ставши на причал,
Свой переход к свирепому покою
Хозяин дома реже замечал.

Он стар. Под старость странствия опасны,
Король ему назначил пенсион.
И с королем на этот раз согласны
Его шофер, кухарка, почтальон.

Следят, чтоб ночью угли не потухли,
И сплетничают разным докторам,
И по утрам подогревают туфли,
И пива не дают по вечерам.

Все подвиги его давно известны,
К бессмертной славе он приговорен.
И ни одной душе не интересно,
Что этой славой недоволен он.

Она не стоит одного ночлега
Под спальным, шерстью пахнущим, мешком.
Одной щепотки тающего снега,
Одной затяжки крепким табаком.

Ночь напролет камин ревет в столовой,
И, кочергой помешивая в нем,
Хозяин, как орел белоголовый,
Нахмурившись, сидит перед огнем.

По радио всю ночь бюро погоды
Предупреждает, что кругом шторма, —
Пускай в портах швартуют пароходы
И запирают накрепко дома.

В разрядах молний слышимость все глуше,
И вдруг из тыщеверстной темноты
Предсмертный крик: «Спасите Наши Души» —
И градусы примерной широты.

В шкафу висят забытые одежды:
Комбинезоны, спальные мешки...
Он никогда бы не подумал прежде,
Что могут так заржаветь все крючки...

Как трудно их застегивать с отвычки.
Дождь бьет по стеклам мокрою листвой,
В резиновый карман табак и спички,
Револьвер — в задний, компас — в боковой.

Уже с огнем забегали по дому,
Но, заревев и прыгнув из ворот,
Машина по пути к аэродрому
Давно ушла за первый поворот.

В лесу дубы, как вымокшие свечи,
Над головой сгибаются, треща.
И дождь, ломаясь на лету о плечи,
Стекает в черный капюшон плаща.

. . . .

Под осень, накануне ледостава,
Рыбачий бот, уйдя на промысла,
Нашел кусок его бессмертной славы —
Обломок обгоревшего крыла.

МАЛЬЧИК

Когда твоя тяжелая машина
Пошла к земле, ломаясь и гремя,
И весь запас взбешенного бензина
Поднялся над кабиною стоймя,
Сжимая руль в огне последней вспышки,
Разбитый и притиснутый к земле,
Ты ничего не вспомнил о мальчишке,
Который жил в Клину или в Орле —
Как ты, не знал он головокруженья,
Как ты, он был упрям, драчлив и смел.
Он самое прямое отношенье
К тебе, в тот день погибшему, имел.

Пятнадцать лет он медленно и твердо
Лез в небеса, упрямо сжав штурвал.
И все тобой невзятые рекорды
Он дерзкою рукой завоевал.
Когда его тяжелая машина
Перед посадкой встала на дыбы
И, как жестянка, сплющилась кабина,
Задев за телеграфные столбы,
Сжимая руль в огне последней вспышки,
Придавленный к обугленной траве,
Конечно, он не вспомнил о мальчишке,
Который рос в Твери или в Москве...

Когда уже известно, что в газетах
Назавтра будет черная кайма,
Мне хочется, поднявшись до рассвета,
Врываться в незнакомые дома,
Искать ту неизвестную квартиру,
Где спит, уже витая в облаках,
Мальчишка, рыжий маленький задира,
Весь в ссадинах, веснушках, синяках.

НОМЕР В «МЕДВЕЖЬЕЙ ГОРЕ»

«Какой вам номер дать?» — Не все ль равно,
Мне нужно в этом зимнем городке,
Чтоб спать — тюфяк, чтобы дышать — окно,
И ключ, чтоб забывать его в замке.
А если без особого труда
Удастся просьбу выполнить мою, —
Пусть за окном натянут провода,
На каждый посадив по воробью.
Я в комнате, где вот уж сколько лет
Все оставляют мелкие следы:
Кто прошлогодний проездной билет,
Кто горстку пепла, кто стакан воды.
Я сам приехал, я сюда не зван,
Здесь полотенце, скрученное в жгут,
И зыбкий стол, и вытертый диван
Наверняка меня переживут.
Но все-таки, пока я здесь жилец,
Я сдвину шкаф, поставлю стол углом
И даже дыма несколько колец
Для красоты развешу над столом.
Я знаю: завтра будет все равно,
Уютно ли я жил и сытно ль ел,
Широк был стол, просторно ли окно,
Хорошим ли я почерком владел...
Пусть хлеб наш черств, стол шаток, почерк груб, —
Нам все простят, остались бы листки,
Где эта ночь и синий дым из труб
Срифмованы в две точные строки.

АНГЛИЙСКОЕ ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ В СЕВАСТОПОЛЕ

Здесь нет ни остролистника, ни тиса,
Чужие камни и солончаки,
Проржавленные солнцем кипарисы,
Как воткнутые в землю тесаки.

И спрятаны под их худые кроны
В земле под серым слоем плитняка
По-батальонно и по-эскадронно
Построены британские войска.

Шумят тяжелые кусты сирени,
И ветер с моря дует целый день.
И сторож, опустившись на колени,
На английский манер стрижет сирень.

К солдатам на последние квартиры
Корабль привез из Англии цветы,
Груз красных черепиц из Девоншира,
Колючие терновые кусты.

Покойникам в чужбине лучше спится,
Когда холмы у них над головой:
Обложены английской черепицей,
Обсажены английскою травой.

На медных досках, на камнях надгробных
На пыльных пирамидах из гранат
Английский гравер вырезал подробно
Число солдат и номера бригад.

Но, прежде чем на судно погрузить их,
Боясь превратностей чужой земли,
Все надписи о горестных событьях
На русский, как смогли, перевели.

Бродяга-переводчик неуклюже
Переиначил русские слова,
В которых о почтеньи праху мужа
Просила безутешная вдова:

«Сержант покойный спит здесь. Ради бога,
С почтением склонись над этот крест».
Как много миль от Англии, как много
Морских узлов от жен и от невест!

В чужом краю его обидеть могут,
И землю распахать, и гроб сломать,
Вы слышите, не смейте, ради бога,
Об этом просит вас жена и мать!

Напрасный страх. Уже дряхлеют даты
На памятниках дедам и отцам.
Спокойно спят британские солдаты.
Мы никогда не мстили мертвецам.

ИЗГНАННИК

Нет больше родины. Нет неба, нет земли,
Нет хлеба, нет воды. Все взято.
Земля! Он даже не успел в слезах, в пыли
Припасть к ней пересохшим ртом солдата.

Чужое море билось за кормой,
В чужое небо пену волн швыряя,
Чужие люди ехали домой,
Над ухом это слово повторяя.

Он знал язык. Они его жалели вслух
За костыли и за потертый ранец,
А он, к несчастью, не был глух,
Бездомная собака, иностранец.

Он высадился в Лондоне. Семь дней
Искал он комнату. Еще бы!

Ведь он искал такой чердак, чтоб был бедней
Последней лондонской трущобы.

И, наконец, нашел. В нем потолки текли.
На плитах пола промокали туфли,
Он на ночь у стены поставил костыли—
Они к утру от сырости разбухли.

Два раза в день спускался он в подвал
И медленно, скрывая нетерпенье,
Ел черствый здешний хлеб и запивал
Вонючим пивом за два пенни.

Он по ночам смотрел на потолок.
И удивлялся, ничего не слыша.
Где самолеты, неба черный клок
И звезды сквозь разодранную крышу?

На третий месяц здесь, на чердаке,
Его нашел старик, прибывший с юга.
Старик был в штатском платье, в котелке.
Они едва смогли узнать друг друга.

Старик спешил. Он выложил на стол
Приказ и деньги, — это означало,
Что первый час отчаянья прошел,
Пора домой, чтоб все начать сначала.

Но он не может. «Слышишь, не могу»,
Он показал на раненую ногу.
Старик молчал. «Ей-богу, я не лгу,
Я должен отдохнуть еще немного».

Старик молчал. «Еще хоть месяц так,
А там — пускай штыки, застенки, мавры!»
Старик с улыбкой расстегнул пиджак
И вынул из кармана ветку лавра.

Три лавровых листка. Кто он такой?
Чтоб забывать на родину дорогу?
Он их смотрел на свет. Он гладил их рукой.
Губами осторожно трогал.

Как он успел забыть? Три лавровых листка.
Что может быть прочней и проще?
Не все еще потеряно, пока
Там не завяли лавровые рощи.

Он в полночь выехал. Как родина близка,
Как долго пароход идет в тумане...

. . . .

Когда он был убит, три лавровых листка
Среди бумаг нашли в его кармане.

ПОРУЧИК

Уж сотый день врезаются гранаты
В Малахов окровавленный курган,
И рыжие британские солдаты
Идут на штурм под хриплый барабан.

А крепость Петропавловск на Камчатке
Погружена в привычный мирный сон.
Хромой поручик, натянув перчатки,
С утра обходит местный гарнизон.

Седой солдат, откозыряв неловко,
Трет рукавом ленивые глаза,
И возле пушек бродит на веревке
Худая гарнизонная коза.

Ни писем, ни вестей. Как ни проси их,
Они забыли там, за семь морей,
Что здесь, на самом кончике России,
Живет поручик с ротой егерей.

Поручик долго, щурясь против света,
Смотрел на юг, на море, где вдали —
Неужто нынче будет эстафета? —
Маячили как будто корабли.

Он взял трубу. По зыби, то зеленой,
То белой от волнения, сюда,
Построившись кильватерной колонной,
В тумане шли британские суда.

Зачем пришли они из Альбиона?
Что нужно им? Донесся дальний гром,
И волны у подножья бастиона
Вскипели, обожженные ядром.

Полдня они палили наудачу,
Грозя весь город обратить в костер.
Держа в кармане требованье сдачи,
На бастион взошел парламентер.

Поручик, в хромоте своей увидя
Опасность для достоинства страны,
Надменно принимал британца сидя
На лавочке у крепостной стены.

Что защищать? Заржавленные пушки,
Две улицы то в лужах, то в пыли,
Косые гарнизонные избушки,
Клочок ненужной никому земли?

Но, все-таки, ведь что-то есть такое,
Что жаль отдать британцу с корабля?
Он горсточку земли растер рукою —
Забытая, а все-таки земля.

Дырявые обветренные флаги
Над крышами шумят среди ветвей...

— Нет, я не подпишу твоей бумаги,
Так и скажи Виктории своей!
. . . .
Уже давно британцев оттеснили,
На крышах залатали все листы,
Уже давно всех мертвых схоронили,
Поставили сосновые кресты,

Когда санкт-петербургские курьеры
Вдруг привезли, на год застряв в пути,
Приказ принять решительные меры
И гарнизон к присяге привести.

Для боевого действия к отряду
Был прислан в крепость новый капитан,
А старому поручику в отраду
Был полный отпуск с пенсиею дан.

Он все бродил по крепости, бедняга,
Все медлил влезть по сходням корабля...
Холодная казенная бумага.
Нелепая любимая земля.

ПАМЯТЬ

Я, наконец, приехал на Кавказ.
И моему неопытному взору
В далекой дымке видны в первый раз
Десятки раз описанные горы.
Но где я раньше видел эти две
Под самым небом сросшихся вершины,
Седины льдов на старой голове,
И тень лесов, и ледников плешины?
Я твердо помню — та же крутизна,
И те же льды, и так же снег не тает.
И разве только черного пятна
Посередине где-то нехватает.
Все те места, где я бывал, где рос,
Я в памяти перебираю робко.
И вдруг, соскучившись без папирос,
Берусь за папиросную коробку.
Так вот оно, пятно на фоне синих гор,
Пришпорив так, что ветру не угнаться,
На черном скакуне во весь опор
Летит лихой джигит за три пятнадцать.
Как жаль, что часто память в нас живет
Не о дорогах, тропках, полустанках,
А о наклейках минеральных вод,
О марках вин и о консервных банках.

О. Елеонская

РОЗОВАЯ КУКЛА

Повесть

1

После вечернего чая запирали ставни.

Застывшее за день дерево издавало тягучий стон, невнятно вздрагивали оконные стекла, лязгало звонкое на морозе железо болтов, и большой белый дом, окруженный островерхим забором и голыми высокими тополями, принимал замкнутый и неприступный вид.

Сидя в столовой, Люба слушала, как, постепенно удаляясь, глуше и умиротвореннее становились звуки, а из отцовской спальни долетал лишь короткий, неразборчивый грохот.

Исчезала за окнами таинственная и какая-то всегда праздничная ночь. Обитатели дома расходились по своим углам. Это были дальние и близкие родственники хозяина, бежавшие от большевиков. Сам хозяин, доктор Смирнов, умирал. Смерть приходила к нему медленно. Любе казалось, что лицо отца тает в подушках. Мутные капли пота медленно ползли по его оливковому лбу.

После чая мать садилась в широкое, лоснящееся от времени кресло. Она задумчиво наполняла водой полоскательницу. В ее медленных движениях было столько покоя! Блюдца в ее руках издавали особый, мелодический звон. Вечерние, привычные звуки делали мир устойчивым и покойным. Вытащив из-за буфета растрепанную колоду карт, Люба потихоньку убегала в кухню. Здесь пахло щами и самоварным угаром. Пудель Маркиз, вздыхая, спал у плиты.

Кучер Сергей, лукавый мужик, сидел на своем топчане, он подмигивал на синий бант, стягивающий любины волосы, и заливался смехом.

— Ось дивитесь, який нахлипник.

Люба тоже смеялась. Слово «нахлипник» казалось ей чудным и неприличным.

— Господа всегда с бантиками, — кротко говорила кухарка, маленькая ядовитая старушка. Она читала Толстого и считала себя обиженной судьбой.

— Это только девочки, — защищала свое сословие Люба.

Она встряхивала волосами, стараясь принять независимый вид.

— Ну, будем? — говорила она, показывая Сергею зажатые в кулаке карты.

Начиналась игра. Сначала в дураки, потом в носы. Проигрывая, Люба мужественно подставляла нос. Он скоро краснел и вспухал.

— Ай да барышня, — говорила кухарка.

Под конец играли в двадцать одно, в банк ставили засаленные зеленые и синие марки, заменявшие медные деньги.

Если Любе везло и она выигрывала, кухарка, издали наблюдавшая за игрой, вздыхала:

— Богатым всегда везет, — огорчалась она, а Сергей, все время хохотавший, умолкал.

— Почему они сердятся? — недоумевала Люба. — Ведь игра для всех одинаковая.

Странная, беспредметная обида поднималась в ней. Возвратившись в комнаты и ложась в постель, она мысленно произносила речь, обращенную к кухарке и Сергею. Она упрекала их в несправедливости и в отсутствии понятий чести. Но невысказанные слова не облегчали обиды. Высказать же их Любе мешала гордость. Огорченно вздыхая, она засыпала.

2

К городу подходили красные. Каждый день соседи сообщали новые слухи. Мать крестилась и не передавала новостей отцу.

Любина жизнь теперь превратилась в ожидание необыкновенных событий.

По утрам она просыпалась с бьющимся сердцем. Однажды мимо окон столовой проехала тройка, в простых розвальнях сидели люди в некрашеных полушубках. Верховые казаки скакали за санями. Вглядевшись, Люба узнала генерала, жившего по соседству.

— Мама, — закричала она, — генерал без погон!..

Все прильнули к окнам. Взвод солдат в австрийских шинелях показался из-за угла. Солдаты торопливо прошагали вслед за санями.

Тетя Настя всхлипнула. «Удирают защитнички. Свою шкуру спасают».

Она бежала от большевиков с Урала. По дороге белые отцепляли теплушки с беженцами, бросая их на полустанках и разъездах. Тетя Настя с Алей, любиной двоюродной сестрой, две недели скитались по станциям, ехали на тормозных площадках, в теплушках среди солдат.

— Опять едут! — закричала Люба радостно.

Ехали тройки, пары, на санях громоздились бочонки, ящики, чемоданы.

Тетя Настя рыдала, под руки ее уводили из столовой. Вошел Сергей. Черным, похожим на пенек, пальцем он поманил мать. На заднем, заваленном сугробами, дворе обнаружились вдруг две винтовки. Мать охнула. «Началось», подумала Люба с радостным ужасом. Сергею было приказано, как стемнеет, унести винтовки на реку и бросить в прорубь, пока же их спрятали в ящике около конюшни, забросав сверху навозом.

Одевшись, Люба незаметно выбралась из дома.

Небо было голубым и мирным, как всегда. Скрипел под полозьями снег, фыркали лошади, подводы катились одна за другой.

На углу был раскат, сани заносило до самого тротуара. Люди в санях падали, хватаясь за отводы. Бочонки и ящики летели в снег. Из соседнего дома вышел Кока Михеев. Он называл себя художником, носил бант, широкую блузу и длинные до плеч волосы. Присмотрев аккурат-

ный дубовый бочонок, по всем признакам с маслом, он поднял его и потащил в дом.

Через некоторое время вдруг раздались отчаянные вопли, и кокина мать, седая, растрепанная женщина, в одном платье выбежала на улицу.

За ней боком вылез Кока. У него было смущенное и перепуганное лицо. Поспешно он перебежал через улицу и бросил в сугроб злополучный бочонок. Из бочонка торчали какие-то трубочки, похожие на кишки.

— Адская машина! — заорали мальчишки и бросились врассыпную.

— А Колчак-то пятки смазал, — сказал Любе Жорка Родионов.

«Погибла Россия», вспомнила Люба слова, которые часто повторяли дома.

— Мост взорвали, — сказал кто-то.

Люба взобралась на крышу. Низкий, деревянный город легко зарастал сугробами. Дома, придавленные снеговыми перинами, нерешительно подходили к реке. Летом над ней пылали закаты, теперь же узкая, багровая заря угасала на левом берегу над морозными, зловещими пустырями. Вокзал был в пяти верстах от города. Мост висел над речной излучиной. Люба часто с волнением смотрела на четкие пролеты, где рано, еще до темноты, зажигались теплые, желтые огни. Именно там, за мостом, казалось ей, была скрыта жизнь, ожидавшая ее в будущем. И теперь вдали Люба увидела знакомые арки пролетов, они попрежнему сохраняли свой стройный рисунок, только крайняя, точно сорвавшись с берега, нелепо висела.

К вечеру стал слышен отдаленный гул. Слабое зарево мерцало на небе. Люба и Аля то и дело выбегали в одних платьях во двор. Мороз щипал им щеки. Они смеялись и радовались неизвестно чему. В комнатах они начинали игру. Люба — Колчак, осажденная врагами, принимала яд и умирала на руках своей возлюбленной Али. Враги врывались, но Аля поспешно закалывалась ручкой от корзины и замертво падала на труп своего друга. О девочках забыли в этот вечер, и, наигравшись, они уснули на диване, натянув на себя драный мех.

Наутро улица была пустынна. На углу лежал убитый. У него была мирная поза спящего. Кто-то уже снял с него валенки, и Любе казалось, что ноги его мерзнут в носках. Мороз все крепчал. Сергей заводил Лобана в обледенелые оглобли водовозки, собирался ехать за водой.

— Неужели все события уже свершились? И Сергей попрежнему будет подметать двор, кухарка печь хлеб, а Люба учить уроки?

Скучая, она ушла на задний двор. Снежные сугробы наполняли его тишиной. В опустелом курятнике в ржавых ведрах хранились разноцветные стекла — сокровища, накопленные за лето. Толкнув неподатливую дверь, Люба неловко шагнула через высокий порог. В нехотя расступившемся сумраке она увидела рябые куриные насесты и человека, неподвижно стоявшего у глиняной промерзшей стены. Увидев Любу, человек сделал движение.

«Задушит», мелькнула мысль, но бежать уже не было сил. Ноги обмякли и, точно во сне, приросли к земле.

Это был австрийский солдат. Жалкая шинель с оборванными полами, грязные обмотки и непомерно большие драные башмаки делали его похожим на нищего. Живые, нерусские глаза смотрели на нее из-под шутовской, надвинутой на брови шапочки. Никогда не виданный Любой тонкий румянец покрывал его щеки.

— Мэдхен, — сказал он хрипло и поднес палец к губам.

Он быстро заговорил. Любин страх постепенно проходил. В голосе чужеземца слышалась мольба.

— Воллен зи эссен? — спросила она осмелев.

— О! — он энергично закивал головой.

— Я вам принесу, — закричала она, страдая, что запас немецких слов истощился.

— Их гебе зи эссен, — она ткнула себя в грудь рукой в зеленой варежке.

В кухне под холщевым полотенцем отдыхали только что вынутые из печки калачи.

— Надя, — сказала Люба, — у вас кошка украла мясо.

И пока кухарка всплескивала руками и бегала в кладовую, Люба, схватив два калача, спрятала их в сенях, в корзине с пыльными тряпками. На цыпочках она пробралась в столовую, нашла в буфете колбасу, холодные котлеты и сыр.

«Только бы не растерять по дороге», боялась она.

Солдат ждал Любу. Он продолжал стоять, напряженно подавшись вперед, похожий на большую настороженную птицу. Лицо его приняло хищное выражение.

— Данке, данке шон, — сказал он, уничтожив все принесенное Любой.

— Кто вы, где ваша родина? — хотела спросить его Люба, но скупо припоминавшиеся немецкие слова никак не складывались в фразы.

Она сбегала за немецкой книжкой. Это был старый, давно забытый учебник. Нескончаемое детство смотрело с его страниц, каждая буква походила на елочное украшение. Под картинкой, где была нарисована девочка с лицом рождественского ангела, стояла подпись: «Их хейсе Минхен».

— Их хейсе Люба, — сказала Люба обрадованно, — а вас?

— Франц, — ответил он, и лицо его смягчилось. Словно что-то припоминая, невидящими глазами смотрел он на Любу.

— Либес кинд, — сказал он, наконец, печально.

Люба принесла из конюшни войлочную попону. Терзаясь жалостью, она смотрела, как он натягивает попону сморщенными от холода, похожими на птичьи лапы пальцами.

— Я помогу вам бежать на родину, — сказала Люба, при помощи книжки составив фразу.

Она хотела продолжить беседу, но услыхала голос матери, звавший ее.

— И где только тебя носит в такую пору, — сказала мать, удивляясь любиным встревоженным глазам.

После обеда, когда смерклось, Люба нашла в коридоре старую студенческую шинель брата Миши. Мех на воротнике был лысый, но под подкладкой лежал толстый слой ваты.

В карман шинели она сунула маленькую фарфоровую куклу в розовом шелковом платье и бальных башмаках.

«Пусть помнит!» подумала Люба смущаясь.

Не одеваясь, она выбежала из дому. Чистое, сиреневое небо простиралось над тихими дворами, пустынно гудели телеграфные провода и снег оглушительно взвизгивал под любиными ботинками. В страхе она останавливалась, опасаясь, что на звук ее громких шагов выйдут из дому. Вернувшись, она незаметно пробралась в комнаты.

Вечер наступал слишком долго. Люба сидела в кухне у остывающей плиты. Сергей прилаживал кожаную рыжую заплату к огромному растрепанному валенку. Он сидел на топчане, свесив разутые ноги. Кухарка неспеша мыла посуду.

«Боже мой, — думала Люба,—когда же она начнет ставить самовар?»

Мысль, что солдат уйдет, не дождавшись ее, не давала ей покоя.

Приладивши одну заплату, Сергей принимался за другую. Он посмеивался и заговаривал с Любой. Но Люба молчала. Не отрываясь, она смотрела на ключ от конюшни, висевший на гвозде у двери.

После чая Сергей пойдет задавать на ночь лошади корм, потом он отнесет ключ матери, и она повесит его в коридоре...

За столом, когда подали самовар, Люба громко глотала чай. В животе что-то ответно екало. Волны жара ходили по спине. Никто не обращал на нее внимания. По сумрачным лицам взрослых, по все время обрывавшемуся разговору Люба понимала, как все страшатся нового дня. Наконец, вошел Сергей, застывшие валенки его издавали деревянный звук. Он отдал матери ключ.

В двенадцатом часу, когда все заснули, Люба выбралась из дома. Ночь, полная звезд и морозного блеска, стояла над ней. Она побежала, сжимая в кулаке ключ. На дверях конюшни висел кованый замок. Ключ долго не поворачивался. Плача и задыхаясь, Люба дергала и рвала его. Железо примерзало к голым рукам. Наконец, дверь открылась. Лобан глубоко вздыхал около кормушки. Пахучее тепло исходило от него. Найдя узду, Люба побежала в курятник.

— Шнель, — шептала она солдату, — скорей!

Он вышел, повинуясь ее шопоту.

Вместе они вывели лошадь. Лобан тяжело ступал, грохоча копытами о деревянный настил. Спасаясь от этого грохота, Люба побежала к воротам. «Господи, — молилась она, — господи, услышат». Но за воротами было уже не страшно.

— Прощайте, — сказала Люба и протянула солдату руку.

— Либес кинд, — произнес он взволнованно, — либес кинд. Наклонясь, он поцеловал ее в заиндевевшие волосы. Потом тронул Лобана в снежную улицу. Лобан нехотя перешел на ленивую рысь. Обернувшись, солдат махнул рукой. Полы мышиной шинели развевались прощально. «Ускакал», сказала Люба, когда всадник скрылся за поворотом.

Она перебросила замок через чужой забор и побежала домой. Теперь страх наступал на нее, как болезнь. Ночью, кутаясь в одеяло и шубы, она дрожала в его жестоком приступе.

3

Красные деловито устраивались в городе.

Исчезли отовсюду белые с зеленым флаги: «снега и леса Сибири». На единственном в городе четырехэтажном здании Люба прочла загадочное слово: «Исполком».

Вместо офицеров в папахах, высматривающих барышень, на улицах появились люди в меховых шапках с ушами, в каких-то длинных и широких шинелях. Они торопливо ходили по городу, зажимая подмышкой толстые портфели.

— Ком-му-нисты, — пояснял Жорка Родионов.

Люба удивлялась. Коммунистов в доме представляли разбойниками. Они на месте расстреливали «интеллигентов» и сбрасывали в реку гимназисток. У этих же людей не было ни зверского выражения лиц, ни сабель, у них был мирный, озабоченный вид.

Все было буднично. Сергея рассчитали. Обитатели дома безбоязненно ругали большевиков. Исчезновение лошади также приписали большевикам. Отцу не говорили о происшествии. Ему становилось все хуже. По ночам он кричал. Люба сердилась на отца, ей казалось, что он преувеличивает свои страдания, чтобы досаждать своим близким.

Однажды Люба проснулась не от криков больного, сон прервался внезапно, словно от невидимого толчка. Было тихо. Но это не была привычная, домашняя тишина. Затаив дыхание, Люба села в кровати. В коридоре горел свет. Опустив голову, медленно прошла мать.

— Мама, — позвала Люба, но та не откликнулась.

Скрипнула дверь, и вошла тетя Настя. У нее было торжественно печальное лицо недоброго вестника.

— Любочка, — начала она, поднимая брови, но, не выдержав, по-простецки заплакала и засморкалась в платок.

— Отмучился страдалец, — проговорила она между всхлипами.

На похоронах вдруг оказалось неожиданно много народу. Доктор был человечен и несребролюбив. И теперь его пришли проводить незваные никем, неизвестные люди. Пришли цыгане с окраин, татары из слободки, какие-то женщины из-за реки.

Люба еще не умела плакать от горя. С испугом она смотрела на катафалк, увозивший ее отца, на мать, которая перестала замечать окружающее и шла за гробом, точно лунатик.

Однажды юноша в широкой шинели пришел к ним в дом. Нахмурив брови, он потребовал, чтоб ему показали помещение.

Люба с матерью теперь жили в отцовской спальне. Беженцы понемногу покидали дом и уезжали на родину.

— Что ж, — сказал юноша голосом, переходящим сразу из баса в дискант, — придется вас уплотнить.

Он ушел, посвистав Маркизу, лаявшему на незнакомца.

Дом стал заселяться новыми жильцами.

— Комиссары, — шептала мать и запирала на крючок свою дверь. В комнате у них теперь всегда царил полумрак. Мебель, собранная сюда со всего дома, закрывала свет и поглощала звуки. Любу забавляло, что шкафы стояли посреди комнаты, а кресла громоздились на диване и столах. Часы тикали наперебой из разных мест, и самые ее любимые, с перламутровым циферблатом и мелодичным боем, висели в углу под щербатой иконой. Впрочем, понемногу в комнате становилось все просторней. Мать продавала вещи.

Люба ходила в школу. Безучастно она слушала все, что говорилось в классе. Рыжий учитель объяснял теоремы. По ночам он занимался извозом. Мучаясь жалостью, Люба рассматривала его худое птичье горло. Геометрия была непостижима.

Немка болела истерией. На уроках она непроизвольно складывала пальцы в кукиш. Жорка Родионов щипал Любу, и вместе они корчились от хохота.

Летом Люба остриглась коротко, по моде. Старший брат Жорки Родионова, носивший шинель реалиста, прислал Любе в рюмке с водой китайскую розу. Роза ничем не пахла и к вечеру осыпалась. В ответ Люба переписала стихотворение:

Что в имени тебе моем, —
Оно умрет, как шум печальный...

И подписалась: Любовь Смирнова.

Она осталась на второй год. Все лето они с матерью ездили за реку в киргизские аулы менять ковры и плюшевые скатерти на масло и муку. Любе не было жалко ковров. Ее пугал голод.

Мать вздыхала.

— Не поднять мне тебя, Любочка. Вещей мало остается.

Зимой мать стала вязать шерстяные чулки и рукавицы. С утра она уходила на барахолку продавать свои изделия. Иногда, проходя по базару, Люба видела мать. Она терпеливо стояла со своим товаром, который никто не брал. Ее покорное лицо преследовало Любу по ночам.

4

К весне в комнату около кухни переехал новый жилец. В распахнутые ворота, урча и переваливаясь, вкатилась небольшая грузовая машина. Замолчав у каретника, она, казалось, навсегда установилась там. Хозяин ее озорно подмигнул Любе. От него попахивало спиртом. Бледная, болезненная женщина начала таскать узлы и ухваты.

— Небось, ученица? — спросил он любезно.

— Я неспособная, — ответила Люба.

— Ишь ты, — удивился он.

Любе понравился запах бензина и человек с красным, веселым лицом.

Город стоял в степях. Сквозные ветры продували немощеные улицы. Летом они вздымали пыль, заслонявшую солнце. Пыль стояла плотной стеной и, казалось, издавала скрип. Ржавые, зловещие луны всходили за рекой. Тревожась, Люба смотрела на диск, предвещавший беды. Что ждет ее? Она даже не смогла кончить школу! Сняв туфли, она бродила по влажному, тинистому берегу. Ласковая река плескалась в темноте. Возвращаясь ночью, Люба укладывалась на топчане, на котором когда-то спал Сергей. В комнате остались только некрашеные табуретки и кухонный стол.

По утрам мать перерывала единственную, уцелевшую корзину. Теперь она носила на барахолку любины платья и свои кофты. Со страхом Люба смотрела на ее замкнутое лицо. Оставшись одна, Люба без дела слонялась по двору. В девять часов выходил Масехин, новый жилец. Он энергично крякал, довольный завтраком, погодой, предстоящим днем.

Люба полюбила машину, поселившуюся у них во дворе. Деловой рокот мотора наполнял ее бодростью. Она с гордостью открывала ворота и ждала, пока Масехин, выпятив задом машину, не повернет и не умчится лихо, не взглянув на Любу.

Однажды, заметив ее выжидающий взгляд, Масехин вдруг распахнул дверцу кабины.

— Садись, красавица, — сказал он и хлопнул рукой по кожаному сиденью.

Лето было на исходе. Солнце словно торопилось пролить весь свой оставшийся жар. Камни мостовой были отполированы песчаными вихрями, и пыльные тополя беспомощно метались на ветру. Машина мчалась, не убавляя хода на поворотах.

— Ой, разобьемся! — восторженно вскрикивала Люба.

— Это что, — цедил сквозь зубы Масехин, — разве езда? Вот в Крыму я ездил!.. — У него было исступленное лицо.

У вокзала он так осадил машину, что Любу бросило вперед и в бок. О железную раму она рассекла бровь.

— Ну вот и крещеная, — пробормотал Масехин.

На товарном дворе они получили груз.

Масехин ругался с кладовщиками. Каждая задержка выводила его из себя.

Наконец, они тронулись. Теперь они ехали какими-то кривыми переулками. У дома с бурыми расхлябанными ставнями Масехин внезапно остановил машину и исчез за кривой калиткой. Скучая, Люба сидела в кабине. Подолом платья она пыталась оттереть засохшую на лице кровь.

Вышел Масехин, красный, жаркий.

— Эх, милка, — сказал он и обхватил Любу. Другую руку он положил на управление.

— Так и поедем, — пробормотал он, тяжело ворочая языком. Спиртной запах бил Любе в нос. Она задыхалась и рвалась из его объятий.

— Фу ты, ну ты! Держись теперь, покажу тебе крымскую езду!

Машина летела, не разбирая дороги, виляя. Любу бросало, колотило. Ей стало казаться, что она тоже пьяна. Бешеный задор овладел ею. Она хохотала, когда на поворотах машину накреняло.

Все же перед самым складом они въехали в канаву. Масехин пустил витиеватый мат. Любу ударило об верх. Она вылезла из машины, помогая Масехину подбирать разбитые ящики.

Приемщик на складе составил акт.

— Сукин сын! — кричал он Масехину. — Отдам под суд!

Во всех концах города у Масехина оказывались знакомые дома, откуда он выходил все более нетвердой походкой.

Под конец дня машина стала двигаться значительно медленнее. Масехин то и дело всхрапывал за рулем.

На другое утро Люба еще до выхода Масехина забралась в кабину. Больше всего она боялась, что Масехин выгонит ее. Он вышел не в духе.

— Понравилось? — буркнул он. И сразу забыл о ней.

Они стали ездить вместе каждый день. Люба скоро знала наизусть все дома и пивные, где Масехин, по его выражению, «заправлялся горючим». Дома он заставлял Любу мыть машину. Натаскав с водокачки воды, она возилась до ночи.

— Нашла себе занятие — с пьяным мужиком хороводиться, — ругала ее мать.

Бледная жена Масехина смотрела на Любу подозрительно:

— Из благородных которые, всегда норовят напакостить, — говорила она на кухне. И даже старая соседская нянька упрекала Любу:

— Эх, милая, — говорила она, — и что ты затеяла! — Сокрушит он тебя, демон!

Люба молчала ожесточаясь.

Однажды, после очередной «заправки», Масехин посадил Любу на свое место у руля.

— Вези меня, — сказал он ей.

Машина, нервно завиляв, вдруг уперлась в единственное, росшее на углу улицы дерево.

— Косорукая! — выругался Масехин. Он выправил машину и снова отдал Любе руль.

— Вези! — сказал он ей с упорством пьяного.

Масехин стал каждый день сажать Любу за руль. Он учил ее ожесточенно.

— Лошадь здоровая, воду бы на тебе возить, — попрекал он ее.

Его ругань не обижала Любу. Она возвращалась домой счастливая, с возбужденными глазами.

— Ох, отобьет она твоего Ваську, — говорили на кухне масехинской жене.

— Из молодых, да ранняя!

К осени, когда улицы покрылись замерзшими кочками грязи, Люба научилась водить машину. Пьяный Масехин засыпал возле нее. Голова его беспомощно моталась. Однажды на ухабе он стукнулся о боковое стекло. Посыпались, звеня, осколки, из щеки и носа Масехина потекла кровь.

— Это ты меня, меня! — остервенев, накинулся он на Любу. — Убью! — орал он и тряс ее за плечи.

Люба рванула руль, и машина въехала на тротуар. Сбежались люди, ее с Масехиным отвели в милицию. Масехина оштрафовали. В коридоре, при выходе, он молча ткнул ее кулаком в шею. Не думая об обидах, Люба отвезла его в амбулаторию. В белых марлевых повязках он казался еще краснее.

— Брысь! — сказал он Любе, открывая дверцу кабины, и вытащил ее, как щенка, за шиворот.

Глотая слезы, запинаясь, она побрела домой.

С этого дня Люба перестала ездить с Масехиным.

По вечерам она попрежнему старательно мыла машину, тоскуя и надеясь, что новый день смягчит его сердце. Но утром Масехин не глядел на нее.

— Пошла, пошла, — говорил он ей.

Жена Масехина злорадно хихикала. Перестав надеяться, Люба не выходила больше во двор. По утрам она долго спала. Встав, она брела на берег собирать щепки.

Река обмелела. Пароходы кричали протяжными, полными тоски голосами. Свинцовая вода нехотя текла мимо берега, покрытого кошачьими трупами и мокрой щепой.

Как-то в сумерках, Люба встретила на берегу Жорку Родионова. На нем был надет тулупчик, а через плечо висела обшарпанная винтовка.

— Ты что, Жорка? — спросила она с изумлением.

— Сторожу дровяной склад, — ответил он важно.

— Счастливый! — сказала Люба с завистью. — А мы с мамой нынче зимой пропадем. Вещи все распродали, на биржу без специальности не берут.

— Поступала бы на курсы, — лениво процедил Жорка.

— Какие это курсы?

— Всякие: счетоводные, учительские, на машинке печатать.

— Что ж, курсы, — равнодушно проговорила Люба, — все равно, работы нет.

Но дома она выпросила у соседа газеты.

Забавляясь, она читала объявления о продаже домов, роялей, пальто. Безнадежно было искать работу через газету! Взяв ножницы, Люба принялась вырезывать кружевные салфетки на стол. На упавшем свернутом треугольнике она увидела слово «шофер»... Развернув треугольник, она прочла: «Прием на курсы шоферов лиц не моложе 17 лет».

Утром Люба пошла поступать на курсы.

За столом сидел человек, похожий на Масехина.

«Не примет!» со страхом подумала она.

В заявлении она написала, что уже умеет водить машину и в случае отказа утопится.

Но на курсы ее приняли.

Весной Люба сдавала выпускные экзамены.

Она была единственной женщиной среди выпускников. Всю зиму они ели с матерью одну кашу, и к весне Люба сильно ослабла. Кружилась голова, при езде не слушались тяжелые рычаги, дорога двоилась перед глазами. Стоило мучительных трудов скрывать свое бессилие. И все же Люба считалась лучшей ученицей.

— Мама, — говорила она с удивлением дома, — я вовсе не неспособная.

5

Летом Люба поступила шофером в Заготзерно.

Никогда еще не была она такой счастливой!

Как хорошо было приходить по утрам в гараж! Любина машина, вымытая и натертая до блеска, дожидалась ее. Новый, многообещающий мир голубел за распахнутыми дверями.

Люба с уполномоченным ездила за реку в немецкие поселки.

Очередь телег расступалась перед ней на берегу.

— Милые, — восклицал бабий голос, — девка ездиит!

Любе хотелось петь и дурачиться, но, сделав суровое лицо, она заводила машину на паром. Он неощутимо плыл по воде, отражавшей сверкание дня.

В степи Люба включала третью скорость. Суслики перебегали дорогу, незнакомые цветы росли кругом. Она сбрасывала косынку, и ветер трепал ей волосы.

В немецких поселках стояли низкие саманные дома под черепичными крышами, бесконечные амбары окружали дворы. Огромные, розовые свиньи блаженно хрюкали, развалившись в тени. Работали мельницы, и мучная пыль оседала на волосах и ресницах.

Люба делала несколько ездок. Тревожное от заката небо постепенно теряло пылающие краски. Чистая зеленая пелена одевала его. Всплывала тоненькая, как подросток, луна. Мерцающая звезда зажигалась около нее. Томительное дыхание остывающих трав доходило из степи.

Ожидая погрузки, Люба усаживалась на высокое крыльцо амбара. Легкий ветер трогал ее голые руки. Она закрывала глаза, объятая сладким, щемящим чувством. Сверкало воспоминание. Разверстое небо, голос, звучащий печалью, и тяжелая солдатская рука на ее плече.

На обратном пути Люба зажигала фары.

— Любочка, — говорил ей уполномоченный, — вы ужасно гордая.

Домой Люба возвращалась совсем ночью. Усталость наполняла ее счастьем. Она бурно распахивала калитку и громко топала в сенях. Проходя мимо комнаты Масехина, она торжествующе усмехалась. Масехин совсем спился и лежал в белой горячке.

Зимой Любе выдали полушубок и валенки, доходившие ей почти до бедер. Она попрежнему ездила за реку. Среди степи строился животноводческий совхоз. «Гигант», говорили о нем. Люба возила рабочих, материалы. Рабочие были пришлые. Они косились на Любу, по-шальному подсвистывали.

Было странно видеть, как среди морозных равнин вырастают вдруг длинные кирпичные здания. Шумные обитатели заселяли их. В одном из них жили свиньи. Они неистово верещали. Катя, помощница ветеринара, делала им какие-то прививки. Она часто ездила с Любой в кабине.

— Я по разверстке в ветеринарный попала, не по охоте, — говорила она Любе, — так и буду всю жизнь мотаться. Тоже, женское дело!..

— Ну и ты, небось, не рада? — спрашивала она Любу.

— Нет, я рада, — отвечала Люба. Она гордилась своей профессией, требовавшей мужской ловкости.

— Нашла чему радоваться! Читала в газетах? Девушку изнасиловали. Не боишься с мужиками разъезжать?

— Я уж привыкла, — говорила Люба неуверенно, — да и народ здесь не такой...

Дома Люба засыпала, не успев раздеться. Мать осторожно снимала с нее валенки и накрывала ее тулупом. Лицо у Любы обветрилось и шелушилось, как у ребенка. Темная кайма окружала глаза.

Осенью в одной из деревень убили комсомольца, приехавшего на хлебозаготовки.

То там, то здесь загорались амбары с хлебом. Любе дали военную охрану. Она теперь снова возила хлеб. Красноармейцы менялись, но чаще других ездил Степан Кочетков. У него было кроткое лицо с широкими белыми бровями. И хотя Люба ворочала тяжелые рычаги и у нее были сильные, огрубелые руки, Кочетков смотрел на нее так, словно она была видением и каждую минуту могла исчезнуть. Он подбирал ключи и отвертки, которые Люба второпях расшвыривала, и бережно подавал их ей.

— Последний год служу, — объяснял он. — О доме я соскучился. У нас места веселые, курчавые, не то, что здесь, степь — не переедешь. Вот и вы бы подавались в нашу сторону.

— Зачем это? — спрашивала Люба.

— Как зачем? Небось, замуж бы вышли.

— Это я и здесь могу.

— Здесь какой интерес! С мужем тоже надо в приятности жить. А тут зимой морозы. Летом — пыль. Пасмурная жизнь!

Как-то в один из отпускных дней Степан пришел к Любе, поколол дрова и наносил воды. Чай пить он не остался и вдруг, застеснявшись, ушел.

С тех пор он стал приходить постоянно.

Иногда Люба читала ему, но чаще не замечала его. Но, оставаясь одна, она вспоминала тихие, дружественные слова. Преданность Степана льстила ей. Было грустно сознавать, что она не может ответить на его чувство. В лице Степана не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало черты, однажды поразившие ее воображение. Особенно Любу сердил нос Степана, расплывчатый, испятнанный широкими бледными веснушками.

В эту осень нехватило машин для перевозок, и Любе пришлось ездить ночами. Дороги уже портились. Выбоины размыло, и колеса увязали в липкой грязи. За поворотом, между двумя невысокими косогорами, был самый коварный ухаб. Этот ухаб все время занимал любины мысли. Едва выезжая в рейс, она думала лишь о том, что будет, если она застрянет в ухабе. «Не вытащу тогда», решала она. Однажды, подъезжая к опасному месту, Люба увидела, что на другой стороне ухаба навалены какие-то бревна и доски.

«Что же это такое?» подумала Люба, останавливая машину. Открыв дверцу, она уже собиралась вылезти, как вдруг услыхала близкий выстрел.

«Это в нас?» удивилась Люба. Выстрелы посыпались, как горох. Любе чудились какие-то фигуры, перебегавшие за чертой света. Выключив свет, она начала пятить машину. Степан отстреливался сверху. Внезапно он замолчал.

«Убили Степана», испугалась Люба.

Она вдруг перестала ощущать себя.

Загремела тяжелая брань. Люба направляла машину на косогор.

«Перевернемся», мелькнула мысль.

Взревев, машина тяжело вползла, ее валило боком. Опять затрещали выстрелы, звякнуло стекло, но они уже съезжали.

«Не перевернулись», зачем-то подумала Люба, когда они уже были далеко от опасного места. Только теперь она заметила, что у нее стучат зубы.

Около парома она с трудом расцепила судорожно впившиеся в руль руки и влезла наверх к Степану.

— Ну, спасибо, проскочили, — сказал он просто.

Он был ранен в плечо.

6

Через несколько дней Люба пошла в казармы проведать Степана. Ее встретил подтянутый военком.

— Кочетков поправляется, — сказал он ей, — и завтра выйдет из лазарета. А вот вас мы разыскиваем, товарищ Смирнова. — И, заметив ее удивленный взгляд, объяснил:

— В нашем клубе завтра вечер, и вы непременно должны быть.

Люба опять было хотела удивиться, но военком ей понравился, и она согласилась притти. Он проводил ее до ворот.

— Так не забудьте, — сказал он, прощаясь. — Начало ровно в семь. Мы народ аккуратный!

По дороге Любу одолели сомнения.

«Ну в чем я пойду? Дура, согласилась!»

У нее не было ни модных высоких ботинок, ни узкой клетчатой юбки-шотландки.

«Не пойду!» решила она.

Но на другой день красноармеец-рассыльный принес ей конверт с пригласительным билетом.

«Приглашаем вас в качестве почетного гостя», прочла она на белой глянцевитой бумаге.

— Чудно, мама, — сказала Люба матери, — это я-то почетный гость?

— Иди уж, Любочка, раз зовут, — отозвалась мать.

Перед вечером Люба вымыла голову, пришила к кофте дряблый кружевной воротник и долго рассматривала себя в маленькое потрескавшееся зеркало. Оно поочередно отражало то светлые глаза с широкими зрачками, то круглые, детские щеки.

— Ничего нельзя понять, — сказала Люба с досадой.

— Ну как, прилично так итти? — спросила она мать.

Мать вздохнула.

— То ли бы ты носила, Любочка, если б все было по-хорошему.

— Ах, вечно ты со своим старым режимом, мама!

Все-таки блестящая на локтях кофта и грубые парусиновые туфли смущали ее.

«Буду хуже всех!» злилась Люба всю дорогу.

Вчерашний военком встретил ее у входа в клуб.

— Здравствуйте, здравствуйте, дорогие гости, давно поджидаем, — сказал он певуче и учтиво взял Любу за локоть. Он ввел ее в зал, полный людей и света.

На сцене стоял стол, затянутый красным плюшем, у сидящих за ним были торжественные лица. Докладчик уже начал говорить. Это был седой, широкоплечий командир.

— Вот так вечер, — недовольно подумала Люба, — доклады...

Она оглядывалась, ища свободного места, но спутник торопил ее.

— Куда же мы идем? — спросила она, когда они прошли первые ряды.

— Вас ждут в президиуме, — ответил он ей.

Взобравшись на сцену, Люба вдруг сразу почувствовала, как одеревянели ее руки и ноги.

«Все на меня смотрят», думала она с ужасом, шагая, как на ходулях.

Подойдя к столу, она хотела сесть на стул, стоявший во втором ряду, но председатель пожал ей руку, а человек в толстовке встал, уступая ей место за столом.

Люба поместилась рядом с председателем. Стараясь казаться развязной, она вертела в пальцах карандаш.

— Сегодня, — долетели до нее слова докладчика, — когда страна поздравляет своих юношей и девушек, и мы (он поднес руку к своим седеющим вискам) можем считать себя молодыми, потому что в рево-

люции мы родились второй раз и, как юноши, растем вместе с нашей молодой страной...

«Неплохо сказал», определила про себя Люба. Она занялась рассматриванием публики. В первом ряду она увидела Степана. Правая рука его была на перевязи. В зале было много женщин. Все они показались Любе ослепительно нарядными. «Наверное, жены», решила она. Было душно. Запах духов смешивался с терпким запахом казармы.

— Прекрасная, смелая молодежь растет в нашей стране, — вновь услыхала Люба голос докладчика. — Вот сейчас такая отважная девушка находится среди нас. Зовут ее Люба Смирнова. Она первая и пока единственная девушка-шофер нашей области. Она еще очень молода, но тем не менее она каждый день рискует жизнью. Она перевозит хлеб, который нужен государству.

Вы все понимаете, что это нелегко. У нас много врагов, и недавно эта девушка проявила истинный героизм, спáсая свой груз от кулацкого нападения...

Люба сидела, как на иголках.

«Что он плетет, что он плетет, — волновалась она, — хоть бы остановил его кто!»

Она даже рванулась с места, слабый протестующий вскрик слетел с ее губ. Председатель усадил ее.

— Ваше слово будет после, — сказал он ей мягко.

«Все было совсем не так», терзалась Люба. Она уже ненавидела докладчика. Он кончил говорить, ему весело хлопали.

— Слово предоставляется Любе Смирновой, — услыхала она рядом громовой голос.

Она встала, мгновенно вспотев.

«Ну что я скажу?» в отчаянии думала она.

Она обернулась к президиуму. Теплые, дружеские лица улыбались ей. А вот и Степан в первом ряду поднимает в знак ободрения свою здоровую руку.

— Товарищи, — сказала она. Жаркая волна порыва вдруг охватила ее. — Товарищи, — повторила она, наклоняясь к президиуму, — вы все очень хорошие!

Она задохнулась.

— А героизма никакого не было, — докончила она скороговоркой.

Взрыв аплодисментов и восклицаний покрыл ее слова. Люба усаживалась на место. Сладкая спазма сжимала горло. «Не зареветь бы только, как дуре» боялась она.

Потом Любу наградили часами. Она смущенно протянула руку, и тот же седой командир надел ей часы и отечески похлопал Любу по плечу.

А потом все слилось в сплошной, сверкающий праздник.

Любу водили по всему зданию. Ей показывали красный уголок, где были раскинуты столики с нарисованными на них шашечными досками, казарму, где жили бойцы и где — Люба удивилась — даже в такой праздник дежурил дневальный. В тире ее рассмешил деревянный буржуй в цилиндре.

— Я обязательно научусь стрелять, — сказала она горячо, — обязательно!

В комнате для занятий стоял полигон с настоящими песчаными холмами, покрытыми то лесом, то кустарником.

Начался концерт. Любу усадили в первом ряду напротив сцены. Когда потух свет и глубокий вздох невидимых скрипок наполнил вдруг зал, детское ожидание волшебства охватило ее. Зашипела вольтова дуга. В сиреневом свете бесшумно кружились девушки, изображавшие русалок. Люба сидела, полузакрыв глаза. Блаженный отдых за все эти полные лишений годы впервые пришел к ней. Потом выходили певцы и певицы. Любе нравилось все. Она до слез смеялась над глупым скетчем.

— Как хорошо у вас! — сказала Люба военкому, который почему-то все время оказывался рядом.

— А вы заглядывайте к нам почаще, — ответил он.

За ужином Любе подарили коробку шоколада, перевязанную лиловой лентой.

Красивая дама в шелковом платье приносила ей чай, бутерброды и пирожное.

В зале под духовой оркестр начались танцы. Любу приглашали наперебой. Забыв о парусиновых башмаках, она танцовала вальс, тустэп, краковяк. Седой командир, делавший доклад, пригласил ее на венгерку.

— Люба, — говорил знакомый военком, — вы мне изменяете!

После двенадцати музыканты сыграли марш и сложили ноты.

Красноармейцы прощались с Любой. Она пожимала чьи-то руки, чувствуя странную растерянность от того, что кончился этот необыкновенный вечер.

Ее провожал все тот же военком. У ворот он неловко поцеловал ее в висок.

Люба рассмеялась.

— Я люблю другого, — сказала она и ушла, захлопнув за собой калитку.

7

Зима в этом году наступала медленно. Свистели пронзительные ветры, разгоняя снеговые облака. Небо походило на огромный кусок голубого льда. Дороги стали жесткими.

Степан отслужил и уехал на родину. Люба сама отвезла его на станцию. Было нестерпимо грустно смотреть, как Степан со своим деревянным сундучком взбирается по заплеванным ступенькам вокзального крыльца. Попрощались они плохо. Люба сердилась на Степана за то, что он не остался. Деланно равнодушно она протянула ему руку. Степан был растерян и так и не нашелся, что сказать.

В тир ходить не пришлось. В городе и в районе шло строительство. Шоферов было мало. Люба жила как на фронте. Она ложилась спать не раздеваясь, за ней часто присылали ночью. Мать сокрушенно качала головой, вглядываясь в спящее лицо дочери. Оно было совсем взрослым, даже усталым.

В конце зимы Люба заболела воспалением легких. Детская безмятежность вернулась к ней во время болезни. Было так хорошо лежать, ощущая приятный, расслабляющий жар. Не надо было вставать в утро, полное предрассветной тьмы и морозного пара. Старенький доктор, товарищ отца, выписывал Любе смешные соленые лекарства. Мать варила

кисели. Как в детстве, она садилась на край любиной кровати и гладила ее по встрепанным волосам.

— Шла бы ты учиться, Любочка, — говорила она вздыхая.

— Все некогда, мама, — отвечала Люба.

Теперь, когда никуда не надо было торопиться, она ощутила вдруг томительную жажду перемен.

«Глупости, — говорила она себе, — что мне еще нужно?» Но слова почему-то не успокаивали.

Однажды мать принесла ей письмо. Оно было от Степана. Серый конверт, казалось, разбух от дальнего пути. От него пахло свежестью и влажной бумагой.

«Там уже, верно, весна», подумала Люба с волнением.

Степан писал:

«Уважаемая Люба.

Как вы поживаете в Вашей суровой Сибири и как Ваше здоровье?

Люба, я сильно беспокоюсь за то, с кем Вы теперь ездите и какие ребята пришли по осени в Красную армию. Люба, если Вы ездите с новобранцами, то они не вполне дисциплинированные и могут позволить лишнее. Люба, если Вы на меня не сердитесь, опишите мне про все, и я тогда сообщу военкому в часть.

Приехавши на родину, я в своем селе не задержался, а как имеющий из Красной армии особую характеристику, работаю при горсовете. Люба, предлагаю Вам приехать к нам на работу. Район у нас пограничный, и нам желательны такие люди, как Вы.

Да и Вам наша местность понравится. Дороги у нас ровные. В прошлом году шоссе выстроили, и морозов не бывает. С квартирами здесь просто и со всем остальным тоже. Люба, напишите поскорей, соглашаетесь ли Вы приехать к нам? Если Вы согласны, я Вам заранее найму квартиру.

Будьте здоровы. Кланяйтесь от меня Вашей мамаше.

Степан Кочетков».

Люба долго лежала зажмурившись. Сумерки, полные оттепели, стояли за окном. Тихо приотворив дверь, вошла мать.

— Мама, — сказала Люба и удивилась своему счастливому голосу, — я уезжаю из Сибири.

Ранняя весна неузнаваемо меняла город. Темнели дома. Сизые изъеденные сугробы обнажали вдруг навоз и щепу. В лужах звенели ледяные осколки, и сырые ветры хлопали в улицах, как бичи.

Люба уезжала в один из таких ветряных дней. Было холодно, и мать упросила ее надеть платок. Боясь опоздать, они слишком рано приехали на вокзал. На перроне было пустынно. Блестели цветные, низкие огни стрелок. «Как цветы в саду», восхищалась Люба. Мать с удивлением смотрела на дочь, точно впервые видела эту высокую, широкоплечую, с грубыми руками девушку.

Наконец, подали состав. Люба нетерпеливо разыскивала свой вагон. Равнодушный проводник взял у нее билет. Потом они с матерью стояли в толпе, среди снующих людей, багажных тележек, носильщиков. У матери было жалкое, потерянное лицо.

— Я выпишу тебя, мама, — сказала Люба, но обе знали, что это неправда.

Ударил второй звонок.

— Садись уж ты, садись, пожалуйста! — заторопила ее мать.

Смутно удивляясь этим простым словам, Люба вскочила на подножку. На повороте, из-за плеча проводника, Люба в последний раз увидела мать. Она неподвижно стояла все на том же месте, среди опустевшего перрона.

Люба проснулась в залитом солнцем вагоне. Ослепительное небо сияло в окнах. Телеграфные провода бежали за вагоном, то взбираясь куда-то вверх, то вдруг стремительно падая. Сосед по купе наливал Любе чай в эмалированную кружку.

— Заспались, — сказал он, — ой заспались!

Люба рылась в корзинке, отыскивая полотенце.

— Вы куда же едете? — спросил сосед.

— Я в пограничный район. Я, знаете, в первый раз по железной дороге.

— К мужу, стало быть?

— Нет, к жениху, — сказала Люба и рассмеялась своему ответу.

8

Станцию, где сошла Люба, окружали высокие красноствольные сосны. На перроне было чисто и тихо. Бревенчатый станционный дом был выкрашен в красный цвет и совсем не походил на вокзал. Поезд ушел. Клочья пара растаяли, цепляясь за темную зелень деревьев. Степана не было. «Верно, не получил моего письма», подумала Люба. Ее смущала непривычная тишина.

«Куда же итти, кругом лес», недоумевала она.

Выйдя из вокзала, она увидела дряхлую извозчичью пролетку. Извозчик спал, поместившись внутри своего экипажа и свесив с подножки ноги.

Сосны расступились, обнаружив белую ограду. «Железнодорожный парк культуры», прочла Люба надпись.

— Эй, — стала звать она извозчика, — дядя, вставай!

Откуда-то вдруг вынырнула легковая машина и круто осадила у крыльца. Из кабины выскочил Степан и, торопясь, побежал к вокзалу.

— Степан, — закричала Люба, — Степан! Ты получил мое письмо?

— Да нет, — сказал он, — я каждый день к этому поезду езжу. Все тебя поджидаю! — Он как-то издали оглядывал ее.

— Молодец, что приехала!

Люба с удивлением смотрела на Степана.

Он изменился. Выражение неуверенности исчезло с его лица. Расплывчатые раньше черты стали тверже, и в голосе звучали волевые нотки.

— Ну, — сказал он тоном хозяина, — милости просим.

Они поехали по тихим мощеным улицам. Дома были без ставней, в палисадниках цвела черемуха.

— А сирени у нас сколько, — сказал Степан, — вот погоди, зацветет!

Люба поселилась в домике, окруженном сиреневыми кустами. Ее ком-

ната помещалась рядом с кухней, где стояли расслабленные керосинки и спала старуха-хозяйка.

Любе дали новенькую, только сошедшую с конвейера полуторатонку и синий щегольский комбинезон. Она должна была обслуживать погранзаставу и вновь организованный пограничный колхоз.

В первый раз она поехала в район со Степаном. Синее, как река, асфальтовое шоссе уходило вдаль. Машина мягко неслась мимо елок, сосен, юного осинника.

— Ну как? — спросил Степан.

— Замечательно! Всю жизнь бы так ездить! — горячо отозвалась Люба.

— У нас и проселочные дороги лучше ваших, — сказал Степан. — Вот погоди, сегодня весь район тебе покажу! — Они приехали в деревню, носившую смешное название Козелки. За деревней текла неширокая речка.

— Вот и граница, — показал Степан на речку.

— Ну да? — сказала Люба недоверчиво.

Противоположный берег был ниже. Густой кустарник спускался к воде. Вот из кустов выбежала девочка с хворостиной в руке и стала загонять теленка.

«Какая же это граница», думала Люба удивляясь.

За рекой в ближней деревне запели петухи.

«Панские петухи», подумала Люба.

Она шла по узкой тропинке, ведущей к речке. Внезапно она остановилась. Из кустов медленно вышел человек в зеленой гимнастерке и преградил ей дорогу. Люба смутилась.

— Вы не подумайте чего-нибудь, — запинаясь, стала она объяснять, — что я тут хожу. Я... ваш шофер.

Степан сходил на заставу и пришел в сопровождении двух пограничников. Вчетвером они отправились к реке. Люба шла, сталкивая в воду камешки, которыми была усеяна узкая отмель.

— А что? — задорно спросила она пограничника, — вдруг бы я сейчас бросилась и поплыла?

— Ничего особенного, — ответил он учтиво, — уложил бы вас на месте.

Люба сконфузилась и замолчала.

На заставе к ней скоро привыкли.

— Любочка, — встречал ее начальник заставы Семенчук, — краса и гордость! Чем порадуете?

Он поводил широкими плечами в ловкой зеленой гимнастерке и смеялся.

Любе тоже хотелось шутить, быть непринужденной и веселой. Но остроты не придумывались Она натянуто улыбалась.

— Вот привезла вам тут кое-что...

Выходила жена Семенчука, круглолицая блондинка с короткой шеей. Семенчук умолкал.

Всю обратную дорогу Люба проклинала себя.

— Ни ступить, ни молвить! И как жить с таким характером?

Ракитников — боец, так смутивший Любу на границе, — смотрел на нее теперь дружелюбно. Подойдя к машине, он доверительно наклонялся к Любе.

— Я вас сразу признал, — сообщал он ей, — что вы нездешняя. По разговору.

Только теперь Люба стала замечать, что часто говорит на «о» и излишне четко выговаривает окончания слов. Вместо кино, она говорила ки́но и ки́ло, вместо кило.

9

В город Люба возвращалась вечером. Всходила луна. Голубое шоссе становилось серебряным. Темные деревья безмолвно подходили к дороге.

— Ох, страшно в лесу, — говорила Люба и прибавляла газ. — В степи лучше.

Иногда она ездила на заставу проселочной дорогой. Это был длинный окольный путь. Ответвившись от шоссе, дорога кружилась между сосен. Постепенно удаляясь, она дробилась на множество рукавов, ведущих в разные деревни.

Со Степаном они виделись редко. Иногда он приходил к ней в выходные дни.

— Ну, как ты? — спрашивал он ее. — Привыкаешь? А я запарился! Ни вздохнуть, ни охнуть!

Люба брала полотенце.

— Идем, — говорила она. — Окунемся в вашей луже!

Они шли на реку.

Сосны теснились на другом берегу. Река была узкая, и Люба ее презирала. Степан сталкивал в воду легкую, остроносую лодку и садился за весла. Люба устраивалась на корме. Сняв туфли, она опускала в воду ноги, две бурливые струи возникали за кормой.

— Я тебя торможу, — кричала Люба Степану. Она оборачивалась.

Степан снимал фуражку, потные волосы прилипали к его лбу. Лицо его похудело, веснушки на носу исчезли.

— Степан, — говорила Люба, — признайся, ты веснушки сводил?

— Ну вот еще, — смущенно отвечал он.

Они приставали к песчаной отмели. Люба выпрыгивала из лодки и начинала через голову стаскивать тугое платье.

Степан отворачивался и торопливо уходил вдоль берега.

Раздевшись, Люба бурно бросалась в воду. В несколько взмахов она переплывала реку. Степан не сразу догонял ее. Он стоял по пояс в воде ожидая, пока она отдохнет на берегу. Потупившись, он не смотрел ни на ее мокрые, спутанные волосы, ни на длинные, сильные ноги.

Дома Степан вынимал из портфеля тетрадь и учебник алгебры. Он готовился сдавать на третий курс рабфака.

— Любаша, — говорил он Любе, точно она была его женой.— Скажика своей бабке, чтоб она самоварчик сообразила.

Старуха ставила им кривобокий самовар.

Они пили чай с малиной, собранной в палисаднике.

— Степан, — спрашивала Люба, — ты кем будешь?

— Там видно, — отвечал он, — дай сначала рабфак кончить.

— А я, — говорила Люба, — неужели я больше никем не буду?

— Будешь. Садись за книжку!

Люба перебирала профессии, которые она могла бы выбрать.

— Нет, — говорила она вздыхая, — все очень долго! Вот разве летчицей?

После чая Степан принимался за свои уравнения и переставал слушать Любу.

Как-то Степан зашел утром.

— Вот что, — сказал он. — Снимаю тебя с грузовой. Будешь работать при горсовете на легковой. Свободнее будешь.

Люба не знала: радоваться ей или нет. Она еще никогда не работала на легковой машине.

Гараж помещался на Сенной улице, около базара. Старый шофер уезжал. Заведующий гаражом сердито посмотрел на Любу.

— Дорогу женщинам, — сказал он с явной злостью.

— Сладитесь, — проговорил шофер.

Машина была запущена. Запасных частей нехватало.

Весь любин рабочий день теперь складывался из ожиданий. К десяти утра она подавала машину. Город был небольшой и концы короткие. Она ждала у горсовета, у исполкома и у Осоавиахима...

Заперев машину, она уходила бродить по улицам. Широкие тротуары были выложены каким-то незнакомым камнем. «Красота!» восхищалась Люба.

Вороватo оглянувшись, она приподнималась на носки и обламывала притаившиеся за чужим забором упругие ветви сирени. Она купила широкий кожаный ремень под комбинезон и часто смотрелась в маленькое круглое зеркало. Собственный рот с крупными вздернутыми губами вызывал ее недовольство.

«До ушей», сердилась она. Вздыхая, она откладывала зеркало. «Неужели и здесь она не сумеет ни с кем подружиться?»

«Нелюдимая я», осуждала она себя.

Однажды, придя в гараж, Люба увидела, что у нее исчезли запасные покрышки.

— Что же это такое? — сказала она растерянно.

Заведующий преувеличенно деловито распоряжался в дверях и, казалось, ничего не замечал.

— Не у тебя первой, — сказал шофер Семенов. — Кутукова спроси, — и он подмигнул на заведующего.

Люба пожаловалась Степану.

— У меня, — сказала она, — Кутуков покрышки украл.

К ее удивлению, Степан не выразил никакого возмущения.

— Докажи, — сказал он.

— Что же доказывать? — обиделась Люба, — и так всем известно, что он.

— Не пойман, не вор, а поймаешь — спасибо скажем.

— Эх ты, — упрекнул он ее, — думаешь, все на свете просто делается?

Люба замолчала, рассердившись на Степана.

В палисаднике под любиными окнами поспела смородина. Забравшись с ногами на подоконник, она рвала ягоды и слушала, как в городском саду играет музыка. Каждый вечер девушки танцовали там с военными. Приходил Степан, и они тоже шли в сад. В темных аллеях целовались пары, и Любе становилось грустно. Степан несмело трогал ее за локоть.

— Пойдем, поглядим, как танцуют.

— Да что там смотреть! — говорила Люба с досадой. Ее раздражала виноватая улыбка Степана.

На эстраде выступал восточный ансамбль. Юноша в черкеске пел, закрывая глаза. Хор музыкантов вторил песне. Их инструменты то страстно жужжали, то замирали, точно вечерние, утомленные пчелы.

Скамейки в аллеях были всегда заняты. За кустами кто-то приглушенно смеялся.

Степан с Любой устраивались на краю скамьи. Соседи смотрели на них неодобрительно.

— Степан, — сказала Люба, когда они однажды остались одни. — Степан, — повторила она, чувствуя острый, колющий холодок в сердце, — поцелуй меня...

Она искоса бросила на него взгляд, ожидая увидеть на его лице смятение, которое должно было предшествовать этому событию.

Но Степан сидел точно каменный.

— Зачем ты... так, — трудно проговорил он.

Люба встала. «Так вот как! Степан, которого она считала своей собственностью, не хочет ей уступить даже в этом».

Она ушла не прощаясь, чувствуя на глазах злые, едкие слезы.

Они не виделись три дня. Приходя с работы, Люба брала полотенце и до темноты уходила на реку.

На третий день, возвращаясь с реки, Люба увидела свет в своей комнате. Степан сидел за столом и перебирал какие-то бумаги. У него было расстроенное лицо.

— Люба, — сказал он, — тебе мое отношение известно. А ты балуешься! Зачем это?

— Ну что ты, — забормотала Люба.

Она вдруг вспомнила, как злилась на него по вечерам в саду, как осуждала неправильные обороты его речи, как постепенно привыкла требовать от него всего. Жгучее раскаяние и стыд охватили ее.

— Степан, — сказала она молящим голосом. — Ты не обижайся, честное слово. А я... лучше перейду на грузовую машину, а то я на свободе развинчиваюсь.

Степан молчал.

— Ты не согласен?

— Нет, почему же, — сказал он тихо, — только я теперь перехожу в Осоавиахим на работу, и ты подай заявление Корнилову.

Он поднялся.

— Ну, прощай.

— Куда ты? — спросила она тревожно.

— К председателю Осоавиахима. Он сегодня вернулся из отпуска.

— Я с тобой. Можно?

10

Раздражающий вечер стоял в улицах. Около дома с деревянными колоннами и широкой увитой зеленью террасой они остановились.

— Какой дом... — сказала Люба.

— Сто лет ему, — проговорил Степан, — дворянский особнячок. А вот в окнах темно. Жалко, если не застанем.

Звонок не звонил, и они постучали в окно. Высокий человек в крагах встретил их в комнате, наполненной полумраком.

— Прошу прощенья, — сказал он. — Свет не горит. Чинят.

Окно было раскрыто в сад. Люба села на низкий, покрытый ковром диван. Букет цветов стоял на тяжелом письменном столе у окна. Незнакомый приторный аромат наполнял комнату.

«Жасмин, наверное», подумала Люба; она никогда не видела этих цветов.

Свет внезапно вспыхнул. Люба увидела кожаное кресло у стола, высокие полки с книгами и походную кровать у стены.

Хозяин стоял посреди комнаты. На нем был военный френч.

У него было смуглое лицо и седые на висках волосы. Темные живые глаза взглянули на Любу без всякого любопытства.

— Заждались мы тебя, товарищ Андровский, — сказал Степан, — долго отдыхал.

— За семь лет можно, — ответил тот.

— Без тебя тут невесело, — продолжал Степан. — Лагерный сбор сорвали, самолет прошляпили.

Он покраснел, брови его вздрагивали.

Андровский пожал плечами.

— Пройдемте в столовую, — сказал он. В комнате стоял стол, покрытый белой скатертью. Лампа из-под темного абажура бросала на него спокойный, светлый круг. Почему-то Любе вспомнились стихи, которые декламировал брат Миша.

> ...Чудится нам белая лампа над белым столом,
> Белая скатерть, раскрытая книга...
> Мы пассажиры с разбитого брига...

«Этот, наверное, знает стихи», подумала она про Андровского. Она мысленно сравнила его со Степаном.

Андровский доставал из буфета бокалы.

— Какое мне вино подарили! Я в Армении был.

Вино было розовым и пахло грецкими орехами. Щеки у Любы разгорелись. Ей неудержимо хотелось говорить.

Андровский рассказывал об Армении и поглядывал на Степана. Тот сидел насупившись и как будто еще больше помрачнел от вина.

— Боюсь, — сказал он Андровскому, — как бы нам не поссориться!

— А я, — начала Люба некстати, — выросла в Сибири в одном городе. Там такая река, не то что здесь!

— Мне кажется, — обратилась она к Андровскому, — я вас где-то видела! Но только где же? Я, кроме Сибири, нигде не была.

— Я как раз в Сибири и не был, — проговорил Андровский, — а то, кажется, везде.

— Ну, вот видите, — сказала Люба и рассмеялась.

— Завтра надо место для учебных стрельб выбирать, — вмешался Степан. — Ты поедешь? — спросил он Андровского.

— Обязательно.

— Машина будет к двенадцати.

Они поднялись прощаться.

— Что же это ты, — вдруг спросил Степан, — на походной койке спишь?

— Я старый солдат, — ответил Андровский.

Люба опять рассмеялась.

— Я, — сказала она, — одного солдата в Сибири знала, в одном городе. Он у нас на заднем дворе прятался. Я еще тогда влюбилась в него.

Она опьянела.

— До свидания, завтра увидимся. — Она махала рукой Андровскому и смеялась.

Но на утро Андровский не пришел. Он прислал Степану записку.

«Лежу в приступе малярии. Возьми с собой Студенова. Андровский».

Степан ожесточенно смял бумажку.

— Может, доедем к нему, — сказала Люба, — ведь он болен.

— Как же! — Степан сел рядом с Любой.

— Трогай.

Вечером Люба пришла к дому, где жил Андровский. В окнах было светло. Тень от букета лежала на белых полотняных шторах.

Люба стояла, прижавшись к ограде палисадника.

«Ну что я скажу? Зачем пришла? Может быть, ему неприятно, когда его видят больным?»

Она вспомнила с начала до конца все вчерашнее посещение, свою бессвязную речь и покраснела в темноте.

«Теперь считает меня глупой, — подумала она с обидой. — И смех какой-то идиотский напал».

Занавеска на окне заколебалась, точно по комнате прошла вдруг струя воздуха.

«Если выглянет — окликну», решила Люба.

Но в комнате снова все замерло.

Немощный порыв ветра поднялся с улицы и рванулся к окнам, но не долетел и только зашевелил листву у ограды.

Тихо отворилась парадная дверь, и на крыльцо вышел человек. Не заметив Любы, он пошел прочь.

«У него кто-то был! Вот бы нарвалась!»

Люба вдруг заволновалась, точно ее застали врасплох. «Как стыдно, если кто-нибудь увидит ее здесь!» Повернувшись, она быстро пошла, почти побежала по улице.

Андровский вышел на работу через несколько дней. Днем он показался Любе желтее и суше, чем в первый вечер знакомства.

«Перевернуло его здорово», подумала она участливо. Ее неудержимо тянуло смотреть на него. Почти каждый день теперь Любе приходилось возить Андровского. Он ее не замечал.

«Ну, конечно, — вздыхала про себя Люба, — что во мне интересного».

Степан все чаще ссорился с Андровским. В машине они продолжали споры, начатые на заседаниях. Про себя Люба всегда принимала сторону Андровского. Степан, по ее мнению, был груб. В своих решениях он всегда исходил из принципов, несходных с андровскими. Любе казалось, что Степан имеет какой-то умысел против него.

— Степан, — сказала она ему как-то, — чего ты из кожи лезешь, что он, хуже тебя понимает?

Степан посмотрел на нее зло и ничего не ответил.

В этот вечер Люба отвозила Андровского на квартиру.

— Знаете, — покраснев, она тряхнула волосами, — вы похожи на одного человека из Сибири. Он был нерусский.

— Вот как, — сказал он, снисходительно улыбнувшись.

«Вот и заработала, — стыдила себя Люба, возвращаясь в гараж. — И... нечего навязываться...»

Она дала себе слово не обращать на него внимания.

На первых порах это не представило затруднений, так как Андровский снова заболел малярией и не показывался. Степан вернулся из района. Никогда еще Люба не видела его таким мрачным.

— Что с тобой? — спрашивала она его.

— Много будешь знать, скоро состаришься, — отвечал он загадочно.

«Да что они все очумели, что ли?» недоумевала Люба. Принятое решение вдруг перестало ее утешать.

«Почему он ко мне так относится? — с обидой думала она про Андровского. — Скорей бы в район переводили...»

Заявление она подала давно.

Степан перестал приходить. Дела отнимали у него ночи. Он ничего не говорил Любе, но она ощущала необычность этих дел.

11

Однажды в сумерках кто-то постучал в дверь любиной комнаты.

— Входи, — сказала Люба, думая, что пришел Степан. Наклонившись, в комнату шагнул Андровский.

— Здравствуйте, — произнес он, точно поздравление.

Сбросив туфли, Люба сидела на подоконнике.

— Николай Павлович, — сказала она почти с испугом.

— Не ожидали?

— Нет, — сказала тихо Люба.

— Во-первых, — заговорил Андровский, — я принес вам приятное известие. С завтрашнего дня вы снова будете ездить в район, в ваши любимые Козелки, а, во-вторых, сегодня вы меня туда отвезете. Вот вам путевка.

Машинально Люба взяла путевку.

— Когда же, — спросила она, — вас везти. Сейчас?

— Ну, конечно, — засмеялся он. — Вы идите за машиной, а я подожду вас здесь.

Они выехали. Высокая ущербная луна стояла над зубчатой стеной леса. Призрачный свет сиял над шоссе. Оглянувшись, Люба увидела тихие городские сады. Томительное ожидание счастья овладело ею. Андровский сидел рядом.

Они молчали, но ей казалось, что между ними идет какой-то разговор.

— Чьи это леса? — спросил он ее, когда они проехали половину пути.

— Это гореловские кончаются, — ответила Люба.

— Сверните вон на ту полянку, — попросил Андровский. — Постоим там немножко.

Люба свернула с шоссе.

Выйдя из машины, они уселись на подножке. Легкие обманчивые те-

ни лежали на траве. Луна поднялась еще выше. Сонный, холодный свет пронизывал каждую былинку.

— Люба, — сказал Андровский медленно и повернул к ней освещенное луной лицо. — А ведь ты не ошиблась. Я действительно был в Сибири.

Опустив в карман руку, он достал маленькую куклу в розовом шелковом платье.

— Как хорошо, что мы все-таки встретились.

Она молчала, подавленная неожиданностью.

— Ну, что же ты? — сказал он и положил ей на плечо руку.

— Так неужели вы... — проговорила она, наконец.

— Ну, конечно Франц. Тогда я уехал к красным. Потом был в партизанском отряде. Там меня и перекрестили. Помнишь, как ты кормила меня? Я тогда умирал с голоду!

Люба сидела, закрыв глаза.

— Милая, — произнес он и поцеловал ее в губы.

— И... и вы помнили обо мне? — медленно сказала Люба, испытывая вдруг удивительное счастье от того, что можно говорить эти слова.

— Глупая... — Он крепко обнял ее за плечи. Путаясь в траве, они бродили по поляне.

— А почему ты раньше не сказал мне, что ты Франц?

Он пристально посмотрел на нее.

— Ты сердишься? Я наблюдал тебя.

Они подошли к опушке леса.

— Пойдем? — спросил Андровский.

Они вошли в лес.

Особая подстерегающая тишина стояла там. Скользкий настил из игл устилал землю. Любе вдруг сделалось страшно.

— Выйдем, — прошептала она.

На поляне Андровский посмотрел на часы.

— Разве поздно? — спросила Люба. Она прижималась к его плечу, вдыхая запах сукна и теплоты, исходящей от его тела.

— Ты торопишься? — сказала она тоскливо.

— Да нет же, — голос его прозвучал рассеянно. Он продолжал обнимать любины плечи. — Еще побудем минут пятнадцать.

Она обиженно промолчала.

Кусты напротив беззвучно зашевелились. Темная тень возникла среди них.

— Человек, — прошептала Люба вдруг пропавшим голосом. Руки ее судорожно впились в Андровского. Он тоже заметил человека. Отведя любины руки, он сделал несколько шагов вперед. Подойдя к человеку, он что-то тихо сказал, и тот вышел на поляну.

— Не бойся,— обратился Андровский к Любе, — это наш осоавиахимовский парень. — Человек улыбнулся Любе. С удивлением она увидела, что он садится в машину.

— Откуда он взялся? — сказала она удивленно.

— Поехали, — Андровский открыл Любе дверцу. — По дороге расскажу.

— Откуда он взялся? — настойчиво повторила она.

— Чудачка, — в голосе Андровского уже не было прежней мягкости. — Он идет из Козелков, там был слет ячеек.

— А мы?

— А мы с тобой опоздали! Придется нам домой возвращаться. — Он похлопал ее по плечу.

Недоверчиво поглядывая на незнакомца, Люба села в кабину. Машина выехала на шоссе.

— Ты знаешь дорогу на соседнюю станцию? — спросил Андровский.

— Знаю.

— В объезд городу?

— Да.

— Ну, жми туда!

— Зачем? — спросила Люба, останавливая машину и оглядываясь на сидящего.

У него было острое, напряженное лицо.

— Не твое дело рассуждать! — выкрикнул Андровский. Лицо его побледнело, глаза округлились.

Продолжая не понимать, Люба смотрела на него.

«Не с ума ли он сошел?» — подумала она и вдруг почувствовала ужас.

Бросив управление, она схватилась за дверную ручку, готовая выпрыгнуть из кабины. Но лицо Андровского снова приняло обычное выражение.

— Ну что ты испугалась? — заговорил он спокойно. — Отвезем товарища на разъезд. У него там семья. Ребенок заболел. Он беспокоится. Что тебя смущает?

— Как же, все-таки... — продолжала недоумевать Люба.

— Едешь или нет? — Андровский нетерпеливо нахмурился.

Люба молча дала газ. Рванувшись, машина понеслась по шоссе. За гореловскими лесами Люба свернула на проселочную дорогу.

— Старыми хуторами вези, — сказал ей Андровский, — там разъезд рядом.

Корни деревьев переплетали дорогу. Машина подскакивала на них, точно мячик. Страшная растерянность овладевала Любой.

«Кто этот странный человек? И что делать теперь? Остановить машину? Потребовать объяснений? Но ведь он уже сказал...»

— Смотри, не прозевай поворот, — сказал ей Андровский. Он достал план.

Тусклый, лунный свет терялся в соснах. Карманный фонарь у Андровского испортился, и он ругался. Машинально Люба прибавила скорость. Машину бешено колотило. Незнакомец протягивал Андровскому свой фонарь.

— Сколько ответвлений мы проехали? — спрашивал Андровский.

Люба не отвечала.

Луна куда-то скрылась, и она включила фары.

— С ума сошла! Выключи свет! — зашипел Андровский. Он схватил Любу за плечо и, сжимая его, наклонял к ней бледное, сумасшедшее лицо.

— Вы не имеете права... — хотела крикнуть Люба. Но крик не слетел с ее губ.

— Уберите руку, — сказала она спокойно и потушила свет.

Теперь они мчались в темноте, рискуя разбиться о деревья.

Человек, сидящий сзади, заговорил. Голос его звучал требовательно. Он жестко выговаривал слова на незнакомом Любе языке.

Карманным фонарем Андровский торопливо осветил часы.

«К поезду хочет», догадалась Люба.

За выступом из сосен промелькнул проселок на Старые хутора. Андровский не заметил его... Он снова достал план.

— Сейчас должен быть поворот. Убавь ход! — приказал он, напряженно всматриваясь направо.

Сосны кончились. Выплыла луна, осветив осиновую рощицу. Кусты расступились, поросшая травой дорога обозначилась среди них.

— Сворачивай!

— Это не тот поворот... — хрипло произнесла Люба.

— Не разговаривать! — закричал Андровский.

Дорога шла пашней. Высокие, но еще зеленые хлеба неуловимо шевелились, мерцая под луной, точно озеро.

«Вот и хлеб растет», зачем-то подумала Люба. Горечь давила ее.

Пашни кончились неожиданно. Мелькнула поскотина.

Дорога вела на широкую улицу. Вот показался колодезный журавль и корыто для лошадей с истоптанной вокруг копытами землей. В избах, облитых луной, были заперты ставни.

— Симаково, — узнала Люба деревню.

Андровский достал револьвер.

— Объезжай, — сказал он ей. Люба свернула в проулок. Они ехали теперь мимо гумен, где стояли стога с пыльной, прошлогодней соломой. Огромные их тени перекрывали дорогу. Миновав легкий мостик, они выехали на укатанную дорогу. Среди кустарника, росшего по обочине, возникли вдруг телеграфные столбы.

«Большак, — встрепенулась Люба. — Через семь километров район».

Острое чувство возвращающейся жизни охватило ее. Не помня себя, она рвала рычаги. Только бы скорее! Что-то тяжелое било ее по рукам. Очнувшись, она увидела, что Андровский колотит ее рукояткой револьвера.

— Тракта не должно быть... — хрипел он, — возвращайся на проселок! Ты проехала проселок!

Завизжав тормозами, машина встала поперек шоссе. С трудом понимая, Люба смотрела на Андровского.

— Нет, — вдруг вскрикнула она отчаянно. — Нет! Ни за что!

Закрываясь ладонями, она прижималась к стеклу. Резкий голос сидящего сзади остановил Андровского. Оставив Любу, он прислушался. По проселку кто-то ехал.

— Выправляй машину, — скомандовал снова Андровский, — ближе к кустам!

Звуки с проселка становились все явственнее. Было слышно, как переговаривались два мужских голоса и лошадь, должно быть, мотая головой, звенела удилами. Повозка катилась тяжело, но быстро. Не доносилось обычного дребезжания и скрипа.

«Это не телега», соображала Люба. Слышно было, как у въезда на шоссе подпрыгнули на ухабе колеса, кто-то из сидящих засмеялся, не усидев на месте. Вот из-за кустов показалась белая лошадиная морда, а за ней телефонная двуколка. Любе показалось, что она узнает сидящего на козлах красноармейца. Двуколка поворачивала направо.

— Мимо, — пробормотал Андровский.

— Ракитников, — закричала Люба страшным, чужим голосом. — Скорее! Ракит... — Рванувшись из рук Андровского, она изо всех сил нажала сигнал и в ту же минуту, почувствовав удар по голове, полетела в какую-то полную грохота тьму.

12

На рассвете шел дождь. Косые дождевые иглы испещрили оконные стекла над любиной койкой.

Очнувшись, она увидела Степана в белом халате, сидевшего возле нее. Лицо у него было растерянное и кроткое, как когда-то в Сибири, глаза из-под широких бровей смотрели на нее умоляюще.

Боли Люба не чувствовала.

— Степан, — хотела она позвать его, но губы едва шевелились.

— Что ты, Любочка? — произнес Степан, наклоняясь к ней.

Она все старалась что-то выговорить обессиленными губами.

— Не мучайся, — сказал он, и по его глазам она поняла, что рассказывать ничего не надо.

Темные тени сгущались на ее лице, глаза из-под белых повязок смотрели на Степана из какой-то необычной, пугавшей его глубины.

Он тихонько взял ее избитую руку.

— Их поймали... — сказал Степан почему-то шопотом. — Ну да же, — заторопился он вдруг, словно боясь, что не успеет ее уверить.— Вот...

Он вынул из кармана куклу в розовом шелковом платье. Люба долго смотрела на нее. У нее было широкое глиняное лицо и толстые ноги в грубых коленкоровых башмаках.

Это не была кукла ее детства.

Степан спрятал куклу. Люба лежала, закрыв глаза. Она тяжело и резко дышала, лицо ее стало сосредоточенным. У нее начинался бред.

Пришла сестра.

— Ничего, ничего, — сказала она Степану, прочитав в его глазах вопрос. — Пойдите на воздух, подышите.

Степан нерешительно встал.

— Идите, идите, — гнала она его. — Еще успеете сюда находиться.

На цыпочках, делая неуклюжие широкие шаги, Степан вышел из палаты.

Дождь кончился. В больничном саду пахло влажной землей. Мокрые ветки, шурша, шевелились и роняли последние капли.

Ос. Черный

МУЗЫКАНТЫ

Роман [1]

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Взяв концерт Баха, Клумов перестал ходить в класс. Прошло три недели, прежде чем он пришел на урок. Зандберг встретил его как ни в чем не бывало и не спросил ни о чем.

В классе Клумов застал картину привычную: тщательно работал Зандберг, отделывая детали; старательно и в то же время легко играли ученики; товарищ Клумова, дожидаясь своей очереди, перебирал пальцами трудные пассажи концерта Чайковского. Налаженная классная машина работала четко, ей не было дела до того, как себя чувствовал Клумов. Она вбирала в себя лишь то, что ей было нужно, все остальное оставляла в стороне. Он был близок к окончанию курса и так и не вошел в нее целиком; она по-своему мстила ему за это. Теперь, успев на время забыть классную жизнь, он снова ее наблюдал и испытывал удивление перед эгоизмом, заложенным в ней.

Чего он, собственно говоря, хотел? Секрет, который ему предлагали, равно относился ко всем: нужно было правильно работать. Он, Клумов, работать желал и, ему казалось, умел, а Зандберг все его неудачи объяснял неумением и неполным желанием. Зандберг что-то в нем не учитывал, не все принимал в расчет, и этот просчет был такого тонкого свойства, что Клумов не умел о нем говорить вслух. Очень трудно объясняться с человеком, от которого зависишь и который отнюдь не стремится тебя понять. Клумов мог бы признать себя несостоятельным и, решив, что он проиграл игру, выйти из нее. В конце концов, было много иных путей и возможностей, кроме пути искусства; он мог бы изменить профессию. Но он не хотел выходить из игры. Может быть, его удерживала на этом трудном пути непрактичность, но, будучи стойкой, она становилась силой. Наконец, музыка представлялась ему бесконечно нужной: без нее он обесцветил бы свою жизнь.

Быть может, его стремление к поверхностности означало надежду стать похожим на других, но Клумов и от него быстро уклонился. Женившись на Гале, он сделал свою жизнь сложней. Он оборвал нить по-

---

[1] Окончанне. Начало см. в № 8 за 1939 г.

верхностных чувств и сразу, забрав много глубже, двинулся медленней и тяжелей.

И теперь Клумов стоял, окруженный недружественной ему стихией, и ждал, чтобы очередь дошла до него.

Он настроил скрипку и подошел ближе к роялю.

— Отчего вы не приходили? — спросил Зандберг, глядя на Толю внимательно и приязненно, как всегда.

— Я был простужен.

Если бы он знал, что то же самое говорила Галя Льву Львовичу!

— Выдумывает, — раздался голос скрипача Милевского. Неофициально и совсем по-семейному (в классе Зандберга многое было неофициальным) он подмигнул Клумову из своего угла. — Борис Игнатьевич, он женился, можете его поздравить.

Борис Игнатьевич как-то сразу подобрел, лицо его сделалось житейски-приветливым.

— Поздравляю вас... Давно женились?

Клумову стало не по себе: событие, для которого он еще сам не нашел слов, так просто обсуждалось в классе.

— Нет, недавно.

— Ваша жена тоже играет? — продолжал с любопытством Зандберг.

— Она пианистка.

— Очень хорошо, теперь у вас будет свой аккомпаниатор.

Неожиданно для себя Клумов решил, что Зандберг маленький человек, что он провинциален. Этот вывод, явившийся сейчас без достаточных доказательств, имел за собой много наблюдений в прошлом. Он вернул Клумову уверенность: Толя снова начал настраивать инструмент и, не торопясь, возился с колком. Зандберг, повернувшись к роялю, держал руки навесу: он готов был начать вместе с ним.

Клумов начал решительно и с большим звуком. В концерте Баха была мужественная акцентировка и широкий штрих. Его нежность была сдержанной и потому казалась глубокой и нераскрытой. Клумов играл смело. Зандберг, не изменяя обычной мягкости, следовал за ним. Он не претендовал на первое место и в то же время поддерживал ученика. Как хорошо было вообразить себе оркестр, его прекрасную силу и почти поглощающий звук! Клумову показалось, что он стоит впереди музыкантов и ведет других за собой. Огонь искусства коснулся его и зажег сердце страстностью.

— Хорошо, — сказал Зандберг. — Молодец, Толя!

Лирическое место Клумов сыграл, однако, без достаточной полноты. В обыкновенных арпеджированных шестнадцатых с великой скромностью приоткрывалась нежность гения. Толя с досадой слушал себя: нет, они еще недостаточно впеты, пальцы его не ухватили их пленительной глубины. Вот когда он сказал себе, что он мало работал, — в ту минуту, когда перед ним открылось прекрасное творение, к которому он стремился подойти.

Зандберг не останавливал Клумова. Глядя на него, Толя приписывал ему прозорливое понимание: может быть, и он думает то же, что понял Клумов, но щадит его и не желает замечаниями портить урок.

— Хорошо, — заключил педагог. — Концерт пойдет.

Теперь Клумов не испытывал недоверия к своей игре — если бы было нужно, он сыграл бы концерт еще раз. Товарищи, окружавшие

его, показались ему людьми схожего с ним склада. Он готов был простить Зандбергу то, что тот заменил концерт Бетховена Бахом и унизил его тогда.

Борис Игнатьевич взял из рук Клумова скрипку и начал проигрывать отдельные места концерта. Он играл не торопясь и не придавая игре оттенков внешнего возбуждения. В мелочах, в отдельных штрихах, в связи фраз была сдержанная поэтичность. Клумов, только что думавший о нем, как о провинциале, теперь, увлекшись, следил за ним; совершенство трактовки его подавило. Казалось, артист без костюма и грима ведет свою роль — искренне, проникновенно и легко. Со сцены его естественность показалась бы домашней и без усиления, может быть, не дошла бы до слушателя. Зандберг был музыкантом камерного склада: перед ним открывался не зал, а скромная группа признательных собеседников, и, играя, он как бы вел с ними возвышенный разговор.

Толя принял у Зандберга скрипку и, укладывая ее, договаривался о дальнейшем: в выпускную программу вошли все-таки и Бетховен и Бах.

Выйдя из класса, он больше не чувствовал себя окруженным враждебной стихией. Может быть, это начало успеха? Может быть, женитьба принесла ту уверенность, без которой ему было так трудно жить?

Он застал Галю дома.

— Сдал Баха? — спросила она.

Он сказал ей, что Зандберг остался им доволен.

— Правда? Вот видишь, я тебе говорила, что все пойдет хорошо.

— Не думаю.

В глубине души он все же надеялся. Что до Гали, то она вообще лишена была ощущения неудачи. Она его не понимала, как человек, ни разу не падавший с велосипеда, не понимает связанной с ним боязни падения. Все в ее природе противоречило такому ощущению. Толины разговоры о том, что он никогда не выберется на открытый путь, она слушала с сочувствием, но не считала это важным.

— Толя, — сказала она, — не знаю, как ты, а у меня большое желание играть.

— И у меня.

Ему даже нравилось, что они разговаривают, как два добросовестных школьника. А если он добавит сюда свое упорство, он, пожалуй, действительно добьется победы.

Он должен, наконец, овладеть скрипкой так, чтобы она перестала терзать его. До сих пор он, человек независимых и свободных взглядов, находился в унизительной зависимости от скрипки. Она могла звучать неприятно и не поддаваться ему, и ему приходилось чуть ли не каждый день снова отвоевывать ее. В этой ее неподатливости заключалась стойкость, которую он до сих пор еще не преодолел. Рояль, казалось Клумову, не обладал такими капризами — свойства его были раз навсегда обозначены. А скрипка эти свои свойства меняла. На нее влиял ее же строй, температура воздуха, акустика помещения; ничтожный поворот головы или изменение наклона отражались на ней. Может быть, в отношениях со скрипкой следовало, отбросив страстность, стать пытливым и хладнокровным? Клумов не понимал еще того, что общество, в котором он развивался, как раз было наделено этой пытливостью в высшей степени, и, стало быть, если бы он обладал большей жизненной

подвижностью и объективным чутьем и не был бы так прикован к своим трудностям, он наверное нашел бы единомышленников, трудолюбивых искателей. Он и сам многое думал о сложном искусстве игры— думал смело, вскрывая причинную связь и значение приемов. Но в систему Зандберга то, что он думал, не попадало никак (а между тем, ученики Зандберга все-таки играли великолепно); а кроме того, и это самое главное, Клумов для себя, скрывая от других, давно решил, что, при всем пристрастии к скрипке, его влечет в искусстве более сложный, сильный и яркий путь: он хотел стать дирижером. Но он должен был победить стихию скрипки, прежде чем от нее уйти. Без боя отдать ее он не был согласен.

Клумов не мог тогда вообразить себе время, когда оркестры сетью покроют страну. Дирижировать хотели очень многие: в мечтаниях оркестранта дирижерская палочка была превыше всего. Правда, Клумов тайком работал, но он ни за что не согласился бы пройти снова, с начала и до конца, учебный путь: этот путь подчинения и постепенного подавления казался ему теперь слишком унылым.

Есть, однако, в человеке настойчивая внутренняя вера, которая ведет его через трудности. Клумов ничего еще не предпринимал, но знал твердо, что, победив стихию скрипки, он так или иначе выйдет на широкий путь.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Между тем, в глазах Зандберга все представлялось несравненно более простым. В его классе было двадцать два человека. Кроме того, он принимал учеников на дому. Это была даровитая молодежь, выросшая в годы революции. Правда, он любил поговорить о том, какими были в его время скрипачи, как они умели работать и до каких вершин способны были дойти. Он жаловался, что собрания, нагрузки отвлекают учеников и мешают ему воспитывать класс. Тема эта была модной. Новый тип музыканта еще не сложился, и многое в его облике казалось дутым и бессодержательным. Музыка, по мнению Зандберга, меньше всего была связана с уменьем ораторствовать, ее секрет определялся техникой рук и воспитанием души. Кроме упорства, таланта и скромности, других секретов Зандберг не знал.

В его воспоминаниях, равно как и в воспоминаниях многих других, класс великого педагога, до революции создавшего русскую школу игры, был окружен ореолом недосягаемости. Но с глазу на глаз с собой, а изредка и в присутствии учащихся, Зандберг припоминал, что великий скрипач не любил объяснять учащимся тайны искусства: он предоставлял им искать самим. Они шлифовались друг о друга, и роль педагога заключалась в том, чтобы гладкость шлифовки была не ниже предела, а блеск и яркость зависели от них самих. Между тем, Зандберг давал ученикам много больше: к их таланту он добавлял то, что дает культура и зрелость. Когда он представлял себе результат ближайших лет, он втайне думал, что результат этот всех удивит. Скромность Зандберга являлась очень надежным прикрытием для его великих планов; он терпеливо ждал, когда время для них придет.

Каждый новый прием давал его классу все более сильное пополнение. Зандберг сам не мог бы точно сказать, откуда оно идет: таланты являлись отовсюду, из самых глухих углов.

У них была странная, удивлявшая Зандберга, воодушевленная беглость пальцев, они легко обращались с вещами замысловатыми и даже головоломными. Для Зандберга они были кладом. Он вправе был, не очень задумываясь над секретом их появления, принимать их такими, какими они приходили к нему. Наоборот, он говорил со сдержанным и заботливым видом, что им нехватает культурности, что скрипичный тембр в их игре искажен, что они играют нечисто. Его слушали и с ним соглашались, но никто не говорил ему о том, что поразительное дарование его класса питается где-то на стороне и что питает его особая обстановка страны. Об этом говорить было непринято; это относилось к области общественной жизни, между тем как в классе были заняты искусством.

Он не имел надобности разбираться в своих учениках глубоко и детально. Зандберга занимала их приспособленность к его требованиям и задачам. Он не был экспериментатором в широком смысле и признавал опыт только там, где нужно было доказать правильность своих педагогических взглядов.

Были, правда, черты, отличавшие Зандберга от педагогов старой школы: он не щеголял артистичностью, а подчинял ее спокойному труду. Он любил наблюдать и не торопился высказываться; он, наконец, ни в какой мере не обладал искусством запутывать простые и ясные вещи.

Уровень его требований с каждым годом повышался: то, что оказывалось за его пределами, Зандберг отбрасывал. Он был добр, но и непримирим. Он строил класс, а не устраивал судьбу отдельных учащихся. Может быть, другая рука, более заботливая, подобрала бы этих оставшихся за бортом музыкантов и, подобрав, дала бы им умение и силу продолжать свой путь. Но Зандбергу не было до них дела. Он был занят теми, кто составлял основу класса, и не тратил времени на тех, кто отставал. Впрочем, и в других классах так же относились к неудачникам. Их было немало.

В системе Зандберга Клумов занимал не вполне обычное место. Профессор не отказывал ему в даровании и наметил для него какое-то свое, особое место. Вся беда заключалась в том, что на это место Клумов не соглашался. Он обнаруживал редкое упрямство и фанатичное нежелание уступать. Зандберг не знал или не хотел разобраться в пути, по которому Клумов шел. Путь этот был необычный и потому трудный. Между тем, если бы педагог изучил натуру Клумова с той пытливостью, с какой он изучал технические возможности учеников, он бы открыл в ней немалую поучительность. Как и многие молодые люди его поколения, Клумов занялся скрипкой еще тогда, когда искусство было окружено ореолом недосягаемости и величия, а музыканты казались людьми необыкновенного понимания и возвышенной души. Поставленные небольшим числом ценителей на ложную высоту, многие из них не обладали ни достаточной даровитостью, ни умением правильно воспитывать учеников. Скольких они, ложные и неграмотные педагоги, успели исковеркать и погубить! Через сеть технических несуразностей пробирался Клумов в начале пути: чем больше он занимался, тем дальше от него уходила его цель. Тот идеально чистый звук, который рисовался ему, на самом деле имел мало общего с звуком резким и неподатливым, который ему привили в нелепой системе игры. Время от времени, когда инструмент начинал звучать, Клумову казалось, что он нашел, наконец, правильный метод.

Его упорство было особого, скрытого свойства. Он ни к кому не обращался с расспросами и постепенно выработал целую систему поисков и блужданий. Разрушить эту систему было нелегко. То, что применял к нему Зандберг, напоминало ковыряние вилкой в окаменевшем тесте.

Итак, Клумов в глазах Зандберга был попросту упрямцем, который почему-то не хочет принять проверенную систему. Между тем, Клумов не умел ее принять. Она была проще его сложных поисков, и он, не пройдя свой путь до конца, не мог к ней никак примениться. Всякая сложность, имея очень много недостатков в сравнении с простотой, обладает хотя бы тем достоинством, что она обогащает ищущего подсобными наблюдениями и открытиями. Поэтому неудачники оказываются подчас великими учителями удачи. Клумов узнал в скрипке удивительное количество тонких и тончайших ее сторон, и ему казалось, — и в этом, пожалуй, он был прав, — что, если бы они, наконец, сошлись в систему, он был бы невероятно богат. Мало этого, его поиски обогатили его и как музыканта, навсегда породнив с благородным беспокойством и стремлением итти своей дорогой.

Но все это лежало пока неиспользованным грузом. В глазах Зандберга, да и в глазах многих так называемых трезвых людей, было правильней делать то, что доступно твоим данным, чем искать то, что могло бы эти данные изменить. Руки Клумова не отличались особой талантливостью. Если бы он принял то, что было предложено остальным учащимся, он завоевал бы для себя место грамотного и культурного музыканта. Он мечтал о другом и, несмотря на поражения, не сдавался.

Одобрение Зандберга его обнадежило. Но уже на следующем уроке Клумов снова убедился в том, что мир и дружба между ними невозможны. Между тем, дело близилось к окончанию, и теперь было поздно что-либо менять; это понимал и Зандберг. Для Клумова было ясно, что то, чем он владеет, он Зандбергу не отдаст. Когда тот начинал заниматься деталями, игра Клумова расщеплялась; вместе с цельностью пропадала и слаженность. Тем или иным путем он этой слаженности добился, — мало того, для себя он добился силы в игре, подкупающей силы, которая была ему так нужна. Однако Зандберг был педантом. Поэтический склад уживался в нем со скрупулезностью. В искусстве происходит странная вещь с деталями: в первый раз проходишь мимо некоторого их несовершенства без возражений; во второй раз отчетливо видишь его; в третий раз оно вырастает в самодовлеющую величину, и затем начинается болезненная погоня за мелочами. Артист должен уметь быть не только требовательным, но и во-время снисходительным, иначе это внимание к мелочам захлестнет его. Педантизм неуклонно толкал Зандберга, как и Льва Львовича, к этому. Льва Львовича время от времени спасала неуравновешенность, присущее ему ощущение тревоги и способность неожиданно поступиться многим. Зандберг, более уравновешенный, был упрямей в борьбе за деталь. Он шлифовал ее, определял ее место, и этот настойчивый труд вменял себе в заслугу. Ученики тоже вменяли ему в заслугу этот труд.

Таким образом, Клумов с нетерпимостью принимал как раз то, что признавалось особым достоинством Зандберга. Его кропотливая работа над мелочами обезоруживала Клумова.

После очередного трудного урока он пришел расстроенный и угрюмый. Галя занималась. Когда он открыл дверь, она оставила игру. Она обняла его, а он отстранился.

— Опять нехорошо? — спросила она.

— Я отвратительный неудачник. Умоляю тебя — брось меня!

— Какой ты глупый! — сказала она. — Ты что-то вбил себе в голову и говоришь об этом который раз.

— Я терпеть не могу неудачников. Они позорят землю, я бы сам их уничтожил.

— А ты не неудачник, — сказала она.

— Нет, именно я!

Ему доставляло особое удовольствие растравлять свою боль. Называя все своими именами, он каждый вопрос доводил самым невыгодным для себя образом до конца. Может быть, бессознательно он решался на это, зная, что Галя ему поможет. Она утешала его; во внешнем сочувствии всегда скрыта целительная сила — она не исцеляет, но успокаивает.

— Толя, стоит ли из-за этого себя изводить? Ну, брось скрипку, если так. Все равно ты хочешь стать дирижером.

— Я не стану им. Мало ли чего я хочу!

— Почему? Ты ведь в себе уверен.

— Негде мне дирижировать.

— Мы уедем куда-нибудь.

Она знала, что доводы ее неубедительны: перед его горячей ожесточенностью она чувствовала себя почти беспомощной.

В конце концов, он начал говорить с меньшим ожесточением: что ему делать, он не знает, уйти от Зандберга невозможно; кроме всего, он готов признать, что Зандберг во многом прав, но правота его в данном случае вредна.

— Если бы я от него не зависел, я бы сказал ему, что он просто-напросто маленький человек.

— Да, — сказала Галя. — Большой педагог и большой человек — не одно и то же.

— Неужели же это возможно?

— Толя, полезность работы обыкновенно меряют ее результатом. Во всяком деле есть брак. Разве ты стал бы подсчитывать стружки, принимая готовую вещь?

— Это ужасно! — решил он.

Его удивила галина рассудительность. Он недоверчиво посмотрел на нее. Ему показалось, что, если бы он получил власть над учениками, он позаботился бы обо всех.

— Ты все-таки чудная девушка, — сказал он Гале, — и я тебя ужасно люблю.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Впрочем, себе самому он не сказал бы уверенно, любит ли он ее или нет. Его представление о любви было с детских лет щемящим. После нескольких трудных романов, Клумов понял, что это представление относилось к влюбленности, чувству слепому, за которым после отрезвления открывались подчас неприглядные вещи.

Галя к этим его представлениям мало подходила. Она не обладала ни той страстностью, которую он видел в воображении, ни той безраздельной и ничем не опороченной смелостью, которая ему рисовалась. Она была обыкновенной, то-есть естественной, и почти неспособна была к преувеличениям. Но у Клумова хватило чутья, чтобы понять, что идеальных преувеличений в готовом виде нет. Глаз и слух в каждом из них улавливали невозможную фальшь. Естественность Гали была дороже и ближе многих патетических и милых воображению встреч.

Девушка, ставшая его женой, внушала ему глубокую физическую приязнь; все в ней было по нем. Если можно говорить о физическом доверии, которое, будучи зрячим, в этом находит свою силу и теплую чистоту, то Клумов как раз был проникнут этим доверием к ней.

И все же темные чувства не оставляли его: он когда-то их себе вообразил; сколько раз он к ним ни приближался, они оказывались слишком плоскими и чересчур приблизительными, но теперь, будучи у него отняты, они снова имели власть над ним. Может быть, темная сила влюбленности ждала его по соседству, он не знал, а теперь он не имел на нее права.

Если бы он обладал большим опытом жизни, он, возможно, и впрямь потерял бы от Гали голову. Но этого не случилось, и самое спокойствие любви служило для Клумова источником душевного беспокойства. Ему нужен был более сложный путь, а этот, явившийся, как находка, огорчал его своей простотой. Если бы Клумов был безответственней, он оставил бы Галю и затем вернулся к ней. Но версия, неизвестно кем пущенная в обиход насчет слишком легких отношений, вообще преувеличена. Даже опасаясь сложностей, люди чаще всего от них при встрече не бегут.

Клумов понимал, что его привязанность к Гале — не только привязанность тела: душевное удобство, которое он испытывал с ней, было особой и, может быть, самой трудной и редкой формой близости, и относиться к нему без страсти он мог лишь потому, что оно пришло не в результате поисков и блужданий. Все дело было лишь в том, что оно не совпало с воображаемым идеалом, а Клумов упрямствовал и не торопился признать его за свое. Человек художественно одаренный иногда слишком преувеличивает силу своего вымысла.

Клумов стремился построить жизнь по одному только плану — плану воображения, а она со всех сторон выходила похожей, но другой.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Через два месяца выяснилось, что Галя беременна. Она отнеслась к этому без тревоги. Для нее важнее было то, что скажет и как отнесется к этому Клумов. Первое время Галя держала новость при себе. У нее было искушение рассказать о ней матери, но она представила себе ее испуг и решила не делать этого.

Как-то Клумов, отложив скрипку, подсел к Гале. Она лежала. Он спросил, почему у нее нездоровый вид.

— Плохо себя чувствую, — сказала она.

— Ну, а все-таки, что с тобой?

— Не знаю... Что-то мне не по себе.

Она посмотрела на него сбоку и вдруг решилась:

— Знаешь, Толя, я, кажется, беременна.

Он в первое мгновение оцепенел.

«Зачем я ему сказала?» подумала Галя.

Но он стал сердечным и сдержанным. Он привлек ее к себе; оба замолчали.

— Что же нам делать теперь? — наконец произнесла она.

Он не знал, что ей сказать. Он не знал даже, что нужно ей сказать. Аборт не казался ни зазорным, ни оскорбительным. К нему относились, как к простому способу разрешения трудности. Тут и речи не было об убийстве ребенка: это была простая потачка эгоизму.

— Я сделаю аборт, — сказала Галя.

Клумов произнес нерешительно:

— А может быть, лучше не делать?

— Нам, наверно, не следует пока иметь ребенка.

Впрочем, его нерешительность задела Галю: она надеялась, что он начнет ее отговаривать. Она почувствовала себя одинокой и вспомнила о матери. Но в следующую минуту Галя сказала себе, что ей нужно учиться, а если «это» случится с ней, она, вероятно, не сможет.

Представление Клумова об отцовстве было отвлеченным. Оно существовало для него, как очень далекая возможность.

— Галенька,— сказал он,— это может отразиться на тебе, я не хочу.

Она не ответила.

Вдруг Клумов подумал, что его поймали в круг правил и обязанностей, о котором он прежде не знал; они держат его и, вероятно, уже не выпустят. В следующее мгновение он себя осудил.

Они долго сидели в томительной темноте. Наконец, Толя поднялся, чтобы зажечь свет. Галя удержала его за руку.

Нежность нахлынула на Клумова; он приподнял Галю и, прильнув лицом к ее лицу, спросил:

— Может быть, ты все-таки родишь?

На следующий день Галя сказала матери. Ольга Ивановна в полном бессилии опустила руки:

— Я все время этого ждала,— сказала она испуганно.— Что же ты будешь делать?

— Я не знаю.

Ольга Ивановна смотрела на дочь с отчаянием: бесформенность ее характера показалась матери удивительно несовременной.

— Ты должна знать.

— Толя не настаивает на аборте, — заметила Галя.

— Ему что! Домашней работницей станешь ты, а не он.

Странное дело, во времена своей молодости разговор об аборте Ольга Ивановна сочла бы оскорбительным и безнравственным. Но теперь, думая о дочери, она считала, что идет в ногу с временем.

— Я поговорю с отцом, — сказала она.

Галя ничего ей не ответила. Она почти решила, как ей быть. Ее растерянность являлась скорее формой поведения, нежели его существом. Галя не хотела новых перемен в жизни. Ее поглощали Клумов, рояль, занятия; она не находила места для нового и огромного чувства.

Она ушла домой и принялась за работу. В последние дни ей хотелось много играть. Могло показаться, что играет она бестолково, повторяя бесконечно одни и те же пассажи. Гале как будто доставляло

удовольствие расчленять целое и лишать его формы. Вопреки своей мягкости, она в игре обнаруживала странную тенденцию разрушения. Вслушиваясь в эту музыку, Клумов недоумевал.

— Зачем ты это делаешь? — говорил он. — Что ты месишь без конца пассажи?

Она не возражала. Он садился рядом с ней и начинал ее учить по-своему, обнаруживая безупречный вкус и любовь к ярким краскам; Галя охотно с ним соглашалась. От своей педагогической зрелости Толя приходил в возбуждение: он умел объяснить значение приема, даже не владея им, — интуиция и долгие поиски подсказывали ему правильные и смелые мысли.

У нее, действительно, получалось то, что до этого времени не выходило.

— Ты молодец, Толя, — говорила она.

Ей было приятно даже не то, что он облегчает ей работу. В этом она не была уверена и, по-своему, была права, — своим участием он снимал с нее тяжесть ответственности; эта ответственность иногда ее утомляла.

После такой работы Толя чувствовал себя в приподнятом состоянии. Правда, прилив уверенности вызывал в нем в то же время тайную грусть: вот он полон сил, и никто не хочет его признать.

— Неправильно то, — сказал как-то он, — что мы с тобой с таким напряжением и беспокойством делаем то, что другие делают легко.

— Кто, например?

— Настоящие музыканты: большинство работает спокойно, не тратит столько сил и не топчется в темноте.

— Ты преувеличиваешь, Толя. Это только так кажется; все волнуются, мучаются над каждой вещью.

— Не верю, — сказал он.

Она привела в пример крупных музыкантов, которые с трудом и нерешительно расширяют репертуар: каждая новая вещь причиняет им беспокойство и муки.

Ему было приятно, что она знала об этом больше его.

— Неужели же все так, как мы, Галя?

— Не все, конечно. Боба Бельник не очень страдает.

— А кто его знает! Может быть, и он недоволен и ищет.

В последнюю минуту Галя его обманула: ему казалось, что чем больше он с нею работает, тем все большую власть он приобретает над ней — ее игра становилась логичной и яркой. В нем укреплялось сознание превосходства, и он до некоторой степени чувствовал себя негласным руководителем. Однако случилась неожиданная для него вещь.

Приближался вечер, в котором Галя должна была выступать. Она ходила к Льву Львовичу чаще, он истязал ее придирками. В эти дни Галя забыла даже о беременности; она о ней больше не упоминала. Она возвращалась усталая и неспокойная; идеи, новшества Толи потеряли над ней власть. Она не могла противостоять двум равным влияниям и отбросила толино. Она старалась примениться к Льву Львовичу, но и это делала не до конца.

— Удивляюсь вам! — кричал он, швыряя тетрадь. — Вы человек уже взрослый, даже семьей обзавелись, а простых вещей понять не

умеете! Я еще давеча красной чертой обвел это место — вот! Я думал, у вас хватит простой порядочности доучить его до конца. Ну что мне с вами делать?

— Дайте ей первоначальные упражнения, — сказал Бельник. — Что-нибудь вроде Лютша или Беренса.

— Ах, ваши остроты! — произнес Лев Львович, забыв, что эта острота, в сущности, принадлежит ему. — У вас удивительная нервная система! А у меня, знаете, сил больше нет.

— Давайте поедем всем классом на курорт, Лев Львович.

Лев Львович посмотрел на него в полном недоумении.

— Да ну вас! Совсем распустились!.. А, впрочем, вы знаете? Ваша мысль мне нравится.

— Я научу вас играть в теннис, мы будем купаться. Рыбу вы любите удить?

— Чудесно, чудесно! — произнес Лев Львович. Он обернулся к Гале и сказал ей вполне миролюбиво: — Ну сыграйте мне все это еще раз. Только, пожалуйста, — умоляю вас! — без ошибок и с хорошей педалью.

Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза.

Эту вещь Галя играла в классе часто, не так уж страшно было сыграть еще раз. Если бы Лев Львович не мешал, она сыграла бы хорошо. Она решила забыть о нем. Она подумала о чем-то обыкновенном и житейском, для того чтобы освободиться от его влияния.

Находившиеся в классе семь человек слушали ее внимательно и с интересом. Она и их каким-то непонятным образом сбросила со счета, продолжая играть. «Самое глупое, — подумала она, — это то, что в консерватории музыкантам не дают обращаться с искусством самостоятельно: вечная опека мешает стать им самим собой».

— Великолепно! — воскликнул вдруг Лев Львович. — Я всегда говорил, что вы талантливый человек. Вы знаете, — заявил он, обращаясь ко всем, — я, в таком случае, не противник брака. Если моя ученица, — (он не называл ее ни по фамилии, ни по имени, выбирая средние обозначения), — так отлично сумела сыграть, я перехожу на ее сторону... Ах, я не дождусь вечера!

Он, несмотря на свой педантизм, не потерял способности увлекаться. Увлекался он, как ребенок; правда, он рисовался при этом, но все-таки увлечение было искренним.

Галя сама не знала, почему она на этот раз сыграла так хорошо. Она приписала это своей независимости и в следующий раз решила вести себя точно так же.

— Вы должны теперь приходить ко мне каждый день, — заявил Лев Львович.

Взглянув на расписание, он назначил ей время. Завтра она должна была притти в класс, послезавтра, в семь утра, — в Малый зал, затем снова в класс.

— После этого я выпущу вас со спокойной душой.

Галя знала, что ей никак от него не избавиться и, возвращаясь домой, думала о том, как ей отвертеться хотя бы от толиной опеки. В последние дни она нашла что-то свое, набрела на нужную ей форму вещи и теперь не нуждалась ни в нем, ни в Льве Львовиче.

По дороге она зашла к родным. Ольга Ивановна встретила ее тревожно:

— Ну что?

— Я решила делать аборт, — сказала Галя.

Эта решимость обезоружила мать. Она сама собиралась уговаривать Галю; как бы это ни было тяжело, но это казалось ей необходимым. Решимость Гали почти оскорбила ее. Ольга Ивановна расплакалась. Ей стало жалко себя, Галю и то отсутствовавшее существо, образ которого неожиданно возник в ее сознании.

— Что же делать, родная моя... Вы, может быть, еще разойдетесь... А если нет... папа того же мнения.

Она гладила дочь по руке, утешая ее, хотя сама больше ее нуждалась в утешении.

— А как занятия у Льва Львовича?

— Хорошо, — сказала Галя.

— Он не бранит тебя? Доволен?.. А Толя?

— У него тоже лучше.

— Работу он получил?

— Кажется, скоро получит.

Ольга Ивановна вспомнила свой разговор с ним с глазу на глаз. Ей стало жалко, что он произошел; теперь Клумов выглядел другим. «Он изменился, — решила она. — Рано или поздно он станет таким, как все».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Накануне концерта Клумов снова вмешался в галину работу. Она слушала его без прежнего восхищения, а он, внушая ей свое толкование пьесы, все больше увлекался ролью учителя.

— Толя, — попросила она, — дай мне самой поработать, я как-нибудь выкарабкаюсь.

Он отошел.

— Я хотел тебе помочь.

Ей не хотелось его обидеть.

— Тут у меня несколько мест не доучено, — объяснила Галя.

Клумов подумал: «Как же она будет завтра играть?» До сих пор пьеса была разрознена и клочковата.

Он делал вид будто читает, а на самом деле слушал. Галя продолжала учить вступление, переходы, отдельные такты. С какой-то отчаянной настойчивостью она повторяла без толку одно и то же. Пьеса у Гали шла, но Клумов не мог представить себе, как же она все-таки выглядит целиком. Было одно обстоятельство, которое его особенно огорчало — звук.

«Странное равнодушие, — подумал он, — странный темперамент».

Галя как-то говорила ему, что рояль у нее звучит. Клумову казалось теперь, что она заблуждается. Он слушал и страдал: у нее был звук отвлеченный, без длительности и полноты.

Как бы он к Гале ни относился, он не мог заставить себя быть пристрастным: нет, она играла недостаточно хорошо.

Он ничего ей не говорил. Но по взглядам Клумова, которые она время от времени ловила, Галя чувствовала, как он трезво думает о

ней. От этой трезвости она сжималась. Она знала, что играет распущенно и неопрятно. Эта распущенность была ей нужна. Как спортсмен, перед стартом расслабляющий мышцы, Галя со странной для слуха настойчивостью распускала пассажи в игре.

Он не выдержал и сказал ей, что этого способа он не может понять.

— Ты заболтаешь вещь! Вот и все.

— Ах, Толя! — взмолилась она. — Дай мне как-нибудь доползти до конца!

Вид у нее был возбужденный и усталый; от работы она подурнела.

«Я смирюсь», сказал Клумов себе.

Похвалы Льва Львовича до него не доходили. Он решил, что в галином классе ценят более мягко, чем у него. Ясно было лишь то, что его жена играет недостаточно смело, законченно и глубоко.

Клумов молча разделся и лег спать. «Как это ужасно, — думал он, — что Галя так заблуждается в работе. Значит, и в других вопросах она способна заблуждаться так же».

Это был тяжелый вечер. Когда Галя кончила заниматься, Клумов сделал вид, будто спит. Он лежал, повернувшись к стене, и думал, как это трудно жить в мире искусства, где поэтичность, увлечения и восторг всегда идут на грани высокой трезвости. Она способна мучить окружающих, а кому она нужна? К чему нужны ее правила и критерии, если она ранит людей? Быть может, ложный пафос и ложные слова похвалы нужней и полезней? Вот человек, к которому он, Клумов, безмерно привязан. Как он будет ей врать, говорить, что игра ее великолепна, что он от нее пришел в восторг? Он стоит на грани лжи и не может ее преступить. Может быть, он должен был сделать усилие и соврать? Поощрение бесконечно выше критики, он знал; но у него нехватало душевной легкости или свободы, которая так же обязательна при возвышенной лжи, как и при точной истине.

В комнате водворилось молчание. Галя застыла в неподвижности и как будто чего-то ждала. Она посмотрела на него. Клумов не двигался. Постояв так еще, Галя, наконец, начала раздеваться. Она потушила свет и подошла к Толе. Горячей от работы рукой она дотронулась до него, но он не пошевелился. Тогда она легла к себе.

Клумов, не двигаясь, слушал: она сначала ворочалась, устраиваясь удобней в постели, затем со вкусом зевнула. Прошло немного времени, и ее дыхание стало ровным.

Утром Галя ушла, когда он еще спал; у нее была последняя репетиция в зале.

Весь день Клумов ее не видел. Незадолго до начала вечера он, очень обеспокоенный, пошел ее искать по всем классам.

У Гали был расстроенный и рассеянный вид.

«Как она дурнеет от волнения», снова подумал он.

— Ну как? — спросил он. — На репетиции все было благополучно?

— Да, — сказала она, — все обошлось.

Озабоченно и сердечно Клумов напутствовал ее:

— Главное, Галенька, будь совершенно спокойна, не думай о других. Вообрази себе одно какое-нибудь лицо и сосредоточься на нем. Самое скверное, когда бегаешь по лицам, — тогда появляется страх.

— Хорошо, — сказала Галя, — так и сделаю.

Добрая половина из того, что он ей говорил, шла мимо нее. Галя смотрела на него с любовью, но очень рассеянно.

— Хорошо, — повторила она, — во всяком случае, я постараюсь.

— Но ты не волнуешься?

— Не знаю, нет.

Клумов не помнил теперь своей вчерашней холодности. Он не ждал успеха, только бы все прошло благополучно и гладко.

Он ее поцеловал и хотел отпустить.

— Постой, — сказала она, — еще минутку побудь.

Из классов доносились глухие пассажи; в конце коридора появился трубач; перебирая пальцами клапаны, он время от времени издавал отрывистые звуки. Трубач повернулся спиной, и Толя привлек Галю к себе.

— Я пойду, — сказала она, — поищу, где можно поработать.

Вскоре начали впускать публику в Малый зал. По преимуществу тут были студенты. Еще горели не все лампы. Настройщик возился на эстраде. Зал быстро заполнялся.

До выступления Гали было довольно много номеров. Мимо Клумова прошел Лев Львович и с рассеянной любезностью ответил на его поклон. У Толи явилось искушение последовать за ним; он пересел еще ближе, сохранив, однако, между Львом Львовичем и собой расстояние в один ряд.

Впереди рассаживались педагоги. Анна Гавриловна, держа в руках лист, оглядывалась на входивших.

Лев Львович, пряча беспокойство под живостью движений, обращался ко всем. Он был заметно возбужден.

— Я, знаете, допустил ошибку: записал на один вечер Мазеля и Нечаеву.

— Наоборот, очень практично, — возразила Анна Гавриловна. — Нас глупых, будете учить — сразу два лидера...

— Ах, ну какой она лидер?! Она, говорят, даже мужа к рукам не прибрала!

Обернувшись, он обвел всех сверкающим взглядом, не видя, в сущности, никого.

К Клумову подсел Боба.

— Посыпал пеплом я главу, — начал он. — Ты волнуешься? Зря. — Это соседство не понравилось Толе. Он любил слушать один, и меньше всего его устраивал шумный Боба. Однако, когда появился первый исполнитель, Боба деловито положил руки на колени и умолк.

Играли арфист, потом пианистка, потом кларнетист. Слушая их, Клумов думал о том, играют ли они лучше Гали или нет.

Педагоги, занимавшие первый ряд, вели себя очень свободно: переговаривались, окликали друг друга, перегибались через соседние стулья. Тут они были хозяевами и судьями. Судили они не только учащихся, но и друг друга, и это держало их в приподнятом состоянии. Зандберг вел себя скромнее всех; его волнение выдавали покрасневший лоб и щеки. Когда вышел играть его ученик, он еще больше сжался, утонул в кресле, словно пытаясь сделаться незаметным.

Играл тот самый Милевский, которого Клумов слышал в классе в концерте Чайковского. Теперь он сдавал его публично. Он проверил строй и в наступившей тишине в последний раз дотронулся краем смыч-

ка до струн. Он посмотрел в пустоту молчавшего зала и подошел ближе. Пианистка начала. Милевский приложил скрипку, словно примеривал руку к ней, затем опустил и замер.

Первые звуки заставили Клумова встрепенуться: больше он себе не принадлежал. Игра шла сквозь него, он ее впитывал и наслаждался ее чистотой. Тренированный слух профессионала улавливал главным образом отклонения, неточности и недостаточно ясный штрих. Однако слух Клумова не был испорчен. Он доносил чувства в их неопороченной глубине. Клумов чувствовал себя теперь маленьким и скромным. Так же как и Зандберг, он хотел сжаться, стать незаметней, как будто его материальность мешала ему отдаться игре целиком. Посмотрев на Бельника, он увидел человека хмурого, серьезного и даже значительного.

Первая часть концерта длилась двадцать минут. Когда пианистка подвела эту часть к заключению, Клумову показалось, что прошла глубочайшая полоса душевных движений и что это началось очень давно. Он вздохнул: опять чужое совершенство выросло перед ним и почти заслонило мир. Конечно, в зале скрипка звучала иначе: ее сила, которую не в состоянии был впитать в себя класс, здесь рассеивалась в высоком пространстве. Звук терял материальность. Он был светлым, слитным и живым. Школа Зандберга могла хвастаться тем, что культура звучания была в ней поставлена высоко, хотя, быть может, в нем было мало страсти.

— Что ты скажешь? — спросил Боба у Клумова. — Ты доволен его игрой?

— Да, — сухо ответил Толя.

— Что до меня, то я ненавижу вашу специальность: вы меня волнуете, чорт вас возьми!

Он вытащил носовой платок и начал вытирать лоб.

— Погоди, сейчас очередь Мазеля... Теперь следи за Левушкой. Смотри-смотри, что сейчас будет с ним.

Лев Львович начал ерзать на стуле.

— Ээ... позвольте, — сказал он, обращаясь к Анне Гавриловне, — сейчас, кажется, мой ученик?

Она кивнула.

— Нет, позвольте, постойте минуточку! Я должен пойти взглянуть на него.

Профессор Лаговский, человек длинный, нервный и строгий, потянул его за рукав.

— Нет-нет, — продолжал Лев Львович, — я должен слушать со спокойной душой.

— Так же нельзя, — сказала Анна Гавриловна. — Вы заставите всех нас ждать.

Но Лев Львович уже вырвался из рук Лаговского и пошел по рядам.

— Вы тут пока фаготиста послушайте. Я, право, сейчас!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Он вбежал в артистическую.

— Ах, друзья мои! Я боялся, что опоздаю. Ну, как вы тут? — Он пожимал им руки, словно видел их в первый раз.

На столе лежал номер «Прожектора». Мазель, барабаня пальцами по столу, читал Гале юмористическое стихотворение.

— У вас превосходно все выйдет, — продолжал Лев Львович. — Постойте, кто первым идет?

— Я, — сказал Мазель. — Должен был я, но тут почему-то вызвали трубача.

— Ну вот, они всегда так! Как дело дойдет до моего класса, всегда напутают и переврут. Прошу вас — сохраните уверенность. Давеча вы играли совсем хорошо.

Он посмотрел на Галю.

«Очень мила», сказал он себе.

— Вы спокойны, надеюсь?

— Вполне.

— Ну вот, очень рад.

Нужен был какой-то жест, последнее слово, которое дало бы право Льву Львовичу вернуться в зал. Он так его и не нашел.

— Значит, я жду вас!

«Ах, нужно было сказать «ни пуха ни пера!» вспомнил он, но итти снова к ним показалось ему неловким.

Он вернулся в зал как будто помолодевший.

— Ну, вот и прекрасно! Теперь можно продолжать.

— Тсс! — произнес Лаговский, указывая на эстраду: там играл трубач.

Стаккато, двойной удар языком, блестящие арпеджио и скачки — все было в фантазии, которую он исполнял.

— Скажите! — заметил Лев Львович послушав. — Вот, право, ловкач. Для него этот вид исполнения был, примерно, на уровне цирковых номеров.

Следующим вышел Мазель. В зале в углу раздались робкие хлопки; они тут же, впрочем, оборвались.

— Клака, — заметил Боба. — Девушки из класса Лаговского. Сядьте, Мазель, и сыграйте нам что-нибудь для слуха.

Мазель уселся с такой готовностью, как будто слова эти до него дошли. Он торопливо потер руки и придвинул стул. Он не стал ждать, пока водворится полное молчание. Лев Львович забеспокоился. Он умоляюще посмотрел на Анну Гавриловну, и она постучала по спинке стула ладонью.

Балладу Шопена F-dur Мазель начал легко и почти беззвучно, но расширение фразы он сделал с неожиданной остротой: она оправдала начало и придала ему яркий смысл. После этого чуткий слух ждал нового расширения и вздоха. Завуалированный звук начала показался прекрасным.

Мазель не выходил за пределы метра: казалось, ему не нужны были ни ускорения, ни задержки. Баллада, рассказанная с благородным спокойствием, уже вошла в душу слушателей. И вдруг Мазель развернулся: оказалось, что он приберег и силу пальцев, и блеск. С удивительной легкостью он понесся, увлекая, казалось, всех.

Вне себя от возбуждения, Лев Львович садился и привставал. Он нагнулся к Лаговскому и спросил почтительно, но с восторгом:

— Каков?

Лаговский закивал в ответ, и Лев Львович был счастлив. Он привстал снова; он начал кого-то разыскивать; глаза его остановились на Бобе.

— Ну, вот! — произнес тот, заметив его знаки. — Без меня он не может жить.

Он неохотно поднялся и пошел в первый ряд.

— Мой любезный, у меня к вам большая просьба: подите к Нечаевой и скажите ей, что я прошу ее в конце первого эпизода убавить педаль.

— Да что вы, Лев Львович, — сказал Боба недовольно. — У нее ноги отнялись, куда там ей педали!

— Не пугайте меня, — взмолился педагог.

Он не мог успокоиться и, отпустив Бобу, с трудом дожидался выхода Гали. Игру виолончелиста, который занял эстраду вслед за Мазелем, он слушал небрежно.

Между тем, Клумов во время игры Мазеля думал: какое это ужасное невезение, что Гале придется играть после него, как это невыгодно и даже рискованно.

Когда он увидел Галю на эстраде, сердце у него упало. Ему захотелось, чтобы ее выступление прошло поскорей и он бы, наконец, знал, чем оно кончилось.

Она чуть было не прошла мимо рояля. Стул показался ей неудобным. Она села, но снова поднялась и пошла за другим стулом.

Лаговский, наклонившись к Льву Львовичу, спросил, что она будет играть.

— Сонату Данта! — не без гордости сообщил тот. — Чрезвычайно давно не исполняли.

— Ах, вот как? Интересно. Я включил ее в свой концерт. Ну, послушаем, кто лучше,

Он вытянул длинные руки и приготовился слушать. Однако, видно, нервозность Льва Львовича мешала ему. Лаговский приязненно обхватил его сзади:

— Левушка, — (он был старше Льва Львовича), — перестаньте, голубчик, ерзать. Давайте послушаем вашу звезду.

— Я слушаю! — возразил тот. — Вы, Боренька, характеров человеческих не понимаете; все время слушаю и молчу. Даже, знаете, когда играют студенты других классов.

Ему показалось, что он восстановил нарушенное равновесие; он сел ровней и застегнул пиджак.

Когда Галя взяла первые аккорды, Клумов решил, что он что-то не понял; он даже было подумал, что она начала другую вещь. Он попытался вспомнить и сравнить с тем, что происходило дома. Но вслед за этим всякая возможность сравнения пропала: то, что Галя делала здесь, ничего общего не имело с домашней игрой. Звук был трогательный и глубокий. Клумову показалось, что он вибрирует. Звук, о котором он мечтал, дошел до его сердца и поразил его.

«Ах, какое это счастье, — подумал он, — слушать такую игру!» Клумов простил Гале все: несуразность, неряшливость, бесхарактерность игры — все то, что его донимало в ее работе. Да, собственно говоря, она в его прощении и не нуждалась: с поразительно зрелым чувством она играла сонату. Она не боялась артистической смелости и даже как будто шла навстречу ей; оттенок трагизма лежал на галиной игре.

Ему казалось теперь, что он ничего подобного не слыхал. Он посмотрел на других — так же ли они слушают, как он. На их лицах необычайность галиной игры не отражалась — обыкновенные внимательные лица. Стараясь не встречаться взглядом с Бобой, Клумов снова уставился в рояль.

Галя играла свободно, но в этой свободе не было и тени легкости. Едва уловимые замедления и паузы придавали ей значительность большой души. Форма пьесы удивительным образом возникла из первой фразы, и Клумов, растерянный, торжествующий и до крайности потрясенный, слушал, с какой силой чувства эта фраза развивалась в целое.

Лаговский обратился к Льву Львовичу.

— Ваша трактовка?

— Вы говорите о моей ученице? — осведомился тот. — Очень талантливое существо.

Галя поднялась, прищурившись, посмотрела в зал и быстро пошла к выходу.

— Все! — объявил Боба. — Ты слышишь? Ант-ракт! — Он потянул Клумова за рукав. — Очень недурно сыграла. Будь я администратором, я бы с ней заключил контракт на эту вещь.

— Почему на эту?

— Других вещей она играть не умеет, чудак.

Толя оставил его и пошел к Гале. Заметив ее в толпе, он бросился к ней навстречу. Он еще не успел приспособиться к простой и приятной мысли, что его жена и эта игравшая так необыкновенно пианистка — одно и то же лицо.

— Замечательно! — сказал он ей, схватив ее за руки.

— Видишь, Толя, все обошлось. — Затем она с беспокойством повернулась. — Я умираю от жажды, пойдем в буфет.

Они увидели Льва Львовича.

Он схватил Галю за руку.

— Вы меня очень порадовали, у меня сегодня счастливый день. Ну, поздравляю вас, — сказал он, обратившись к Толе. — Очень рад за вас!

Он стоял с ними и без удержу болтал: теперь он чувствовал себя обыкновенным, ни перед кем не ответственным человеком. Глаза его блестели, и он был очень оживлен.

— Вот посмотрим, как наш Боренька Лаговский сыграет теперь эту же пьесу. Неплохой орешек мы с вами дали ему разгрызть.

— Ну что вы, Лев Львович! — сказала Галя. — Как я могу сравнивать себя с ним?

— Ах, моя милая! — сказал он, замахав руками. — Эти ученические категории хороши до вечера, а после вечера они ни к чему... Нет, серьезно, — добавил он, — вы очень мило сегодня играли.

Если бы Лев Львович в этом духе продолжал еще, он бы, наверно, дошел до обычных попреков. Но в это время он заметил Бобу.

— Послушайте, Бельник! Да подите же, Бельник, сюда!

Когда Боба пробрался к ним, Лев Львович объяснил ему:

— Тут мы вот о наших делах говорим — вы послушайте... («что бы такое, кстати, рассказать?»). Да, представьте себе, я принял в класс двух человек. Они с начала года просились ко мне, но Анна Гавриловна, обнаружив у них дарование, натурально решила записать их к себе. Ну, я, в конце концов, восстановил справедливость.

— Кто такие? — справился Боба.

— Не знаю, не знаю, какие-то комсомольцы, наверно: превосходные ученики и руки отличные. Ну, я на них тут же накричал.

— А они как?

— Ничего — не дерзили. Я заявил им, что ужасно обоими недоволен и принимаю их лишь потому, что фамилии у них бесподобные.

— Как их зовут? — спросил Боба нахмурившись.

— Головатюк и Решетка! А? Удивительный у нас будет класс!

Неожиданно он спохватился:

— Ну, совсем забыл: я дал себе слово, если все пройдет хорошо, устроить торжественный чай. Покорнейше вас прошу пожаловать. И вас, — добавил он, обращаясь к Клумову. — Будет торт и всякие сладости.

— Где, Лев Львович? — спросила Галя.

— Ах, ну, разумеется, у меня! Вы в шашки играете?

— Очень слабо, — признался Толя.

— Ну, вот и прекрасно! Я тоже слабый игрок. И притом, заметьте, я не люблю проигрывать.

Из фойе все устремились в зал. Лев Львович посмотрел на входивших с неохотой: никто из его учащихся больше не выступал и ему было скучно возвращаться.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Они возвращались домой по пустынному переулку. В темноте Клумов прижал к себе Галю.

— Совершенно не мог себе представить, что ты будешь так играть. Я не понимаю даже, в чем секрет. Или дело в акустике, Галенька?

— Нет, — сказала она, — просто я играла уверенней. Еще несколько времени назад я поняла, что мне делать с этой пьесой.

— Почему же дома не было так?

— А ты, Толя, не слушал, — все было то же, но в несобранном виде.

Нет, он был уверен, что с нею что-то случилось! Неожиданно он обнаружил ее музыкальное существо, ее независимость и оригинальность. Или пространство оказало влияние на игру, и звук как бы расправился и раскрылся, попав в иную среду?

Ему хотелось сделать ей что-нибудь приятное, выразить наполнившую его признательность.

— Хочешь, зайдем к твоим?

— Я устала, — сказала Галя. — Хорошо, зайдем.

Он хотел рассказать родным Гали о вечере. Нужно было с кем-либо поделиться, он не мог свое восхищение хранить для себя одного.

— Галя, как же теперь будет?

— Что?

— Как ты собираешься заниматься?

— Лев Львович будет меня ругать, ты будешь недоволен — все пойдет по-старому.

— Я не знаю, может быть, я увлекаюсь: у тебя настоящее эстрадное дарование.

— Может быть, — сказала она. — Ну, и что из того?

— Разве ты не хочешь стать настоящей артисткой?

— Не знаю. А это так обязательно?

Она подумала, что у него слишком беспокойная натура. Нет, она его любит, но все-таки это утомляет иногда.

— Уйди от Льва Львовича. — Он остановился, полагая, что она начнет возражать. — Тебе нужен профессор с очень широкими взглядами.

— Ну, например?

Клумов задумался.

— Ну — Лаговский.

— Нет, Лаговский меня не возьмет.

— Уверяю тебя, он возьмет, и охотно.

Затем он вспомнил, как они только что стояли вчетвером: у Льва Львовича было на лице выражение бескорыстного счастья. «Это предательство, — сказал себе Клумов, — и я на это ее толкаю».

— Ты не думай, — сказала Галя (как будто она в это время размышляла о том же). — Он замечательный музыкант.

— Да, но педагог... Он держит тебя в узде. Вы с ним разного склада.

— Мне узда как раз и нужна.

Клумов не мог понять, откуда у нее такая уживчивая рассудительность. Правда, он тут же себе подсказал ту справедливую мысль, что если бы не уживчивость, Галя многого не простила бы и ему.

— Ты сегодня, вероятно, решил, что я стану пианисткой. А я вот не знаю, стану или нет.

— Почему ты такая робкая?! — с отчаянием произнес он. — Неужели ты неспособна добиваться своего?!

— Не знаю; может быть, и нет.

Но он был фаталистом: он добивался, стремился и теперь ему казалось, что он пока ничего не достиг. А Галя, будто бы не стремясь, отвоевала победу. Может быть, и ему следует изменить путь? Вернее, себя изменить. Состояние торжества и восторга, в котором Толя вышел из зала, постепенно исчезало.

Тем не менее, когда они пришли к родным, он решил хоть здесь похвастать ее успехом. В этом он не мог себе отказать.

То, что Клумова так захватило, случилось не с ним, и он поэтому чувствовал себя свободней. Он пил чай и рассказывал об успехе Гали. Ольга Ивановна подумала, что он все же предан ее дочери; Клумов показался ей доступнее и милей. Но эта его доступность радовала ее недолго.

— Как вам кажется, — спросил Клумов, — нужно Гале от Льва Львовича уходить?

Ольга Ивановна не на шутку испугалась.

— Почему уходить? Ведь теперь как раз все наладилось?..

Повторять все, что он думал об этом, Клумов не стал. В глазах Ольги Ивановны переход из класса в класс, разрыв с педагогом носил характер катастрофы. Она не могла представить себе, как это из-за разногласий расходятся.

Снова перед ней сидел человек странный, с неспокойной душой.

Когда они уходили, Галя и он, Ольга Ивановна, задержав его на минуту, сказала нерешительно:

— Я хотела бы с вами переговорить.

— Когда, Ольга Ивановна?
— Когда вам будет удобней.
— Я завтра приду, — сказал он.
Выйдя с ними в коридор, она нежно и долго целовала на прощанье дочь.
На обратном пути Галя сказала:
— Боба просил что-то такое передать тебе насчет работы.
— Что?
— Я забыла: кажется, он что-то нашел.
— Как же ты так? — сказал он. — Ведь это важно.
— Он что-то мне говорил, я не запомнила... Вот видишь, вот ты уже мной недоволен, так я и знала.
И виновница его сегодняшнего волнения и восторга огорченно посмотрела в сторону.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В квартире не было никого, и, когда Клумов вошел, его поразила тишина.
Ольга Ивановна села напротив него.
— Я хотела поговорить с вами о галином положении.
Клумов смутился.
— Если еще запустить немного, ей придется рожать. Вы этого хотите?
Он ответил сухо:
— В чем моя ошибка? В том, что я хочу, чтобы она рожала, или в том, что не хочу?
— Не занимайтесь, Толя... — она запнулась, — эквилибристикой. Вы знаете не хуже меня, что отцом быть не собираетесь. А о Гале вы позаботились?
Опять его загоняли в угол; видимость свободы уходила, и слова Ольги Ивановны вызывали его противодействие. Но она была права. Он бы мог, правда, сказать, что аборт — вещь обычная и прибегают к нему часто. Но стоило Ольге Ивановне поставить Клумова перед галиной бедой, как все эти доводы отпали. Ему нечем было защищаться. Он сидел напротив нее и думал, что характер у Ольги Ивановны посвоему последовательный и что, будучи виноватым перед Галей, он виноват и перед ней.
— Что я должен делать?
— Давать советы теперь поздно. Знаете ли вы, что женщина, сделавшая аборт, несчастна?
Он молчал.
— Что у нее может быть исковеркана жизнь; что не известно, будет ли она потом рожать; что она может остаться больной.
— Ольга Ивановна, — сказал он, — мне невозможно защищаться. Я знаю только, что почти все это делают...
— Потому что вы ставите женщину ни во что! Потому что вы потеряли этику.
— Я не знаю, Ольга Ивановна, — сказал он.
— Да! — очень твердо, но почти срываясь с голоса, продолжала она. — Конечно, не знаете! Ваши романы, ваш флирт — чего это девушкам стоит!

— Мы вернемся с вами к прежнему, Ольга Ивановна, а я не хочу.

Она словно опомнилась.

— Я тоже не хочу, — сказала она. — Я очень вас прошу — давайте забудем прошлое. У меня самолюбия не меньше вашего, — добавила она покраснев, — но я делаю первый шаг. Я знаю, вы Галю по-своему любите.

— Вероятно, — с неловкостью согласился он.

— Я в худшем, чем вы, положении: у меня нет профессии и нет своих личных стремлений, и теперь уже поздно об этом думать. Моя жизнь — семья. Если можете — щадите Галю, — дрогнувшим голосом закончила она.

Он простил ей ее драматизм. Ему стало ее ужасно жалко.

Какое-то начало семьи, далекое и жалостливое, от которого у него защемило сердце, дошло до Клумова. Он протянул было руку и не нашелся что сказать.

— Не обращайте внимания — это старость, — сказала Ольга Ивановна.

— Ну вот... — растерянно произнес Клумов. — Какая же старость?..

Он понял, когда Ольга Ивановна поднялась, что она предпочитает сама справиться со своей слабостью. Клумов встал торопливо.

У нее было сильное искушение остановить его, но она не решилась. Он осторожно закрыл за собой дверь.

Дома Толя застал Бельника.

«Вот некстати!» подумал он. Он хотел повернуться и уйти, но Боба поманил его рукой; сидел он солидно и прочно.

— Сколько, по-твоему, я должен тебя ждать?

— Ты давно?

— С сотворения мира. Тебе было назначено явиться к двенадцати.

— Я не знал.

— Потому что ты — шляпа и жена твоя — шляпа. — Он посмотрел на часы: — Поедем, возможно, еще успеем; я устроил тебя на работу. Может быть, еще застанем кого-нибудь.

По дороге Боба сообщил, что театр, в котором они оба будут играть, — величайший театр в мире, что режиссер его — тоже один из величайших, что в этом театре есть все — эксцентрика, лирика, биомеханика, скетч, акробатика — и что это самый передовой театр страны.

— А что я там буду делать?

— Играть танцы, — коротко объявил Боба.

«Лучший театр мира» имел вид довольно неуютный.

Они пришли к дирижеру.

— Клумов, Анатолий Андреевич: скрипач, о котором я вам говорил.

Дирижер разглядывал Клумова, подкручивая жесткие усы.

— Ага, мне музыканты нужны. Вы на чем играете?

— На скрипке, — недоумевая, произнес Клумов.

— Ага, это мне нужно.

— Он и на барабане играет, — заметил Боба.

— Нет, барабан не нужен. Первая скрипка или вторая?

За кулисами раздался звонок. Дирижер всполошился:

— Я бегу, граждане; без меня там ничего не сделают. Так я вас беру — запомните!

— Что это за чудовище? — спросил Клумов. — Как он попал сюда?

— Попал просто — приняли. А удивляться нечего. Театр, в котором ты будешь работать, есть театр режиссера. Запомни, Анатолий, и больше пустых вопросов мне не задавай. Это значит, что здесь могут играть слоны и попугаи — режиссеру все равно. Он лепит из них так называемый сценический образ.

— Но из этого духового капельмейстера ничего невозможно лепить.

— Ты ошибаешься, мой любезный: тут дирижер должен угождать и бояться. Сегодня он создает джаз, завтра капеллу бандуристов, послезавтра гоняет по сцене дюжину трубачей.

— А мы зачем? — осведомился Клумов.

— Мы с тобой сядем в оркестр вагнеровского типа: тромбоны, туба и скрипки — всего восемнадцать человек. Мы будем играть на балу у городничего.

Мимо них прошел молодой человек в очках. Боба кивнул в его сторону.

— Чаще всего очки носят помощники режиссеров. Причем заметь, Толя, они ужасные грубияны; я в сравнении с ними — дипломат. Здесь господствует принцип всеобщего угнетения. Понял? Теперь можешь итти.

Он добавил, что репетиция состоится завтра, и, если Клумов опоздает, дирижер Яцкевич выгонит его.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Клумов пришел во-время. Репетиция состоялась в фойе. Первые звуки оглушили его своей нестройностью. У него было странное чувство, как будто он приехал в провинцию, а в консерватории никогда не учился. Музыканты, сидевшие вокруг него, в большинстве своем относились к другому поколению. Трудно было сказать, учились ли они вообще. Яцкевич размахивал руками с энергией отчаяния и в местах, где требовался большой звук, сжимал кулаки.

Музыка, которую играл Клумов, тоже была странная: она звучала крикливо, резко, с непонятной претензией. Это был очевидный гротеск, но рисунок его был чересчур искривлен. В гротеске, вероятно, нужна была тонкость, а Яцкевич играл его, как походный марш. Все, чего нехватало в оркестре, Боба заполнял своей ударной игрой. Он сидел за роялем, короткий, решительный и, вступая, бил с мужским педантизмом по клавишам, сохраняя неподвижность тела.

— Еще больше звука, — просил дирижер. — Налягте, ребята.

Он строил из себя грубоватого, но прямого малого. Он говорил «браточки», «черти», «подлецы», «соколы».

Боба, не меняя положения, бил по клавишам с еще большей жестокостью. Было вполне очевидно, что дирижер надеется главным образом на него: в нем была основа — ритм, громкость и мужская грубость.

Однако спустя час дежурный режиссер вышел из зала и заявил, что, если Яцкевич сейчас же не уймет этот галдеж, главный режиссер и директор объявит ему расчет.

Яцкевич выслушал угрозу, произнесенную вполголоса. Он ухватил зубами свой жесткий ус, покусал его и затем обратился с мольбой к Бобе:

— Играйте тише, прошу вас от всей души.

Боба кивнул.

Затем Яцкевич обратился к струнной группе. Ей он объяснил, что мелодия должна звучать нежно, что музыка эта, хотя непонятная, но благородная, и ее нужно, играя, жалеть и щадить.

— Тут в партиях много ошибок, — заявил с места альтист.

— Ничего, ничего, — ответил Яцкевич. — Играйте пока так. Мы потом разберемся.

Когда репетиция кончилась, Клумов решил заглянуть в зал. Режиссер сидел за столом. На столе стояла лампа, а вокруг было темно. Лицо режиссера было освещено боковым светом.

Режиссер объяснял актерам, как надо играть. Иногда он вставал и сам показывал. Он работал живописно и остроумно. Выдумка его временами ослепляла. Это был гротеск навязчивый, острый и странный.

Постепенно, прислушиваясь к голосам актеров, наблюдая их движения, проверяя их какой-то более естественной меркой, Клумов почувствовал, как начинает рушиться очарование этой странной игры. Блеском интонаций было трудно обмануть точный слух. Сколько бы раз они ни повторялись по указке режиссера, в самой своей основе эти интонации несли какое-то фальшивое уклонение от жизни. В них не отражались движения души, пускай уродливой, но все же человечной. Это была выдумка режиссера, остроумная, но отвлеченная.

— Чего загляделся? — спросил Боба, появившись в темноте. — Тебе придется наслаждаться этим много раз. Здесь премьерой является тридцатый спектакль и юбилейным — двухсотый.

Клумов взял свой футляр и выбрался из зала.

Зрелище, которое он только что видел, угнетало его. В сущности говоря, к нему, Клумову, это прямого касательства не имело. Что бы там ни делали на сцене, ему предстояло одно — играть в оркестре под палочку Яцкевича. Но он не мог освободиться от гнетущего чувства; в нем было что-то знакомое.

Уже одевшись и выйдя на улицу, Клумов вспомнил: «Ведь это класс Зандберга! Та же детализация, тот же навязчивый и педантичный плен. Зандберг — поэт, а этот, наверно, сухой фантазер, но они похожи».

Это начало угнетения в искусстве, это преувеличенное внимание к форме оказалось шире, чем Клумов мог предполагать, и он был не в силах мириться с ним. Странная волна надвинулась на искусство. У Клумова было такое чувство, что если он не окажет ей противодействия, он захлебнется в соленой воде.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

К приему гостей Лев Львович готовился всю неделю. Он накупил консервов, дичи, фруктов и сладостей. Все это стояло у него на рояле, и время от времени он доставлял себе удовольствие, ощупывая пакеты со съестным.

Накануне визита была проведена уборка комнаты. Лев Львович суетился, помогая Дуняше. Пакеты он перетаскивал с места на место, и, пока она мыла пол, он с юношеской торопливостью прыгал через лужи.

Наконец, все было приведено в порядок. Лев Львович оглядел комнату. Она показалась ему не лишенной уюта.

Лев Львович неожиданно оказался великолепным хозяином: сам нарезал ветчину, приготовил множество бутербродов и все превосходно и со вкусом разложил. К приходу гостей все было готово.

Когда Толя и Галя явились, они застали его в обществе Шпирта. Лев Львович играл с ним в шашки.

— Нет, этот ход вы должны мне вернуть! — вскричал он. — Нет, милый мой, это нечестно — три шашки отдать я не могу! Да что же тут получилось, постойте!

Шпирт отвел шашку на прежнее место и сказал:

— Ну, думайте снова.

Лев Львович погрузился в размышление.

— Ужасно не люблю думать, — заметил он. — Друзья мои, вы пока чем-нибудь тут займитесь. Я сейчас проиграю ему последнюю партию.

Усевшись в глубокое кресло, студент Бортников перелистывал иллюстрированный альбом. Около окна, возле блюда с пирожными, стояла Стрижова, семнадцатилетняя студентка класса Льва Львовича, и просматривала старые номера журнала «Весы».

Лев Львович мельком на нее взглянул:

— А-а, превосходно, — все заняты...

Сделав еще два хода, он решительно встал с места.

— Ну вот я и проиграл, чудесно! Шесть партий. Очень вам благодарен.

И, обратившись к гостям, он сказал:

— В этой мансарде проходит моя одинокая жизнь.

— Здесь очень хорошо, — заметил Клумов.

— Да? Вы находите? — сказал, просияв, Лев Львович. — Я ее очень люблю... Без этой комнаты, без моих милых учеников, без инструмента, право, я не мог бы жить.

Его существование открывалось с интимной стороны: он был одинок, все его интересы и стремления были связаны с классом. А Клумов советовал Гале оставить его. Ему стало совестно перед Львом Львовичем.

— Впрочем, что же это я, — спохватился хозяин, — кормлю вас баснями? Дуняша!

Она явилась в белом фартуке.

— Вот, милая — это мои ученики... Прошу любить. Позаботьтесь о нас, пожалуйста.

Он обратился к Гале:

— Мы просим вас быть сегодня хозяйкой.

— Я не умею, Лев Львович.

— А вы обязаны: вы, в некотором роде, дама.

Неловкость гостей постепенно проходила. Лев Львович следил за тем, чтобы все ели много — он сам накладывал и отказов в расчет не принимал.

— Что же это с Бельником? — сказал он. — Ах, какой рассеянный!

Боба пришел в разгар чаепития вместе с Галочкиным.

— Ну что это, мои милые! Вечно причуды! Ну, зато мы вам ничего решительно не оставили.

— Я этого ребенка уговаривал, — сказал Боба, показав на Галочкина. — Он стеснялся.

— Я же не людоед, — сказал Лев Львович, с удовольствием поглядев на всех. — Я только на уроке страшен... Ну, садитесь, садитесь, кое-что мы для вас припасли.

— Теперь и на уроках кричать не полагается, — сказал Боба, придвигая к себе чай. — Вы отстали от века.

— Не развращайте меня! — Лев Львович замахал на него руками. — Это, знаете, мой святой долг. Мне за это государство деньги платит... Ну, ешьте, прошу вас! Вы мне доставите огромное удовольствие.

Все пришли в очень хорошее настроение, все чувствовали себя легко, и Галочкин даже потребовал, чтобы выслушали его анекдот.

Лев Львович прочитал собственное стихотворение; затем он продемонстрировал резьбу на дереве своей работы.

— У вас прямо талант! — сказала Галя.

— Да ну, что вы! — ответил он, безмерно счастливый. — Какой же это талант? Так, безделушки.

Впрочем, он с увлечением начал объяснять приемы резьбы. В голосе его уже были нотки истого педагога.

— Лев Львович, — обратился к нему Клумов, — все утверждают, что вы играете замечательно. Почему вы не даете концертов?

— Ах, милый мой! Это история длинная. И притом скучная... Ну, не всем же играть. Вот, например, Борис Платонович Лаговский — превосходный, почти гениальный музыкант, а играет редко и всегда, знаете, ужасно волнуется.

Я благодарен судьбе за то, что живу в одно время с ним. А вот мой сосед — пианист Орлов — тоже концерты какие-то кропает. — Он широко и несдержанно улыбнулся. — Ээ... как вам кажется, можно концерты кропать?

— Сыграйте, Лев Львович, — стали умолять ученики. — Ну, пожалуйста.

Он отнекивался, ломался. Потом посмотрел на руки, странным образом их повернул и заявил, что готов подчиниться.

Боба решительно поднял крышку рояля и вытащил пюпитр. Голосом, очень напоминавшим голос педагога, он произнес:

— Ну, прошу вас! Мы ждем.

— Какой вы, право, шутник! — заметил Лев Львович усаживаясь. Он снова обвел взглядом всех и спросил капризно:

— Ну, что же я буду вам играть? Ведь вы все знаете. Страсть не люблю музыкантов — ужасный народ!

Лев Львович стал серьезным, даже чуть-чуть преднамеренно, с позой. Он наклонился вперед и посмотрел на клавиши.

— Что мне вам сыграть? — совсем другим голосом произнес он. — Хорошо — соната Бетховена, опус 110.

Они ждали напряженно, стараясь не дышать. Последний налет чудачества с него сошел: за роялем сидел человек строгий, полный сосредоточенной воли. Он глядел в сторону и лишь изредка подымал на слушателей глаза. Им было неловко встречать этот ушедший в себя взгляд: они деликатно отступили назад.

В этой комнате рояль звучал глубоко и мягко: у Льва Львовича был

удивительный звук. Благородная традиция русской школы была видна в том, как смещались фразы, как накладывалась на их строй педаль. Тонкие, тончайшие изменения силы чередовались в редкой связи одно с другим, и все это было в пределах безупречного вкуса. Говоря условно, Льва Львовича можно было назвать учеником и последователем великого Лаговского.

Первую часть сонаты он исполнил с замкнутой и сдержанной поэтической силой. Пассажи он играл неторопливо, как бы пряча их блеск; лишь иногда прорывался этот блеск, и тогда становилось ясно, что, кроме осмысленной силы пальцев, существует другая — техническая, но что пианист с благородной скромностью решил ее скрыть.

— Ну, что же? — сказал Лев Львович, окончив первую часть. — Играть разве дальше?

Они почтительно промолчали.

В этой комнате большой звук мог показаться резким; Лев Львович его не боялся, но вслед за этим он возвращался к певучему. В третьей части он какой-то особой краской окрасил мелодию, — аккомпанемент уходил от нее и намечал для нее новый путь, затем, возвращаясь, сливался с ней и сужал ее. Эти изменения объема поражали слух.

— Вот в фуге я буду врать, — предупредил Лев Львович. — Вы только не браните меня.

Теперь гости ему не мешали. Он овладел свободой чувств, и, когда фуга, шаг за шагом нарастая, влилась в поток октав, они двинулись торжественно, мощно и с поразившей слух широтой.

Лев Львович кончил и, оторвав руки от клавиш, задержал их в воздухе.

— Вот и все, — произнес он, испытав учеников молчанием. — Вы браниться не будете?

— Еще, — робко попросила Стрижова.

— Хватит с вас, у меня заболит рука.

Он освободил мышцы и помахал кистями рук в воздухе; затем закрыл крышку рояля.

— Граждане, — сказал он, снова впадая в нарочитый тон, — концерт окончен, артист устал.

Тогда они спохватились, что сидят у него давно и им, наверно, пора уходить.

— Нет-нет, — заявил он. — Посидите со мной, мне скучно. Ну, что это вы, покинете меня, и я останусь один? Ну, вы останьтесь хотя бы, — обратился он к Гале. — Ах, да — у вас муж!

Оживление разговора ушло, даже бобины остроты его не вернули. Гости встали.

— Что ж это такое? — сказал Лев Львович, оглядев стол. — Столько вкусных вещей осталось... Знаете, я вам дам с собой на дорогу.

Они возражали, но Лев Львович напихал им в карманы сладости, как детям.

— Вы мне доставите огромное удовольствие, — повторял он. — Ну, пожалуйста, я прошу... Я могу заболеть, если вы не поможете, я — сластена.

В коридоре он оглянулся на соседнюю дверь.

— Только, пожалуйста, не спутайте калош! У меня, знаете, года два тому назад три почтенные дамы заменили калоши. Они потом слали ко мне отчаянные записки. Я, знаете, голову потерял: два дня ходил от одной к другой и разносил калоши. Вот, представьте, ужас какой! Я даже занятия пропустил...

Это была последняя его острота. Лев Львович прошел вперед и с достоинством открыл гостям двери.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Вскоре был объявлен концерт Лаговского. Занятый устройством галиных дел, Клумов не собирался итти слушать его. Однажды, когда Гали не было дома, к нему зашла Вера.

— По-моему, вы обещали повести меня в концерт, — я вас опередила.

— Собственно говоря... Это какого числа? Я, кажется, занят в театре.

Впрочем, Клумов довольно легко уступил.

— Значит, идем, — сказала Вера. — Помните — не обманите меня!

Почему он должен был итти именно с ней? Что скажет Галя? Он думал об этом, однако игра незаконченных отношений возобновилась. Из каких соображений он должен себя ограничивать? Эта девушка его мало занимала, он вспоминал о ней редко, но игра, которую она вела с ним, не оставляла его равнодушным.

— Толя, — сказала Вера, — а все-таки, как вы живете?

— Хорошо.

— Вид у вас не блестящий.

Он сел рядом с ней. Ему, пожалуй, нравились ее независимость и смелость.

Она коснулась его щекой. Он остался неподвижным.

«Бесхарактерный, — подумала Вера. — В общем, он мне не очень нравится».

Она стала холодней.

Клумов думал о том, что сейчас может вернуться Галя и в этом флирте есть неприятный оттенок воровства. Чувство лжи его отвращало.

«Вот, я мог бы овладеть этой девушкой. Это будет нечестно. Она привлекает теперь меня больше, потому что я имею на нее меньше прав. Она мне не нужна, но она и не требует от меня клятв в верности».

Он смотрел на нее взглядом мужским и в то же время нестойким.

— Хорошо, — сказал он,— мы с вами пойдем в концерт. Но там вы не будете задавать мне вопросов? Я ужасно не люблю и не умею объяснять.

— Удивительно самоуверенны эти музыканты! Не хотите нас просвещать — ваше дело. Ну, давайте все-таки решим — вы идете?

— Иду.

— Значит, условились.

Она уходила долго: вставала и садилась, подходила к двери и снова начинала разговор.

«Что за низкое самочувствие! — сказал Клумов себе, проводив ее. — Я должен был уйти и остался. Телячий восторг».

Он схватил пальто и, чувствуя себя виноватым, побежал в клинику на прием — договориться о галином деле.

Вернувшись домой и застав Галю, он рассказал ей подробно о том, кто его принял, с кем он разговаривал.

— Когда ты думаешь лечь? — спросил он, сознавая, что его оживление неуместно.

— Да, — вспомнил он. — Приходила сюда эта... Вера. Она принесла для нас билет на концерт.

— Для нас?

— Да. На Лаговского. Ты пойдешь?

По дороге домой Клумов несколько раз задавал себе вопрос, нужно ли говорить Гале об этом. Ему казалось, что лучше промолчать. Однако он предпочитал трудности правды тяготам лжи. Но в правде он коечто менял и подкрашивал.

— Не пойду, — сказала Галя.

— Почему?

— Иди один, я не пойду.

— Не понимаю, Галя, — сказал он. — Ты опять становишься в оппозицию.

— Не обязана я ходить!

Он пожал плечами и замолчал. Какой-то участок свободы он все-таки хотел сохранить за собой.

В день концерта Галя ушла; он не заметил, когда она успела скрыться. Если бы она была дома, ему трудно было бы уйти, и, может быть, он раздумал бы.

У входа в консерваторию Клумов встретил Веру. Она ему не понравилась, — слишком независима и даже развязна.

— Я не запоздала?

Он сухо с ней поздоровался.

— Нет.

— А вы давно ждете?

— Нет, недавно.

— Что с вами? — спросила она, удивленно посмотрев на него. — Чем вы недовольны?

Не мог же он ей сказать, что она ему в эту минуту не нравилась! Он что-то пробормотал.

Она сняла пальто и, взяв Клумова под руку, пошла с ним по лестнице. Ему было неприятно, что товарищи видят его не с Галей, а с другой. Он ненавидел тех, под чьи взгляды попадал, и себя ненавидел.

На концерты Лаговского приходило всегда очень много публики: привязанность слушателей к нему была незыблемой—ее освящала традиция многих лет. Он редко исполнял новые вещи: одни и те же произведения появлялись в течение многих лет, и все-таки их слушали с наслаждением. Поклонники сравнивали игру этого года с прошлогодней.

Лаговский, как уже сказано, относился к числу представителей русской школы: она создала свою традицию, выработала свой строгий вкус, в котором, однако, было много поэтической свободы. У Лаговского был обаятельный звук.

Клумов и Вера уселись в амфитеатре. Клумов решительно не находил, о чем с ней говорить.

Когда Лаговский вышел — высокий, сдержанный и почти скованный,

когда он уселся и, вытянув ноги, примерился к педали, слушателям показалось, что он твердо знает, как ему себя вести. Немногим было известно, что он волнуется и почти не владеет собой. Вещи, игранные много раз, вызывали у него вначале страх, граничивший с отвращением. Он мазал, проскакивал мимо клавиш и врал, но ему все прощалось. Наступал такой момент, когда он собой овладевал. Талант, сила и обаяние, входя в сложную связь, брали верх.

Из амфитеатра была видна его строгая фигура и страстные движения рук.

Клумов так и не произнес ни одного слова. В антракте Вера, когда все вокруг поднялись, спросила:

— Ну как? Вам нравится?

— Нравится, — сухо ответил он.

В свою очередь, она, слушая игру, продолжала думать о других, посторонних вещах. Это не значило, что она слушала невнимательно или игра оставляла ее равнодушной.

В частности, она думала о Клумове: зачем он привел ее сюда? У него свои интересы, он женат, а ей он, в конце концов, не нравится. Она сказала себе, что он ее «занимает» и на этом успокоилась.

Они спустились вниз и вместе со всеми начали прохаживаться по фойе, рассматривая публику.

Разговоры, которые здесь можно было подслушать, не отличались разнообразием. Господствовало пристрастие к значительным и в то же время общим словам. Здесь любили говорить, что игра насыщена эмоционально, что артисту удалась патетика, что он играет с огромным подъемом, что вещь была крепко сделана.

Лаговского долго вызывали на бис. Публика выходила в зал и возвращалась, а у эстрады теснились энтузиасты, прибежавшие сверху и из последних рядов. Свет постепенно гасили, а Лаговский, теперь совершенно уверенный, выходил, кланялся и садился играть мелкие вещи. Играл он их тонко, с лирической простотой, открывая в них удивительный мир.

Оказавшись на улице, Клумов долго молчал. Ему нужно было теперь быть одному или в обществе Гали: она никогда не оскорбляла его чувств художника.

Он вел Веру под руку. Она прижалась к нему, он ответил. Они шли молча, занятые темными наблюдениями.

Клумов довел Веру до дому и остановился в воротах; нужно было возвращаться. Над воротами горел фонарь. Он потух, затем загорелся вновь. Клумов и Вера начали глупо и горячо целоваться.

Домой он пришел настороженный и злой; он готов был к отпору. Увидев Галю, которая положив голову на стол, спала, Клумов остановился растерянный. Он долго смотрел на нее; затем постелил постель и бережно начал укладывать Галю. Когда Клумов повернул к себе ее лицо, он увидел, что глаза ее заплаканы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

— Ты не боишься?

— Пока не очень.

— А боль?

— Женщина легче переносит боль, — объяснила она. — Она по самой своей природе лучше к ней приспособлена.

Как бы там ни было, им нужно было итти. Клумов проводил Галю в больницу, и только они вошли туда, как ему стало страшно. В приемной ждало много женщин.

До Гали очередь дошла не скоро. Они сидели вдвоем на скамейке, и он старался развлечь Галю рассказами.

— Ты, может быть, торопишься? — сказала она. — Так ты иди.

Наконец, к ним подошла няня.

— Собирайтесь скорей.

Гале дали номер; она должна была сдать вещи.

У Клумова было ужасное чувство, как будто он покидал ее в самую трудную минуту.

Он пробыл с ней до тех пор, пока ее не позвали. Заторопившись, он крепко обнял Галю; у нее были сухие губы. Он поцеловал ее в лоб и глаза.

— Как только можно будет, я приду, — сказал Клумов.

У Гали в глазах промелькнула беспомощность, и Клумов ушел из больницы разбитый. Он не был склонен к чувствительности и ни в чем себя не обвинял. Но больно было думать, что ему ничего не грозит, а ей — ужасное и незаслуженное мучение.

Дома он брался за скрипку, но бросал ее, брался за книгу и тоже бросал.

Прошло несколько часов. Клумов решил зайти к Ольге Ивановне.

— Вы были там? — спросила она.

Узнав, что он с утра больше не заходил, Ольга Ивановна сообщила ему, что все уже случилось, и с удивившей его прямотой употребила слово «выскабливание». Клумов почувствовал, что они совершили преступление и что оно непоправимо.

— Когда вы видели ее? — спросил Клумов.

— Час тому назад; она передала записку.

Ему хотелось увидеть, что она написала, но он не решился попросить.

Он снова пошел в больницу и, приложив усилия, добился того, что ему разрешили зайти. Уже было темно. Из окна была видна терявшая очертания улица; возле подъезда стоял извозчик. Снег был рыхлый и темный; казалось, что осень снова пришла вместо зимы и что второй ее приход безнадежно уныл и печален.

Привратница дала ему халат. Клумов поднялся и увидел длинный коридор с удивительно белыми дверьми и стенами.

Он нерешительно открыл дверь в палату и сразу увидел Галю. Она кивнула ему и вытащила руку из-под одеяла. Рука за этот день побелела.

Клумов почувствовал невыразимую боль. У него навернулись слезы. Он молча гладил галину руку.

— Ничего, — сказала Галя, — теперь не больно.

— Было плохо? — тихо спросил он.

Она кивнула, и ей стало жалко себя.

На соседних койках говорили о том же с будничными и деловыми подробностями, но это на него не влияло: он чувствовал себя разбитым, виноватым и несчастным.

Вошла няня.

— Хватит с вас, молодой человек, идите. Вот они, ваши забавы, видали?

Он хотел что-то ей ответить.

— Не надо, — сказала Галя. — Они и так здесь забегались.

Он развернул сверток с апельсинами и положил на окно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Зима проходила быстро. Клумов попрежнему работал в театре. Читая статьи о спектаклях, в которых он участвовал, он видел за ними изнанку театрального существования. Невежественный и трусливый дирижер мог попасть сюда только потому, что свойства музыки в этом театре не были поняты. Музыканты не ставились ни во что.

Но и актеры, в своем большинстве, тоже имели мало веса. От невнимания актеры постепенно грубели. Они пришли сюда, полные преклонения перед даром постановщика, они участвовали в его пышных планах и соглашались играть незаметную роль. Время шло, их роль не менялась, они повторяли одно и то же изо дня в день, и единственное, что их поддерживало, было восхищение выдумкой режиссера; но она все меньше обещала им и имела все более слабое отношение к их мечтаниям.

Оставаться здесь значило постепенно применяться к рассеянному, эгоистическому и равнодушному миру эквилибристов. Со своей стороны, актеры третировали музыкантов. Таким образом, на этой лестнице подчинения Клумов стоял внизу. С тем большими надеждами он приходил в свой класс.

Зандберг был вежлив и мягок, но продолжал его стеснять. Он даже стеснял его больше прежнего. По мере того как дело приближалось к выпуску, Зандберг все придирчивей проверял детали игры.

Расчет его был таков: времени у Клумова остается немного, и в другой класс он, стало быть, не перейдет; разногласия с ним за пределы класса не выйдут. Однако, кончая консерваторию, он тем самым представляет в глазах других его класс. Мог ли Клумов его представлять? По мнению Зандберга, нет. Значит, нужно было на что-то решиться; на что именно, Зандберг еще сам не знал. Он продолжал настойчиво работать с Клумовым и своим педантизмом расшатывал его игру. Бывали уроки неудачные и хорошие, но не было ни одного, после которого Клумов мог бы сказать себе, что его дело выиграно. Все очевиднее становилось, что либо пути для него нет совсем, либо этот путь находится за пределами класса. Между тем, теперь поздно было что-либо предпринимать.

«Что же будет?» спрашивал себя Клумов.

Наступила весна. Она явилась незаметно. Остатки зимы еще были видны повсюду, но она вдруг сдала.

Развитие весны Клумов проглядел. Уже подсохло, затем деревья под окнами начали менять свой вид, и однажды после сильного дождя Клумов заметил, что на улице появилась зелень.

Галя весь день мыла окна.

— Довольно, — сказал Анатолий. — Поедем куда-нибудь, а?

— А обед?

Но тут же она, впрочем, согласилась. Когда они доехали до реки, от дня остался горящий край и редкий дым потухавшего где-то костра.

На следующий день Клумов, придя на урок, сыграл неудачно. Ученики, не вмешиваясь, с сочувствием смотрели на него. У них не было для него утешения, каждый из них мог бы не согласиться с Зандбергом, но они умели ему уступать.

Зандберг наморщил лоб.

— Что же делать? — произнес он со вздохом.

Клумов ждал.

— Придется отложить окончание.

— Отложить?—переспросил Клумов, не совсем еще понимая, что это значит.

— Я думаю, мы отложим до осени, а там будет видно.

Зандберг осторожно перебирал клавиши. Следующий ученик не торопился подойти, и в классе наступило неловкое молчание.

Клумов решительно собрал ноты, уложил в футляр и запер. Все! До сих пор он привык думать, что за рубежом, который он перейдет, откроется другая жизнь: он уедет, либо попробует дирижировать, он, наконец, установит свой путь. Теперь не было ни рубежа, ни пути.

Тут заблуждаться не приходилось, — расчетливость Зандберга была понятна: он решил Клумова отдалить и сделать это незаметно. Так же, как и многие, Клумов безвестно исчез бы с пути.

Когда Галя узнала о разрыве, она испугалась.

— Что ж теперь будет, Толя?

— Я тебе все время говорил: я — неудачник, брось меня! Мне противно об этом думать.

Он представлял себе этого доброго и сдержанного человека, который теперь сидит в классе, дает советы ученикам, с большим вкусом аккомпанирует и который его почти задушил. Эта мысль озлобляла Клумова необычайно.

Вечером в театре он сказал Бобе Бельнику:

— У меня неприятность.

— Я знаю.

Он посмотрел на Клумова выжидательно и пытливо. «И он тоже струсил», подумал Клумов.

У него не было опоры: в огромном собрании людей, где он провел несколько лет, он был, казалось ему, одинок. Неудача была его личным и собственным делом. Клумов не решился бы говорить о нем с другими. Он вел себя неосторожно, отстаивая до сих пор свой путь; теперь он проиграл и должен уйти; вокруг будет продолжаться деятельная жизнь: музыканты будут играть, на эстраде появятся новые дарования, будут говорить о новых именах и вещах. Через три года Зандберг стяжает славу, а Клумов, признанный неспособным, будет за всем этим наблюдать издалека.

Боба спросил:

— Толя, ты говорил с кем-нибудь?

— Нет. С кем же мне говорить?

— Ты дурак, Толя, — сказал Боба. — Завтра же пойди поговори.

Галя встретила его дома тем же вопросом:

— Ты ни с кем еще не говорил?

— Нет. Я был в театре, ты знаешь.

— Толя, обязательно, завтра же пойди к Семенову, он тебя знает. Расскажи ему все.

Она убеждала его, что это не только его личное дело, что не все проиграно и возможен выход. Но для этого нужно было опереться не только на себя.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

С секретарем комитета комсомола Семеновым Клумов был знаком давно. Тот играл на кларнете, и они работали когда-то в одном оркестре.

Семенов сам спросил у него:

— Что у тебя вышло? — Они подошли к скамье. — Давай посидим.

Клумов рассказал ему все. Дело ясное: Зандберг решил от него отделаться. С другой стороны, работа Зандберга всем известна, она ценится высоко.

— Что ты думаешь делать? — спросил Семенов.

— Не знаю — еще не решил.

— Нужно спорить, — сказал секретарь.

— Разрешат мне кончать от себя?

До экзамена оставалось двадцать пять дней. Он должен был успеть сделать все, чего не успел с Зандбергом: окончательно закрепить начала свободы, сделать игру независимой.

— Ты успеешь? — спросил Семенов.

— У меня нет другого выхода.

— Хорошо, — решил тот. — Буду говорить.

С этого дня столкновение с Зандбергом перестало быть личным делом Клумова: оно перешло черту, поставленную для него педагогом. В соседних классах стало известно, что у Зандберга что-то произошло. Клумов, по понятию других педагогов, не входил в число тех, кто составляет гордость класса, кто дает ему блеск и славу. Но случай с ним открывал известное неблагополучие в классе Зандберга. До сих пор из других классов стремились уйти в этот, теперь из этого уходил студент.

Профессор Капельский, встретив Клумова, спросил, что у него вышло с Зандбергом.

— Вы рассорились с Борисом Игнатьевичем?

— Не совсем, — сказал Клумов. — Он не решается отвечать за меня — это ссора?

— Да... странно, — произнес Капельский, глядя в сторону.

Он понимал Зандберга лучше, чем стоявшего перед ним студента. В спорах учителя с учеником позиция первого представлялась ему более ясной. С другой стороны, от него ушли в класс Зандберга три человека.

— Да... — повторил он задумчиво.— Неприятная вещь. Что же вы будете делать?

— Хочу кончать от себя.

— Вот и прекрасно! — сказал Капельский, дотронувшись до его плеча. — Значит, все в порядке.

Он покосился на него:

— А вам разрешат?

— Я хлопочу.

— Ну, что ж, правильно: хлопочите.

Следующий, с кем пришлось говорить Клумову, был декан кафедры Паляев. Он был человек сердечный. Сложную сетку отношений, которая

окутывала факультет, он видел; даже не участвуя в ее плетении, он знал, какая нить куда тянется. Но он ни одной не оборвал своей рукой.

— Эх, голубчик мой, — произнес он с сочувствием, — и угораздило тебя за двадцать два дня до экзамена! Ты бы раньше, что ли... Программа готова?

— Условно — да.

— А Зандберг что говорил?

— Он раздумал в последнюю минуту.

Наконец, кто-то сказал, что речь идет не о личном деле Клумова, а о деле, в котором заинтересовано государство. Анатолий не любил напыщенных слов. Он не доверял им. Но эти слова сразу поставили все на свое место. В первый раз за эти дни Клумов понял свое право, которое, как оказалось, было не в нем, а вне его. Это было не только внутреннее право человека, который в свои стремления вложил много лет. Общественная правда была проще, и она в равной мере была доступна и ему, и Семенову, и декану, и многим другим. При этом она была не менее справедливой. Найдя ее, он успокоился.

Клумову повстречался студент Зильберштейн. Он входил в факультет от студенческих организаций и имел отношение к учебным, хозяйственным и многим другим делам.

— Я должен кончать? — спросил его Анатолий.

— Кончай, конечно! Что же ты будешь на тарелках бить всю жизнь? Конечно, кончай.

— От себя?

— Хорошо — кончай от Зандберга! — с сильным неудовольствием сказал Зильберштейн. — Раз ты не можешь от Зандберга, кончай от себя.

— Что же мне нужно сделать?

— Подать заявление, подписаться и написать внизу число.

Только теперь Клумов вспомнил, что он не прикасался к скрипке все эти дни: она была ему неприятна.

Ему предстояло через двадцать два дня взойти на эстраду и доказать всем, что у него есть право независимого человека, который стремится найти свой путь; что даже в системе общих приемов могут быть уклонения и что они законны, с ними нужно считаться и в иных случаях их следует поощрять.

Все это он должен был доказать, не произнося речей, не защищаясь иным способом, кроме того, какой ему предоставляли скрипка и смычок.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Он обратился к Гале за помощью: ему нужна была прочная опора в аккомпанементе.

— Конечно, Толя, — сказала она. — Зачем ты спрашиваешь? а я тебя не подведу?

— Как? — он не понял.

— На эстраде. Я буду волноваться больше тебя.

Он начал работать. В первое время он не решался уйти от принципов Зандберга: образ педагога стоял за его спиной, план Зандберга сидел прочно в пальцах, был закреплен в штрихах и апликатуре.

Когда Зандберг все это ему навязывал, Клумов готов был спорить с ним. Теперь, оставленный педагогом, он боялся от него отойти: как человек, державшийся за перила, боится ступать вперед, видя, что их больше нет, так и он, заглянув вперед, испугался.

Вначале он двигался нерешительно; он опирался на Галю. Играя вместе с ней, он все время имел в рояле поддержку: рояль помогал Клумову подчинить времени все движения пальцев. Какие бы отклонения он ни делал, их нужно было отдать времени для отделки — оно придавало замедлениям и даже случайным ускорениям устойчивую форму и вкус.

— Еще раз, — говорил Клумов Гале, и она с удивительной терпеливостью повторяла отрывки.

Он стал за эти дни настойчивым и жестким. Он даже Галю не жалел. Иногда, впрочем, спохватившись, заметив, что она в усталости опускает руки, он виновато говорил:

— Что же я делаю?! Ты от такой игры отупеешь!

Галя понимала, что Анатолий сейчас делает то, что делала она перед концертом: одни и те же пассажи повторялись без конца, с почти бесцельным упорством. Лишь время от времени обнаруживалась их осмысленная красота, открывался сильный и чистый звук.

— Как тебе кажется? — спрашивал Толя, откладывая инструмент. — Я успею?

Он знал, что она ответит утвердительно, но ему нужно было услышать это.

Она и впрямь была уверена в том, что каким-то образом все обойдется хорошо, — каким, Галя не знала. Бывали, правда, такие часы, когда игра Клумова приобретала устойчивую законченность. Для него было ясно, что задача состоит теперь в том, чтобы утвердить и почти автоматизировать свое вдохновение. Теперь он шел тем же путем, что и Зандберг, но, покамест тот его вел за руку и оглядывался на каждый его шаг, Клумов не умел подчиняться; необходимость соразмерять свой шаг с зандберговским слишком его тяготила; теперь, идя своим путем, он во многом повторял Зандберга.

Не один раз за эти дни он узнавал чистоту вдохновения. Но Клумов больше себе не верил и стремился его закрепить и сделать бесспорным и точным. Вот тогда педантизм школы пригодился Клумову. Однако он принимал его не целиком, — он выходил за пределы педантизма, и чем дальше, тем смелей.

Клумов представлял себе час выступления. Вот он выйдет из артистической; зал будет ярко освещен. Он, Клумов, подойдет к краю эстрады, затем, испугавшись, отступит; проверит еще раз строй и, наконец, начнет играть. Окажется, что у него от волнения дрожит правая рука и смычок движется неуверенно. По вине Зандберга Клумов давно не выступал; волнение, которое связывает мышцы и лишает людей ясности, испытывают даже очень опытные музыканты; наверно, оно охватит и его. Но, может быть, в конце концов, он соберется и, начав играть нетвердо, затем овладеет собой?

Мало-помалу Клумов выбирался на собственный путь. Длительная дисциплина у Зандберга оставила глубокий след: Клумов ловил себя

на том, что он играет сдержанней, чем хотел бы; культура пальцев была педантичней культуры души.

Между тем, перестав думать о Зандберге, он неожиданно получил от него предостережение.

В оркестре театра вместе с ним играл скрипач Милевский. Как-то во время перерыва он подошел к Клумову; в полумраке фойе музыканты слонялись без дела; Яцкевич, сидя в углу, делал вид, что читает газету, на самом деле он дремал.

— Ты все-таки будешь кончать от себя? — спросил Милевский.

— Да.

— А почему бы тебе не отложить? Зачем ты торопишься? Так никто не поступал, и это большой риск, ты знаешь?

Клумову неприятно было повторять все то, о чем он думал столько раз.

— Риск? — спросил он.

— Зандберг взволнован: он советует тебе не рисковать.

— Он говорил об этом? — спросил Клумов живей.

К его опасениям прибавилось еще одно, до крайности неприятное.

— Сегодня в классе был разговор. Зандберг считает, что ты сам не понимаешь, на что идешь.

«Он преследует меня шаг за шагом, — сказал себе Клумов. — Какой трус!»

— Передай Зандбергу, что теперь вопрос решаю я! Он за меня отвечать не будет.

— Но если ты провалишься...

— Останусь на всю жизнь без диплома, я знаю! — сказал Клумов и попросил передать Зандбергу, что его осторожность не делает ему чести.

— Этого я ему не передам.

— Скажи ему, что он не рискует ничем. Объясни ему, что он трус. В семейной жизни такая трусость приводит к изменам.

— Ты бы сам все это ему сказал! — предложил Милевский.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

За несколько дней до выступления Клумов мог себе сказать, что в своих пальцах он уверен. Он опасался теперь неожиданностей — того, что вдруг забудет что-нибудь, что у него задрожит смычок. Скрипка как будто сдалась. Подстраивая ее, он знал наперед, как она будет звучать. Резкость, которая так его раздражала, теперь являлась в игре не часто.

— Отдохни, — сказала ему Галя накануне экзамена, — приди в себя. По-моему, ты можешь быть за себя спокоен. Я буду волноваться больше за себя, чем за тебя.

Вместо концерта Баха, он взял сонату для скрипки соло. Она была выучена давно. Уйдя от Зандберга, он решил включить ее в программу: в сложном движении фуги он хотел показать строгий стиль, силу звука и умение мыслить естественно и непрерывно.

В последний момент Клумов признался себе, что как раз мыслить он в классе Зандберга не научился.

Этот вывод привел Клумова в отчаяние: добившись независимости,

он все же не мог сказать себе, достаточно ли независимо он будет играть на эстраде

Когда он заявил об этом Гале, она не стала оспаривать его открытия:

— За двадцать дней, Толя, ты этого сделать не мог. Для этого нужно много времени.

А он знал, что дозревание бывает и быстрым, но что сам он не успел созреть.

— Но я изменился, — ревниво спросил Клумов, — или нет?

— Очень!

Он провел неспокойную ночь. Снова он рисовал себе, как выйдет на эстраду и как себя поведет. Клумов видел себя уверенным и даже ожесточенным.

Все произошло не так, как он думал.

Концерт был назначен на утро. Кроме Клумова, должны были играть еще двое. В классах, как обычно, занимались; решающий для Клумова день ничем не отличался от прочих дней.

Клумов отыскал свободный класс и еще раз себя проверил.

Он давно не был здесь. Теперь он стоял в классе, как гость.

— Поработай, — сказала Галя, — а я посмотрю, что делается в зале.

Он остался один. Вынув скрипку, он заиграл. Скрипка звучала чисто и ярко.

Дверь класса приоткрылась, вошла Стрижова. Она остановилась в нерешительности, а Клумов продолжал играть.

— Ого! — сказала она.

Галя сбежала вниз. Сонату Баха Клумов должен был играть без нее. Возле канцелярии она встретила Льва Львовича.

— Постойте, моя милая, — позвал он ее. — Вы куда бежите-то?

— Очень тороплюсь.

— А-а, жалею; а то я хотел вам рассказать презанятную историю.

Она вынуждена была сообщить, что муж ее, Клумов, должен сейчас играть в Малом зале.

— Это что? — осведомился он.

— Выпускной зачет.

— Да что вы! — воскликнул он. — Представляю себе, как волнуется его профессор! Очень рад за мужа — такой одаренный скрипач!

Затем он заметил, что есть что-то очень грустное в расставании со школой:

— По-моему, это ужасно трудная вещь. Не знаю, я бы расплакался... Хорошо, что мне не надо кончать. Передайте мужу мои пожелания.

Он благосклонно протянул руку и, озираясь, пошел к себе в класс. На лестнице ему попался Боба.

— Куда? — спросил его педагог. — Я вас жду к себе в класс, вы знаете?

— Не могу, Лев Львович, — ответил Боба. — Сегодня Клумов играет. Я должен послушать его.

— Да что вы все «Клумов, Клумов»! Что вы — билеты на него брали?

— Я приду, Лев Львович, позже, — сказал Боба, не вступая в спор.

— Ну, смотрите! Я не люблю обманщиков.

В классе его дожидалась Стрижова.

— А вы, — спросил Лев Львович, — на Клумова не идете?

— Я слышала, как он играл.

— Да что вы, милая, завидую вам... Ну, покамест, ответьте мне ваш урок.

Она вздохнула и села за рояль.

Войдя в зал, Галя увидала, что народу немного. Она снова вышла. На площадке она неожиданно увидела Зандберга; он шел вместе с учениками, очевидно, прервав урок. Галя покраснела и вернулась в зал.

В одном из средних рядов она заметила мать. Ольга Ивановна все это время сочувствовала Толе и была на его стороне. Она не могла вообразить, что после стольких лет учения он останется без диплома.

Галя не подошла к матери, ей трудно было сейчас разговаривать. Она спряталась за колонной.

Выйдя из класса, Клумов прошел в артистическую. Он нес скрипку в незакрытом футляре. Возле артистической, на площадке, стояли Семенов, Зильберштейн, профессор Паляев.

— Ну как? — спросил Семенов. — Волноваться не будешь?

— Думаю — нет.

Он, как и в классе, ощущал уверенность в пальцах.

— Ничего, — заметил Паляев, — вытянет.

Он ободряюще улыбнулся.

В артистической были уже оба скрипача: Каневский и Белянцев. Первый кончал от класса Зандберга.

— Толя, в каком порядке будем играть?

— Мне все равно, — сказал Клумов. — Могу выйти первым.

— Нет, — попросил Белянцев, — выпустите сначала меня, а то я не выдержу.

Они решили сначала итти друг за другом, а затем, после первых вещей, договориться.

Очередь Клумова была второй. Когда Белянцев вышел на эстраду, Клумов, держа в руках инструмент, перебирал аккорды сонаты. Скрипка была настроена хорошо. Несколько раз ему начинало казаться, что она расстраивается: ему мешала игра, доносившаяся из зала.

Белянцев пришел очень усталый. Он положил на стол скрипку и вытер лоб.

— Ну и ну! — сказал он. — Два раза кончать, пожалуй, не станешь.

— Ничего, — заметил Каневский. — Играл хорошо.

Затем он сказал дружески Клумову:

— Толя, иди. Главное, будь спокоен.

На эстраде Клумов снова проверил строй скрипки. Здесь было очень светло, а в зале свет был неполный. Он не разглядел, много ли там народу. Он быстро обвел глазами несколько рядов.

«Она где-то здесь», подумал Клумов.

Он перенес вес тела на одну ногу, именно так, как в последнее время находил для себя удобным.

Первый аккорд показался ему недостаточно полным — он его разочаровал. Однако аккорд прозвучал чисто, и движения после него подчинялись пальцам легко. Главное, не дрожал смычок. Тут важно было вести его так, чтобы каждый звук в слитной игре прозвучал вырази-

тельно. Клумов с сознательной силой следил за своей игрой. Его больше всего смущало то, что он не слышит полного звука, что игра его слишком проста. Но при всем том он играл свободно и сохранял уверенность.

«Среднее исполнение», подумал он.

Впереди были еще очень сложные вещи.

Начав играть фугу, Клумов отметил, что штрих ему удался — он обладал одушевленной остротой. «Странно,—подумал он.—Это лучше, чем дома». Там тот же штрих звучал более плоско.

Было много существенных частностей, которые поддерживали в игравшем уверенность: слитно звучавшие аккорды, изящные переходы и в нужных местах свободные деташе. Клумов наблюдал за своей игрой и сохранял спокойствие.

И вдруг его пронизала мысль: что он делает? Из-за этого он вел борьбу? Это и есть та свобода, которой он добивался? Ведь это всего только культурная игра, то-есть как раз то, в чем ему отказывал Зандберг и из-за чего он его изгнал! Трезвая наблюдательность, с которой он играл в такой решающий час, показалась ему недопустимой.

Когда он играл последнюю, быструю часть сонаты, он отнесся к ней, как смелый артист, — подчеркивал, замедлял, смягчал опорные звуки; движение непрерывное и ровное воодушевляло его, он придал ему гибкую форму.

Открыв дверь в артистическую, Клумов чуть было не ударил Белянцева по голове.

— Превосходно! — сказал тот. — Молодец!

— Грубо играл, — ответил Клумов на ходу.

— Грубо? — переспросил Белянцев. — Что-то ты слишком многого требуешь.

Почти в одно время с Толей в другую дверь вбежала Галя.

— Поздравляю тебя! — сказала она. — Просто прекрасно!

— Нет, ты правду мне скажи!

— Прекрасно, — повторила она.

— У меня было такое чувство, как будто скрипка грубо звучит.

— Это акустика, — сказала Галя. — Звук идет в зал, я знаю.

Он смотрел на нее, еще не вполне веря. Но когда вошел Паляев и, схватив Клумова за руку, начал его поздравлять, Анатолий поверил, что он играл хорошо.

— Вот не думал! — повторял Паляев. — Прямо-таки хорошо!

Испытывая прилив сил, Клумов спросил:

— Ждать или продолжать?

— А вы не устали?

— Нет, — сказал он. — Могу продолжать.

Клумов посмотрел на Каневского, тот не возражал. Галя взяла аккомпанемент, и они пошли на эстраду.

Теперь он смелей оглядывал зал: народу было больше, и он увидел много знакомых лиц. В первом ряду сидел Зандберг.

Подойдя к роялю проверить строй, Клумов успел сказать Гале что-то очень ласковое и приятное; она засмеялась.

Он отошел и занял свое место. Галя оглянулась на него и начала играть. Она играла вступление недостаточно свободно, вкладывая больше старания, чем самостоятельности. Следя за ней, Клумов как будто

все время ее поправлял. Теперь он не боялся однообразия: он знал, что намеченные им оттенки, изменяясь, доходят до слушателей без искажения.

Глазу концерт Бетховена представляется собранием неторопливых пассажей. Клумов нашел их внутренний смысл, он играл напряженно, быть может, со слишком явным стремлением раскрыть их; он даже драматизировал их кое-где, а в лирических местах позволял себе не только играть для других, а и для себя самого. Ощущение полноты и равновесия пришло к нему. Каденцию первой части он сыграл даже с аффектацией. Он не побоялся позы, которая заключалась в ней, и, дойдя до аккордов, вложил в них страсть.

Есть в концерте Бетховена в заключении первой части удивительное сочетание сдержанности и доступности, проникновенности и сердечной простоты. Дойдя до него, Клумов сам растрогался.

Галя очень тактично следовала за ним. Рояль звучал, как в тот вечер, и Клумов понял, что его чувства дошли до нее.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Все было сыграно: и концерт, и сюита, и мелкие вещи. Сидя в артистической, Клумов испытывал щемящую грусть — верный признак успеха.

Теперь на эстраде играл Каневский, ученик Зандберга, и, будучи справедливым, Клумов должен был признать, что игра его превосходна.

В артистической перебывали многие: Семенов, Паляев, Зильберштейн, товарищи, педагоги и даже слушатели со стороны.

Профессор Капельский заглянул сюда, похвалил Клумова и, приблизившись к нему, прошептал:

— Зандбергу вы вкатили, да.

Галя услышала и просияла.

— Ужасно рада, — сказала она.

— Собственно, если бы не ты, — заметил Клумов, отойдя с ней к окну, — я бы ни за что не справился. Ты мой большой друг, Галенька.

— Ты и теперь считаешь себя неудачником? — спросила она.

— В главном — да; но сегодня, в виде исключения, — нет.

В это время вошел Боба. Он успел уже исполнить свой долг по отношению к матери Гали. Он разыскал ее.

— Поздравляю вас, Ольга Ивановна. Вы удачно выбрали зятя... Вам привести их? Я сейчас.

Он вошел в артистическую, решительный и энергичный.

— Конечно, — сказал он, — там сидит одинокая мать, а она, Нечаева, здесь, возле мужа.

— Я забыла! — спохватилась Галя.

Боба посмотрел на Клумова выразительно.

— Дорогой мой, что мне тебе сказать? Сегодня же поставлю в театре вопрос о том, чтобы тебя сделали концертмейстером этого арапского оркестра; тебе прибавят десять рублей и — как знать? — может быть, Яцкевич выставит тебе пару пива.

— Боба, — сказал Клумов, — ты был в зале. Скажи честно — я справился?

Боба схватился рукой за щеку.

— Если бы ты знал, как я тебе завидую! Человек хорошо кончил вуз, и перед ним открытая дорога.

— Куда? В драму?

— Радио, опера, оркестры! Толя, ты слюнтяй и ребенок, но я завидую тебе.

Концерт был кончен. Толпа начала выходить из зала.

На площадке лестницы Клумов увидел Ольгу Ивановну. Она хотела броситься к нему, но не могла — было тесно.

— От всей души! — произнесла она, наконец. — Вы победили!

Она хотела ему сказать еще что-то, но в это время Зандберг, окруженный учениками, разъединил их. Он возвращался в класс. Клумов хотел отойти в сторону и остаться незамеченным.

Зандберг поравнялся с ним.

— Поздравляю вас, — сказал он замявшись.

Клумов ответил сдержанно.

— Благодарю.

Их окружило кольцо любопытных. Галя и Ольга Ивановна остались в стороне, но им было все видно. Ближе них стоял Боба.

— Да, — вспомнил Зандберг, — какой все-таки марки ваш инструмент?

— А что?

— Он хорошо звучит в зале. — Зандберг приязненно покачал головой.

— Мы с вами не в ссоре? — подумав, добавил он.

— Мне кажется — нет, — сказал Клумов. — У нас с вами были разногласия.

— Вы ужасно упрямый человек! — произнес Зандберг.

— Борис Игнатьевич, — вмешался Боба. — А все-таки он свое доказал?

Зандберг уклончиво усмехнулся.

— Посмотрим, — сказал он. — Время покажет.

И, попрощавшись, он пошел дальше.

Клумов, глядя ему вслед, думал о том, как будет выглядеть их сложный спор через год или два.

Г. Корешов

ПЕСНИ МОРЯКА

Г. Корешов — молодой дальневосточный моряк. Ему 24 года. Некоторое время Корешов работал во Владивостокском порту грузчиком. Теперь он матрос 2-го класса и плавает на советских торговых судах.

ЧУДО-ПЛАВАНЬЕ

Ах, какое будет чудо-плаванье
У потомков наших моряков!
Все для них родными будут гавани
И чужих не будет берегов.

Без морского паспорта и визы,
Выбрав цепи грузных якорей,
Поплывут они с попутным бризом
В даль своих лазоревых морей.

Будут штили, будут ураганы.
За кормой крутиться будет лаг.
А на клотике над океаном
Будет реять только красный флаг.

И в порту, где день стоянки прожит,
Другу Васе скажет черный Джим:
— Видишь дом? Здесь был кабак. Быть может,
В нем тянул отец мой с горя джин.

Скажет честный Ганс, сверкнув глазами:
— Мы о прошлом память бережем!
Мой отец убит был в Иокогаме
На молу приятельским ножом.

И вздохнет их друг, Сато раскосый:
— Посмотрите, братья, где стою —
Чайный домик был.
И здесь матросы
Покупали на ночь мать мою.

И пойдут четыре друга к гавани,
Окруженной зарослью садов.
...Ах, какое будет чудо-плаванье
У потомков наших моряков!

РЫБОЛОВЕЦКОЕ СУДНО В БУРЮ

Звезды гаснут на рассвете,
Дует свежий бриз.
Поднимай, товарищ, сети
И за руль берись.

Грома дальние раскаты
Слышишь, рулевой?
Взяли мы улов богатый —
Торопись домой.

А не то нагрянет птицей
Буря на пути.
В море может все случиться,
С морем — не шути.

— Зря волнуешься, дружище, —
Шкипер мне сказал, —
Пусть холодный ветер свищет,
Воет, как шакал.

Нам ли брови свои хмурить?
Нам ли, друг, робеть?
Мы должны в любые бури
Парусом владеть.

РАССКАЗ НАШЕГО БОЦМАНА

Мы плыли вдоль гряды Курил.
Здесь плавал Лаперуз и Беринг.
Наш боцман трубку раскурил
И указал рукой на берег:

— Мой младший брат был моряком,
На зверобойном плавал боте,
Бывал в тяжелом переплете,
Но был со страхом не знаком.

Шел бот через морской пролив.
Была весна — то время года,

Когда бушует непогода, —
И бот их наскочил на риф.

Норд-ост большую гнал волну,
А в бурю, знаешь сам, не трудно
Такому маленькому судну
Хлебнуть воды, пойти ко дну.

Не пенный вал братишку смыл,
Когда их судно штормовало, —
Стоял братишка у штурвала
И к поручням привязан был.

И все забыли про него
В минуту гибели.
Фербанна!
И вместе с ботом рулевой
Ушел под волны океана.

И, видно, крепок был канат!..
Ах, если видеть вы могли бы,
Как плавал мой покойный брат!
Он плавал, право, лучше рыбы.

И он бы выплыл.
Я клянусь,
Как говорится, сном Нептуна!
А шкипер бота — подлый трус —
Спасался первым от тайфуна.

И шкипер тот на скользкий риф
Проворней зайца прыгнул.
Шкура!
Он и теперь, наверно, жив —
Японский шкипер Накамура.

Мы плыли вдоль гряды Курил.
Здесь плавал Лаперуз и Беринг.
Наш боцман трубку закурил...
И вечер скрыл от взоров берег.

ТАТУИРОВКА

Я смотрю на боцмана Петрова,
Притая насмешку и восторг.
Кем, в каких портах татуирован
Он от головы до самых ног!

Боцман, «выражений» не жалея,
Говорит мне, ус седой грызя:
— От Чифу до Рио-де Жанейро
Оставляли память мне друзья.

В Сингапуре я с дружком старинным
Встретился, и камбузный пират
Наколол мне за бутылку джина
С парусами вздутыми фрегат.

Здесь дракон хвостатый, шестиглавый,
И, как в старой сказке, — шестикрыл.
Мне дракона уроженец Явы,
Кажется, в Сабанге подарил.

Видишь ты, вот здесь работы тонкой
Возле сердца колотый портрет
Озорной смеющейся девчонки...
Я ее не видел много лет.

... Он ушел. А я стоял у трюма,
Вслушиваясь в ветра тонкий свист,
И с насмешкой и восторгом думал,
Как наш боцман ярок и цветист.

Рыбы, чайки, флаги и фрегаты,
Женщины, драконы, якоря...
Стенд ли это выставки богатой
Или просто роспись дикаря?

А. Крачковская

ЛАВАНДА

Рассказ

Солнце отражалось в листе серебряной бумаги, вклеенной в американский парфюмерный журнал. Бумага блестела, как отшлифованный металл. Рекламные буквы дробили серебро, они предлагали лучшее в мире сырье для косметики.

Статья — «Роль ароматов на шабашах». Неплохо сложенная ведьма, сидя на помеле, натирается душистыми мазями. На обороте: человек, собранный из кусков машин, склепанный, завинченный гайками, поднял железные нарезы глаз на железную рождественскую елку, — проволочная, резко подрубленная щетка, вероятно, грязная — ведь она для чистки — чего? Пушек, что ли? Формой подогнана к жерлу.

Я отодвинула журналы. Зайчик с серебряного листа пронесся по нашему легкому небу, по зеленой траве, вернулся в комнату, проскользнул по книжным полкам. Дверь открылась, в читальню вошел Константин Степанович. Зайчик попал в его белые волосы, они засветились.

Зайчик дрожал в волосах — у Константина Степановича подрагивала голова и тряслись руки. Он побывал на войне.

Библиотекарша дала ему книгу, он должен был расписаться. Он хотел взять карандаш, но руки вздрагивали, библиотекарша любезно улыбалась и ждала, потом догадалась, улыбнулась добрей, легко и просто придержала его руку и вложила карандаш в пальцы.

Он расписался. С линеек бумаги падали надломленные в загибах буквы, и каждая линия — зубчиками.

Он подошел, держа прозрачные, тонкие исписанные листки.

— Видите? Ролэ прислал рукопись статьи о мяте.

— Даже рукопись? Вот молодец! — Я потрогала трепещущие в его руке легкие листки.

— А мята из Парижа еще не пришла?

— От Вильморена? Жду со дня на день. — Он ушел.

Я взяла только что полученный французский журнал. В Америке лечат эфирными маслами, больше всего — лавандным. Вылечивают застарелые язвы и гангрену, и укусы тарантула стали неопасными.

Лаванда излечивает! А ее считали бесполезным и сентиментальным благоуханием — для добреньких девушек из английских романов. Вон она лиловеет на краю поля. Ей положено расти в Провансе, в Крыму —

на юге, но она выносит и здешние подмосковные зимы. Только темнеет под снегом.

Вошел сотрудник треста эфирно-масличного сырья. Он посмотрел на мои журналы и спросил:

— А это поймете? — И протянул почтовую открытку.

В институт часто приходили журналы и письма из-за границы. Я привыкла к роскошным с металлическими застежками конвертам, двойным и даже тройным, с адресом за прозрачным окошком из кальки. А эта — странно — совсем такая, как у нас, открытка, и надпись, как на наших — Carte Postale.

В уголке марка, — женщина во вьющихся одеждах — та же, что до войны, — и также не шагает, а перебирает босыми ногами в пустоте.

Адрес. С линеек падают надломленные в загибах буквы — и каждая линия — зубчиками.

— Он старик? У него дрожат руки?

— Да. Он старик.

— Он пишет о лаванде. Но я не все понимаю. Если допустить, что грамматическая ошибка, — это слово было бы корабль. Но не может же профессор писать с ошибками.

— Может. — И он ответил на мой изумленный взгляд: — Он не профессор. Он сапожник.

— Он пишет, что вот — июнь, и корабли идут прямым рейсом из Марселя в Одессу. И что лаванда цветет, и что он нашел кусты с особенным запахом, что он выслал черенки.

— Уже выслал? Вы их получите. — Мы дали ему адрес института, чтоб прислал прямо вам.

— Так это скоро. Я пойду готовить ящики. — Я положила открытку в карман и пошла в теплицу.

Я достала плоские мелкие ящики. В них я недавно растила лаванду. Начеренковала осенью, и всю зиму они простояли в теплице, серые и жесткие. Мне говорили: «Выбросьте. Не растут ведь». Но черенки не ломались от сухости и не гнили. Я ждала. К весне они выпустили беловатые листочки, постепенно ожили, сделались гибкими и зелеными.

Тем, которые прибудут, я все приготовила сама, — положила в ящик земли, разровняла и присыпала прокаленным песком, чтоб не было гнили, чтоб не завелись болезни.

Я иду по широкой дороге опытного участка.

По бокам — высокие кусты, они цветут. Они качаются, и запах разносится неровными волнами. Чистый — без пыли — ветер летит в лицо. Небо блестит и слегка колышется.

Я опустила руку в карман и нашла открытку. Вот — неожиданный друг!

Как он узнал адрес треста? Как началась переписка? Да не все ли равно! Важно, что друг.

...Я не бывала в Провансе, и, может быть, мои представления ошибочны.

Он сидит у себя в хижине на низеньком табурете, держит колодку между колен — подошвой, подбитой железом, кверху и затягивает кожу. Он колет трехгранным, загнутым, как месяц, шилом. Он вощит дратву и всучивает в ее кончик щетину. Теперь ее нужно провести сквозь проделанный шилом ход. Но руки дрожат и не подчиняются. В тазу мокнет кожа для подошвы. Он вырезает ее. Острый нож прыгает в неподчиняющихся руках! Осторожней!

Он кончает работу, идет в горы.

Кусты лаванды разбросаны среди валунов и булыжников, — лиловые колосья касаются колен. А вот синие — другого оттенка. Он различает их по цвету, по форме колосьев, по запаху. Он улыбается, он думает о нас. Он срывает лаванду, он вдыхает ее запахи и оценивает их. Он выбирает лучшие для нас.

Плотное синее небо стоит над его головой. Иногда в промежутках между скалами показываются полосы моря. Оно синее и сливается с небом. Кажется — небо, и вдруг по нему проходит пароход, маленький, медленный и бесшумный.

Я шла и обдумывала ответное письмо.

Вот и лаванда.

В институте здешнюю лаванду не ценят и научной работы с ней не ведут. Ею просто обсадили участок — для красоты. Дегустаторы утверждают, что аромат подмосковной лаванды слабее, чем на юге, — для духов не годится.

А я и такую люблю.

Она пахнет спокойно и прочно. Пахнут листья и стебли, а больше всего — соцветья. Я люблю класть лаванду в платки. Она высохнет, шуршит и ломается, — но пахнет сама и отдает запах платкам.

Я и смотреть на нее люблю — широкие правильные кусты с лиловыми цветами и сероватыми листьями.

Над ними порхают белые бабочки. А вот голубенькие, осыпанные серебряной пыльцой. Легкие, хрупкие бабочки! Красивые. А от них потом на листве — шершавые гусеницы или в земле — личинки в прозрачной, как целлофан, кожуре. Черви слащавого цвета ползают по листве, по корням; я бы их всех уничтожила.

Я задержалась во дворе, под окнами своей комнаты. У меня там посажена лаванда — та самая, которую я вырастила из черенков.

Я сажала ее в дождь. Волосы обвисли, пальто пахло мокрой шерстью, но я не торопилась — ждала, чтобы земля в каждой ямке хорошенько промокла. Я подсыпала лесной черной земли, делала ямку побольше, расправляла нежные влажные корни, чтоб им было удобно, чтобы легко пробираться вглубь.

Я кончила. Небо к этому времени посветлело. Появилась радуга.

Листья заблестели, как весенние. На лаванде повисли капли, точно она давно здесь растет.

Потом кустики болели. Поникали, обмякшие и беспомощные, каждый листок бессильной опадающей дугой. Но я их выходила — они поднялись, отвердели. Только один кустик погиб — на нем были гусеницы мерзкого цвета.

Вечером я писала письмо.

Окна были раскрыты в темноту и ночную теплынь.

Слова чужого языка ложились слишком легко. Я старалась преодолеть эту легкость, чтобы сердечность пробилась сквозь готовые формы.

Ответ пришел скоро.

Я разорвала конверт, и на мои ладони просыпались семена лаванды. Они — темные, блестящие и граненые, как мелкий бисер. Они выскакивали, рассыпались, я с трудом подбирала их кончиками пальцев.

А у него дрожат руки. Как он?

Он спрашивал, была ли я на выставке в Париже. Он был — и видел, как «юноша и девушка скрестили в высоте сверкающие серп и молот». Он писал о кораблях в Марселе. И что он приветствовал наш красный флаг на корме.

Письмо было недосказанное и печальное, — он несколько раз возвращался к отплывающим в Одессу кораблям.

Я понимала: ему хочется к нам.

Два ящичка из Франции пришли вместе.

Мы с Константином Степановичем перенесли их в теплицу, чтобы сейчас же пересадить растения в землю.

Константин Степанович пытался вставить топорик в щель под крышкой. Я сказала, что это, вероятно, мой ящик, и взяла у него топорик.

Из-под приподнятой крышки запахло зубным порошком и лесом после дождя — мокрым мхом. В ящике были совершенно свежие упругие корневища мяты, умело — специалистами — упакованные в мокрый мох.

Я потрогала мяту с любопытством — парижская.

— Ну, ее можно прямо в парники, — но Константин Степанович ждал, — а что в другом ящике?

Я поддела тонкую крышку, прибитую короткими сапожными гвоздиками. Под крышкой лежали тряпочки с желтоватыми подтеками от высохшей воды. Я поднимала их слой за слоем, — они были все сухие. И черенки тоже.

Длинные цветочные чашечки — голубые наверху, серые у основания. А самые цветы — сморщенные, неразличимой формы, светлокоричневые, прозрачные.

Француз срезал цветущие ветки. Ему хотелось, чтобы они пустили корни и сейчас же цвели. Чтоб скорей. А они не прорастут. Никогда!

Константин Степанович осторожно прикоснулся к моей руке, но понял, что мне хочется спрятать подальше огорченное лицо, и смущенно сказал:

— Ну, я пойду сажать мяту в парники.

— Я тоже хочу. Я помогу. — И я прикрыла ящичек с лавандой.

Потом я унесла ящичек домой.

Белые веточки пахли, как мои носовые платки. Запах не исчезнет, пока останется хоть одна голубая чашечка.

Я не хотела огорчать нашего друга. В тот же вечер я отправила ему письмо:

«Спасибо!» — и описала, какими свежими черенки пришли «Кстати, — вставила я, — лучше и проще обертывать их мокрым мхом». Письмо кончалось рассказом о том, как хорошо черенкам в теплице.

Переписка продолжалась. Выдумка вырастала от письма к письму. Я писала, что черенки выпускают новые листки, и что цветы совсем распустились.

Я смотрела на кустики лаванды под моим окном и писала: «ваши черенки». Его ответы были полны радостью и благодарностью за мою ложь. Он писал, что уже приготовил мох для следующей партии черенков, и о кораблях, что идут прямым рейсом из Марселя в Одессу.

Я видела — он стоит, за ним тяжелое, темное марсельское небо. Ветер летит к морю из-за его спины. Его белые волосы трепещут, и кажется, что это от ветра, а не потому, что дрожит голова.

Он смотрит, как разворачивается пароход, как он медленно отделяется от пристани. Сначала — издали чуть заметная щель — еще можно перескочить. Потом шире и шире — и сразу пропасть. И борт в высоте, над водой. Наш флаг повернулся к родине — и отходит быстрей и быстрей, домой.

Он стоит и машет взволнованными неподчиняющимися руками.

Я вижу: наш моряк замахал в ответ бескозыркой, и ленты закрутились вокруг рукава.

Е. Ашурков

ПО СТЕПЯМ МОНГОЛИИ

(Из дневника врача)

«По существующему между СССР и Монгольской Народной Республикой договору о взаимопомощи, мы считаем своей обязанностью оказывать Монгольской Народной Республике должную помощь в охране ее границ. Мы серьезно относимся к таким вещам, как договор взаимопомощи, подписанный Советским Правительством. Я должен предупредить, что границу Монгольской Народной Республики, в силу заключенного между нами договора о взаимопомощи, мы будем защищать также решительно, как и свою собственную границу».

Это предупреждение по адресу Японии, высказанное тов. Молотовым в его докладе на третьей сессии Верховного Совета СССР, является подтверждением и развитием известного заявления товарища Сталина американскому журналисту Рой Говарду:

«В случае, если Япония решится напасть на Монгольскую Народную Республику, покушаясь на ее независимость, нам придется помочь Монгольской Народной Республике... Мы поможем МНР так же, как мы помогли ей в 1921 году».

В последнее время советские войска, борясь вместе с частями монгольской народной армии, доказали японским агрессорам, что руководители советского народа на ветер слов не бросают. Японская военщина жестоко поплатилась за свою авантюру у границ МНР...

Советский народ с живейшим вниманием следит за тем, что происходит на далекой монгольской границе. Естественно, что интерес советских людей к этой дружественной нам стране сейчас еще более возрос.

Нас связывают с революционной Монголией давние узы братской дружбы, родившейся в героических боях 1921 года, когда русские рабочие и крестьяне помогли монгольским аратам изгнать из пределов страны врагов и заложить основы народно-революционного демократического правления.

Тогда, как и теперь, к Монголии протягивал свои жадные лапы японский спрут. Японская разведка подкупала монгольских князей и духовенство, японцы засылали в Монголию белогвардейские банды Семенова и Унгерна, собираясь превратить эту обширную и богатую страну в свою колонию.

Тогда, как и теперь, на помощь монгольскому народу пришли рабочие и крестьяне Советской страны. Бойцы Красной армии помогли народно-революционной армии очистить свою землю от наемников японского империализма. Тогда была создана Монгольская народная республика. При братской бескорыстной помощи Советского Союза МНР, создавая условия для своего особого некапиталистического пути развития, добилась больших успехов во всех областях жизни страны — в хозяйстве и культуре.

Основой хозяйственной жизни Монголии является животноводство. Народная власть значительно развила его, и поголовье скота сейчас достигает 25 миллионов голов. Только после революции в стране началась развиваться промышленность, которая в настоящее время уже насчитывает ряд крупных предприятий: промышленный комбинат в Улан-Баторе, кожевенный завод в Алтан-Булаке и др.

Крупные сдвиги произошли в развитии национальной культуры и просвещения. В стране теперь существуют сотни народных школ с тысячами учащихся, тогда

как до революции не было ни одной светской школы. Полная революция произведена в здравоохранении, которое вырвано из невежественных рук лам — знахарей. Развивается печать, книгопечатание, искусство.

До 1925 года части Красной армии по просьбе правительства МНР оставались на монгольской территории. Когда они покидали страну, правительство МНР обратилось в Наркоминдел с письмом, которое нельзя читать без волнения:

«Правительство от лица всего монгольского народа, с величайшим удовлетворением и признательностью отмечая незабвенные заслуги Красной армии перед монгольским народом в деле его освобождения от гнета разбойников, вступления на путь свободного современного культурного, экономического и правового развития и подлинного народовластия, просит Вас передать рабочим и крестьянам героической и единственной в мире Красной армии, ее руководящим органам и правительству Вашей страны великое спасибо монгольского трудового народа и уверение в вечной признательности и неизменной дружбе.

Монгольский трудовой народ и его правительство считают, что отныне народы Союза и нашей республики связаны неразрывной общностью судьбы, интересов и великих идей подлинного народовластия, и в дальнейшем жизнь обеих республик будет протекать в искренней дружбе и взаимной поддержке в трудных моментах вообще. В частности же народ и правительство нашей республики твердо верят в помощь Союза и Красной армии, если, паче чаяния, наступят условия, аналогичные с теми, которые наблюдались в 1921 году».

Монгольский народ в своей уверенности не ошибся...

Среди другой, Советский Союз оказывал и оказывает МНР помощь культурными силами. Советский врач Е. Ашурков долгое время работал в Монголии, участвуя в подготовке национальных медицинских кадров, помогая развитию дела здравоохранения и внедрению научной медицины. Печатаемый дневник врача Ашуркова, написанный им во время путешествия по Монголии, богат наблюдениями и характеристиками жизни и быта страны и представит несомненный интерес для наших читателей.

Наиболее подкупающее качество дневника тов. Ашуркова — теплое братское чувство симпатии к монгольскому народу и его творчеству новой жизни. Этим чувством согреты краткие бесхитростные записи советского врача.

---

29 мая 1937 года.

Просторная, как степь, центральная площадь Улан-Батора — города Красного Богатыря. От площади веером расходится десяток улиц и переулков. Все виды транспорта скрещиваются на площади. Смирный ослик везет бочку с водой и загораживает дорогу роскошному восьмицилиндровому «форду». Монголка на мужском велосипеде догоняет молодого арата[1], едущего верхом на верблюде; парень это замечает, и вот они уже мчатся наперегонки. Бесконечно длинный караван быков перерезает площадь и на несколько минут приостанавливает все движение. Визгливый скрип колес многих сот деревянных телег доносится до окраин города. В дни парадов здесь появляется новый вид «транспорта» — танки. С грохотом проносятся они по пыльной площади. К слову сказать, японцам очень не понравились эти средства передвижения... Разумеется, когда они находятся в руках монголов. Но монголы танками довольны: с ними спокойнее.

За последние годы центральная площадь Улан-Батора украсилась постройками, олицетворяющими новую Монголию.

Серое двухэтажное здание с радиомачтами на крыше — Дом правительства. Здесь работают председатель совета министров, председатель Малого Хурала, министры здравоохранения, юстиции и другие руководители Монгольской народной республики. Рядом помещаются Центральный комитет Монгольской народно-революционной партии, редакция «Унэн («Правда») и министерство просвещения. Дальше — педагогический техникум, готовящий

[1] Арат — пастух, скотовод.

учителей для начальных и средних школ. Круглое здание, похожее на гигантскую юрту, занято государственным краснознаменным театром. В садике перед театром воздвигнут скромный памятник вождю монгольской революции — Сухэ-Батору, отравленному в 1923 году ламами.

Несколько наискось высится Дом связи. В стране, с территорией в полтора миллиона квадратных километров, на которой могли бы поместиться Англия, Франция, Германия и Италия, вместе взятые, радиосвязь — жизненно-необходимое дело. Невидимыми, но прочными нитями связана столица со всеми аймаками[1]. Не нужно теперь мчаться на лошадях, меняя их на каждом уртоне[2], чтобы сообщить из Кобдо в Улан-Батор срочное известие. Почти рядом с почтой — большой особняк Монголкино.

Сегодня площадь оживлена больше обычного. Она пестрит множеством замысловато разрисованных майханов[3]. В 12 часов дня назначена проверка готовности агитбригад ЦК МНРП к выезду в отдаленные аймаки страны. В этом году впервые практикуется широкая посылка агитбригад. Их цель — разъяснять широким массам аратства решения ЦК МНРП и правительства, развивать художественную самодеятельность, вести культурно-просветительную работу. Для оказания медицинской помощи населению и проведения санитарной пропаганды в каждую бригаду включен врач.

Бригада, в которой придется работать мне, едет на запад, в самый отдаленный аймак — Убсанорский.

3 июня.

Из Улан-Батора мы выехали в 5 часов дня. Члены бригады разместились на двух грузовиках, сзади шел «пикап» с кинопередвижкой.

[1] Аймак — область.
[2] Уртон — приблизительно 30 километров.
[3] Майхан — палатка.

Мы не могли сказать, когда вернемся в столицу — монгольские дороги длинны и коварны. Можно, как выражаются здесь шоферы всех национальностей, «загнуться» на каком-нибудь дабане[1], и сколько придется проторчать на нем — никому неизвестно. Поэтому провожающим мы говорили неопределенно:

— Пока! До осени!

Участники нашей агитбригады — учителя и учащиеся педагогического техникума, певцы, музыканты, декламаторы, физкультурники. Большинство — ревсомольцы[2], трое — члены народно-революционной партии.

Перегруженные машины выбрались из города. Сидеть пришлось высоко над бортами — очень много места занимал груз.

Музыкальные инструменты, кипы книг, четыре больших ящика с медикаментами, реквизит для инсценировок — все это горой возвышалось на машинах.

Каждый из нас запасся седлом. В Монголии это обязательно. Всякий, кто едет в худон[3], берет с собой седло. Это так же привычно, как портфель для нашего работника. В любом становище вам дадут лошадь, но седло вы должны иметь свое.

...Проехали мимо высоких белых зданий промкомбината. В долине реки Толы в 1934 году выстроено первое крупное промышленное предприятие МНР. По соседству с ним возвышается, покрытая облаками, священная когда-то гора Богдо-ул. Священная потому, что там иногда изволил отдыхать и развратничать духовный и светский властелин Монголии Богдо-геген. Ныне на этой горе уланбаторские ревсомольцы выложили из белых камней многометровый государственный герб Монгольской народной рес-

[1] Дабан — горный перевал.
[2] Ревсомольцы — члены революционного союза молодежи.
[3] Худон — периферия.

публики. Его видно за несколько километров.

Промышленные корпуса комбината окружены двухэтажными домами для рабочих и мастеров. Дома европейского типа, благоустроенные и удобные. Часть рабочих живет в юртах, в беспорядке рассеянных вокруг комбината. Летом араты подкочевывают сюда, чтобы поближе познакомиться с промкомбинатом, посмотреть на диковинные машины («машан») и на свою, отечественную продукцию: обувь, сукно, войлок, кожу. Некоторые, иногда из простого любопытства, остаются работать. Вчерашний кочевник становится слесарем, вовлекается в революционное соревнование. Не все, конечно, легко переносят переход от степной жизни к точно нормированному труду; некоторые опять уходят к своему стаду, но немалая часть оседает прочно.

До революции промышленности в Монголии совершенно не было, а в прошлом году промышленная продукция составляла уже 18 миллионов тугриков [1]. На предприятиях МНР работает около 4 тысяч человек, десять лет назад их было только 225.

Мы остановились на ночлег в 9 часов вечера возле юрты тестя нашего бригадира. Не успели мы расставить майханы, как был зарезан и освежеван баран. До этого мне не приходилось видеть, чтобы один человек буквально в течение нескольких секунд мог справиться с бараном. Главное — надо быстро попасть ножом в область сердца и рукой надорвать крупный сердечный сосуд. На земле не остается ни одной капли крови.

С большим аппетитом поели мы у костра баранину с лапшой. Из темноты неслось ленивое блеяние овец. Пахло дымом и степью.

5 июня.

Приехали в город Цецерлик — центр Арахангайского аймака. Остановились на окраине. Туча ребятишек мигом облепила наши грузовики. Вначале они только смотрели, а затем осмелели и принялись деятельно помогать в установке майханов.

Окруженный с трех сторон шапками гор-скал город выглядит чрезвычайно живописно. Белые одноэтажные домики огорожены палисадниками. На главной улочке расположились магазины Монценкоопа, китайские лавочки, парикмахерские, столовые.

У входа в парикмахерскую группа китайцев азартно играла в шашки. Шашечная доска по размеру напоминала обеденный стол. Парикмахер-китаец с видимым неудовольствием оторвался от игры и с неостывшим еще азартом принялся править бритву. Намыливал и брил он меня несколько раз, проявив при этом большую смелость и решительность. Признаться, я опасался за целость крупных кровеносных сосудов, не говоря уже о мелких. Хотелось сказать «довольно!», но когда бритье окончилось, сказал «еще»: неудобно же выходить из парикмахерской полувыбритым. Едва закончив бритье, парикмахер снова присоединился к играющим.

Вечером мы показывали картину «Сын Монголии». Местный клуб был набит битком. Многие приехали из ближайших кочевий. Стреноженные лошади стояли тут же во дворе. Зрители живо реагировали на приключения Цевена. Шумными аплодисментами, свистом и криками встречено было освобождение героя из японо-манчжурского плена.

7 июня.

Утром я отправился в больницу. Здание ее буквально утопает в зелени. Я застал возле больницы большую группу монголов, ожидающих приема. Все больные, в том числе и тяжелые, приехали верхом. В узких, неудобных седлах они чувствуют себя совсем не плохо. Главный врач ознакомил меня с больницей. В одной из палат обратила на себя внимание молодая исху-

[1] Тугрик — 1 руб. 33 коп.

давшая женщина с легким румянцем на бледных щеках. Огромной благодарностью, необыкновенной теплотой засветились ее большие, чуть скошенные черные глаза, как только она увидела врача. Она попала сюда не совсем обычным путем.

Недели две назад, поздно вечером врачу сообщили, что в юрте, недалеко от города, умирает женщина. Никто из родных больной врача не приглашал, но это его не останавливало, и он поспешил в юрту. На грязной подстилке лежала женщина, вся в крови, мертвенно-бледная, без пульса. Она родила днем, а послед все еще не отходил. Ламы решили, что женщина все равно умрет, и предложили родственникам вынести ее из юрты: трупов ламы боятся. Умолкли трубы, затихли барабаны. Еще несколько минут — и женщину отнесли бы далеко в поле, на верную смерть. Подоспевший врач быстро натянул халат, засучил рукава, обильно обмыл руки спиртом и взялся за ручное отделение последа.

Выздоравливая, Арья-бал попросила врача дать ребенку русское имя. Сына назвали Борисом.

Вот еще один случай.

В течение двадцати лет лама из соседнего монастыря не мог ходить. Врач предложил настоятелю монастыря перевезти больного в больницу. Настоятель согласился, скрывая насмешливую улыбку:

— Берите.

Каково же было удивление населения, когда через несколько месяцев лама вышел из больницы. К тому, что он не мог двигаться, привыкли так, как привыкли к защищающим город скалам. И вдруг этот человек идет. Сам! Своими ногами! Толпа народа провожала ламу до его жилья. Его щупали, всматривались в лицо, подозревая подмену, недоуменно разводили руками. Но больше всех изумлялся происшедшему сам лама. Он часто останавливался, хлопал себя по ногам, стучал ими о землю и вприпрыжку шел дальше. В больнице он пытался броситься врачу в ноги, поцеловать его руки. На все расспросы любопытных он отвечал:

— Сайн доктор! Ихэ сайн доктор! [1]

Можно предположить, что настоятель не встретил выздоровевшего ламу с распростертыми объятиями.

Такие эпизоды лучше всякой агитации повышают авторитет европейской медицины.

Иногда бывает очень трудно вырвать больного из цепких рук лам. Брат одного монгола — почтового служащего, пятнадцатилетний ламенок, заболел тяжелой формой воспаления легких. Несмотря на настойчивые просьбы брата, больного из монастыря не отпускали. В темную ночь родственники пробрались в монастырь, выкрали ламенка и на руках принесли его в больницу. Положение врача было не из легких. Умри мальчик — и ламство не преминуло бы воспользоваться этой смертью, чтобы распустить грязные слушки о том, что мальчика уморили в больнице. Врач знал, что, принимая тяжело больного, он бросает вызов ламской «медицине».

Началась борьба за жизнь больного. По нескольку раз днем и ночью заходил врач в палату, тщательно проверял выполнение назначений, следил, как бы ламы не передали своих снадобий, состоящих из одурманивающих трав. Настоятель монастыря ежедневно от своих лазутчиков получал сведения о состоянии здоровья мальчика. Сведения поступали неутешительные: мальчик поправлялся.

После выздоровления ламенок в монастырь не пошел.

11 июня.

Наконец-то, выехали из Цецерлика. Я забыл упомянуть, что задержались мы из-за неисправности одного грузовика. «Загнулись».

[1] Хороший доктор! Очень хороший доктор!

За городом, по широкой зеленой долине, причудливо извиваясь, словно монгольские письмена, протекает Цецерлик-гол. Вскоре мы въехали в цветочное море. Какие-то синие цветочки росли прямо готовыми букетиками. Больше всего было ромашек, но не таких, как у нас, а фиолетовых. Как бы в испуге, расставили они длинные, острые, нежные лепестки. Воспользовавшись остановкой машин, мы соскочили и бросились за цветами. Засовывали цветы всюду: за воротники дэли, в береты, фуражки, в волосы и даже за голенища сапог. Внезапно рванул ветер, и наше цветное оперение сразу поредело. Порывы ветра становились все сильнее, все ожесточеннее, солнце спряталось, разразился ливень. Мы спешно укрылись брезентом, из-под прикрытия раздалось:

Эх, Дуна, Дуна, я,
Ревсомолочка моя.

Мы еще не дошли до последнего куплета песни, как стих ветер, дождь перестал и солнце снова ослепительно засияло.

Дорога прекрасна и отвратительна. Великолепны могучие кедры, широколапые сосны, цветущие кустарники, отвесные скалы. Но головокружительные подъемы и устрашающие спуски утомляют невероятно. Куда более приятно лететь над этими дорогами на самолете.

Незаметно подкралась ночь. На одном из поворотов фары осветили волчью парочку, спокойно стоявшую у дороги.

До станка было далеко, и мы расположились на ночлег у небольшого родника. Майханы ставить не хотелось — легли под открытым небом. Рядом с собой положили ружья. Волки не приходили. Впрочем, кто их знает, — мы спали мертвецким сном.

14 и ю н я.

Встали в 6 часов утра. Умывались и чистили зубы у реки Запхын. По дороге встретились две монголки с большими медными чайниками. Как они могли узнать о нашем приезде? Пригласили их в машину. Этого они только и ждали. Чтобы проехаться на грузовике, они не поленились чуть свет встать и несколько километров итти нам навстречу. Как только мы довезли их до юрт, они соскочили на землю и, громыхая пустыми чайниками, побежали к своим рассказать о случившемся.

В 2 часа добрались до станка Нор-могой (Озеро змей). В юрте для приезжающих Монголтранса все напоминает об автомобиле. Старая железная бочка из-под бензина пригодилась для устройства печки, покрышки защищают снаружи юрту от порывов ветра, куски камер заменяют дверные пружины. В Монголии железных дорог нет, и правительство усиленно развивает автомобильное сообщение. Сотни шоферов-монголов водят машины по дорогам своей страны, развозя пассажиров и грузы.

За Нор-могоем расстилалась ровная, словно искусственная, степь. Идеальная дорога, если бы не мелкие камешки, впивающиеся в покрышки.

Чем дальше на запад, тем чаще попадаются антилопы. Несколько раз перебегали они дорогу, чуть не задевая фары тонкими, нервными ногами.

15 и ю н я.

В старейшем городе Монголии Кобдо прежде всего бросаются в глаза огромные зеленые тополя, посаженные по краям улицы. Но ими, к сожалению, лесные богатства Кобдо и ограничиваются. Леса расположены далеко, и путь к ним преграждают труднопроходимые горы. Можно себе представить, чего стоит каждое доставленное сюда бревно. Немудрено, что постройка нового небольшого мостика здесь целое событие, о котором говорят и в айкоме партии, и в аймачном управлении, и в юртах, и на базаре. В городе даже ворота делают из листового железа. Топливом служит кустарник — колючая харгана.

Обедали в китайской столовой. Между двумя красными матерчатыми шарами — эмблема столовой — сохранилась жестяная многообещающая вывеска, возбуждавшая когда-то аппетиты русских купцов и приказчиков.

«Частная столовая.

Дешевые порции.

Хорошего качества».

Съев по две порции среднего качества, отправились осматривать город.

Ни в одном из монгольских городов, даже в самом Улан-Баторе, не увидишь представителей стольких национальностей, как в Кобдо. На небольшом клочке земли, сдавленном крутыми, мрачными скалами, поселились люди из одиннадцати разных стран. По запутанным узеньким переулкам медленно проплывают на двугорбых верблюдах дюрбеты, передвигаются одетые во все синее китайцы; у маленького окошка лавочки шумно и беззлобно торгуются чернобородые, загорелые узбеки. От пестроты нарядов, разноголосого, непонятного говора и удушливой жары кружится голова.

Контрастом плоским саманным хибаркам служит большое, недавно выстроенное здание клуба. Тут происходят партийные конференции, пленумы аймачного управления, устраиваются самодеятельные концерты, показываются кинокартины. Молодежь, да и старики заходят сюда посидеть, поиграть в шахматы, в шашки, послушать радио.

Рядом с клубом разместились и другие учреждения, характерные для современной Монголии, — школа, больница, телеграф.

Все это — свидетельство очень больших культурных сдвигов. Всего несколько лет назад чуть ли не всему населению Кобдоского аймака морочил головы жуликоватый лама, по имени Дамдин-Джамца. Желая показать свое могущество, он собирал толпу, брал в руки ружье, говорил, будто чувствует, что в нескольких километрах летает коршун, и стрелял в воздух.



Общий вид промышленного комбината в Улан-Баторе. В центре — электростанция комбината.

— Сейчас я убил его, — заявлял лама. — Поезжайте в ущелье «Трех братьев», найдите коршуна у родника и привезите сюда.

Несколько всадников мчались к ущелью и ко всеобщему удивлению привозили коршуна. Не удивлялся один лама: рано утром он подстрелил птицу и бросил ее в указанном месте.

Как видите, хитрость не ахти какая. Сегодня такой примитив не годился бы. Ламам приходится совершенствоваться.

16 июня.

В этот день нам определенно не везло. Не успели мы выехать из города, как в нашей машине из-под бочек с бензином показался дым. Всполошились не на шутку, но не растерялись. Открыли борт машины и вытащили дымящуюся тряпку. Решили больше в машине не курить. И действительно... часа два не курили.

Минут через десять «пикап» застрял в реке. Чуть ли не по пояс в воде вытаскивали мы машину.

В 35 километрах от города переправлялись на пароме через реку. Едва мы отъехали от берега, как шестнадцатилетний участник бригады Содном, засмотревшись на закат солнца, упал в воду. Быстрым течением его понесло вниз. Мы с Гурижапом успели подать ему длинный шест и помогли выбраться на берег.

Ночевали, как обычно, в степи. Луна, звезды, тишина, прохлада...

17 июня.

Приехали в Уланком. Здесь, в Убсанорском аймаке, будет работать наша бригада. Уланком, самый удаленный город от Улан-Батора, находится у западной границы Монголии. Он расположен значительно ниже Кобдо, всего 700 метров над уровнем моря.

Обедали в столовой аймачного клуба. Меню: рисовая каша с бараниной, лапша с бараниной и жареная баранина; к чаю — пирожки, ну, конечно, с бараниной.

Прямо перед клубом — огромная ровная зеленая площадь с гимнастическим городком, летней сценой, тиром и каменной трибуной. Пока мы обедали, нам поставили две юрты возле гимнастического городка, в тени деревьев. Одну из юрт приспособили для красного уголка.

Вечером, несмотря на усталость после длительного пути — мы проехали полторы тысячи километров, — пошли в клуб. Местный драмкружок ставил пьесу «Халхин Батор» (Халхасский богатырь») — о вожде народной революции Сухэ-Баторе. Афиш не было. Для оповещения населения о постановке или собрании в клубе служит небольшой станционный колокол. В вечерней тишине далеко разносится его звон, приглашая народ в клуб.

С трудом протиснулись в зал. Стены, потолки и деревянные колонны оклеены цветистыми обоями. Керосиновые лампы бросают желтый тусклый свет. Люди сидят на полу, и только перед самой рампой поставлены три ряда скамеек. Заведующая клубом — молодая, подвижная монголка в белом, кокетливо надетом, берете — объяснила мне, что скамейки не ставят потому, что хотят больше людей вместить в клуб.

— И потом, — добавила она, — многие наши араты еще не привыкли сидеть на стульях: на корточках им удобнее.

Мне и самому приходилось видеть степных монголов, которые быстро уставали, если сидели на стуле, на корточках же могли сидеть часами.

Национальный оркестр с примесью мандолин и гитар развлекал публику до начала спектакля. Начавшаяся постановка живо напомнила мне наши «волостного масштаба» спектакли первых лет революции: одна и та же декорация на протяжении всех восьми картин, воображаемый пожар, красноармейские шлемы с непомерно боль-

шими — в ладонь величиной — алыми звездами, нестреляющие или не вовремя стреляющие ружья. Общий стиль — декламационно-лозунговый.

Впрочем, уланбаторский краснознаменный театр, ставящий в этом сезоне такие пьесы, как «Мятеж» Фурманова и «Испанский священник» Флетчера, в начале своей работы не так уж сильно отличался от такого драмкружка.

23 июня.

Сегодня большой ламский праздник — бумба. Задача агитбригады — отвлечь население от монастыря. В 500 метрах от главных ворот храма бригада поставила два больших открытых майхана. Агитгруппа в 20 человек решила померяться силами с монастырем, насчитывающим свыше 500 лам.

Оркестр бригады заиграл монгольский национальный гимн. Словно в ответ, из монастыря раздались звуки труб и барабанов.

Постепенно к нашим майханам начал собираться народ. Первыми явились, конечно, дети. Потом некоторые из взрослых по пути в монастырь останавливались «на минутку», да так и оставались; другие успевали побывать и тут и там.

Наши физкультурники — Дугур-Сурун и Гоша — организовали детскую борьбу. Костюмы юных борцов отличались большим разнообразием — от трусиков до теплых дэли. Во всех движениях ребята старательно подражали взрослым: те же подпрыгивания, то же спокойствие, внезапно сменяющееся ожесточением. Победитель обнимает побежденного и вприпрыжку, размахивая руками, как орел крыльями, направляется к палатке, где ему насыпают в пригоршни несколько кусков сахара. Обычай требует: взять один кусок в рот, а остальные раздать присутствующим. Несмотря на сильное искушение съесть весь сахар, ребятишки следуют обычаю.

Борьба продолжалась более двух часов. Кольцо зрителей неизменно утолщалось. Затем начались выступления членов бригады: декламация, пение, танцы... Замечательным конферансье оказался работник местного айкома партии Цамба. Он так пришелся по вкусу, что при одном его появлении лица присутствующих растягивались в улыбки, а его шутки сопровождались громовым хохотом.

После обеда в гимнастическом городке начались игры в волейбол. Играло несколько команд. С большим трудом выиграла команда агитбригады у сборной Уланкома, состоявшей из начальника почты, переводчика больницы, продавца Монценкоопа, телеграфиста и студента медтехникума. Араты, приехавшие из кочевий на ламский праздник, с любопытством наблюдали за новой для них игрой. Когда они хотели подать игрокам мяч, он, словно нарочно, не давался им в руки, и они сами смеялись над своей неповоротливостью. В сумерках полет мяча больше угадывали, чем видели, но состязания прекратились только с наступленем полной темноты, когда мяч стал неразличим совершенно.

Перед киносеансом я провел беседу о венерических заболеваниях. В таких условиях выступать пришлось впервые: сотни людей, перед экраном плакат, освещенный прожектором, тихий рокот мотора, ржанье лошадей и пронзительные крики верблюдов.

28 июня.

Рано утром меня и еще двух участников бригады — учителя Цыденжапа и студента педтехникума Гошу — разбудил молодой краснощекий лама Тавк. По нашей просьбе он получил разрешение настоятеля на осмотр монастыря. За эти дни Тавк успел крепко привязаться к бригаде. Началось с волейбола. Ребята заметили, что он готов играть целый день. Разговорились с ним. Выяснилось, что родители у него умерли, живет он в монастыре с десяти лет. Хочет учиться. Тяготится без-

дельем. В бригаде отнеслись к нему внимательно, давали книги, вовлекали в игры, рассказывали о ревсомоле, об Улан-Баторе. Последние дни Тавк уходил к себе только спать.

Мы отправились в монастырь вчетвером. Во дворе к нам незаметно присоединилась группа лам. Постное благочестие выражали их жирные лица. В разговор наш ламы почти не вмешивались, но неотступно следовали по пятам.

У входа в храм выстроились, точно на параде, медные вертушки, испещренные тибетскими молитвами. По внешнему виду эти религиозные приспособления удивительно напоминают провинциальные тумбы для расклейки театральных афиш. Каждый проходящий верующий должен помолиться, т. е. толкнуть вертушку, чтобы она сделала несколько оборотов, этого достаточно; считается, что молитва отослана по назначению. С молитвенными флажками дело обстоит еще проще: ветер колышет полотнище и таким образом работает за молящегося. Просто и удобно.

Из яркого солнечного дня мы окунулись, в затхлый полумрак храма. С трудом привыкают глаза к неясным очертаниям. Во всю длину пола протянулись низкие деревянные скамьи для молящихся. В глубине стоят десять кресел, обитых желтой материей. Все кресла разной величины — в зависимости от ранга восседающих на них лам. Но все кресла одинаково грязны, как и другие предметы. За сиденьями, на круглом пьедестале, возвышается здоровенная фигура буддийского божества — Майдари — с большими, резко очерченными, плотоядно-лукавыми губами. По шестигранным столбам, упирающимся в крышу, извиваются темнозеленые змеиные туловища со звериными, оскаленными мордами. Черепа, хищные пасти, искаженные ужасом или сладострастием лица, многорукие и многоголовые чудовища смотрят со всех сторон. Много порнографических религиозных изображений — рисованных и металлических, — особенно в маленькой каморке с неугасимым огнем. Божки, молитвы и картины почти все фабричного стандартного производства.

Мы побывали на всех трех этажах храма. Гоша — он ревсомолец, физкультурник и музыкант — из всего виденного стоящим внимания посчитал кладовую с музыкальными инструментами, и в частности набор барабанов — от крошечного до барабана-гиганта. На длинной тесемке висело несколько флейт, сделанных из человеческих берцовых костей. Многометровые трубы еле вмещаются в кладовой. Одному такую трубу не поднять, носят ее втроем.

На верхней террасе один из молчаливых наших спутников обратился ко мне с вопросом. Что делать? Здание храма построено всего двадцать лет назад, а уже заметно покосилось. Нельзя ли как-нибудь задержать катастрофу?

Убедившись, что восстановления храма ожидать от меня бесполезно, лама все же решил как-то использовать мое пребывание.

— Дайте мне мази от хаму [1], —сказал он и протянул руку, думая, очевидно, что я не расстаюсь со столь необходимым лекарством.

Проситель вынужден был испытать второе разочарование — мази при мне не было.

С чувством облегчения вышли мы из храма под яркое монгольское солнце. Тавк повел нас к главной монастырской достопримечательности — чанам для варки чая. Среди них один — «семейный» — на 700 ведер. Нагревать такую махину начинают с вечера — сжигают несколько возов харганы, и только к утру чай закипает. Этот котел предназначается для больших праздников, когда нужно напоить чаем толпы молящихся. Если учесть подношения верующих, то получится, что за

[1] Хаму — чесотка.

пиалу чая монастырь получает барана.

Пригласил нас Тавк и к себе в келью. В досчатой клетушке помещался он и еще двое учеников—помоложе. Сам Тавк перерос уже ученичество, но до настоящего ламы еще не дорос. Он всячески старался нам угодить, сделать приятное. Чай он вскипятил почти из одного молока, достал откуда-то свежих пенок и борциков. Появились пиалы, подбитые серебром. С плохо скрываемой гордостью показывал Тавк свои тетради по арифметике и монгольскому языку. Тут же пожаловался, что школе отвели самое грязное и запущенное помещение в монастыре. Тавк знал, что правительство решило во всех монастырях организовать школы для обучения ламской молодежи монгольскому языку, но он не мог еще понять, что настоятелю невыгодно помогать распространению монгольской грамоты. Для богослужений нужен тибетский язык, его-то и вдалбливали ученикам старшие ламы. Араты не знают тибетского языка и не понимают ни одного слова в молитвах. Тем лучше. Это внушает уважение.

Вечером мы присутствовали на оглашении приговора над контрреволюционной группой лам. На скамье подсудимых сидело восемь человек. С циничным бесстрастием рассказывали они о своих планах. Цель — ликвидация народно-революционного правительства и присоединение к Японии. Средство — восстание, и как начало — убийство руководителей аймака. Короче говоря, все подсудимые — японские агенты.

Руководители контрреволюционной организации — Ендон и Агдамбу —приговорены к расстрелу. Первому из них 63, второму 55 лет. Они молча выслушивают приговор народа, не смея взглянуть в зал, где собрались те, кому они готовили участь рабов. У народа, испытавшего тройной гнет: князей, духовенства и купцов-ростовщиков, сочувствия им не встретить.

Этот процесс еще раз подтвердил, что в МНР — стране, закладывающей основы для постепенного перехода на некапиталистический путь развития, ламская проблема — острейшая и труднейшая. Надо вспомнить, что до революции в Монголии было 120 тысяч лам — треть взрослого мужского населения. Вряд ли можно назвать другую страну в мире, где бы имелось такое количество «старателей» религии. Влияние ламства было неограниченным. Они заменяли и медиков, и юристов, и ветеринаров. Только оценив роль ламства в прошлом, можно понять, почему не так быстро, как хотелось бы, уменьшается влияние лам на аратство.

29 июня.

К вечеру для нашей бригады пригнали 15 верблюдов и 20 лошадей. В дальнейшем нам предстояло двигаться по таким дорогам, что о грузовиках нечего было и думать.

Стали распределять лошадей. Процедура хлопотливая, если принять во внимание, что монголы не только ценители, но и любители хороших лошадей. Я подошел к своему низкорослому пегому коню, степенно помахивавшему длинным мохнатым хвостом. Киномеханик Джамца помог мне оседлать пегого приятеля и взобраться на него. Седло у меня не монгольское — узкое, твердое и высокое, — а так называемое казацкое. Дергаю за повод и ласково и тихо говорю: «но». Конь ни с места. Я еще раз «но». Никакого впечатления. Другие разъезжают по лугу, пробуя прыть своих лошадей, а я со своими «но», уже достаточно громкими и нервными, продолжаю топтаться на месте. Как быть? Слезть — неудобно, но и сидеть, как памятник, тоже не лучше. Секретарь айкома народно-революционной партии Загда, видимо, заметил мои затруднения. подошел и научил элементарному обхождению с монгольской лошадью. Оказывается, я со своим «но» мог просидеть до утра: монгольские лошади русского языка не понимают, им нужно сказать «чу».

Затем мы разложили все наше иму-

щество на тридцать равных частей. Верблюд должен быть нагружен равномерно с обеих сторон, иначе он быстро выйдет из строя. Погрузка закончилась поздно ночью, при свете костров. Перед рассветом тронулись в путь. На русско-монгольском языке пропели «Нас утро встречает прохладой».

30 июня.

Ехали без остановки до 8 часов утра. Пришлось сдавать первый зачет по верховой езде. Ребята пускали своих лошадей в галоп, и я волей-неволей несся за ними, так как моя лошадь не хотела оставаться в одиночестве. С моим мнением она не считалась.

Остановились отдохнуть в степи. По примеру других, я лег на высохшую землю, привязал поводок лошади к своему поясу и мгновенно заснул. Вот на такой привязи и пасся мой пегий, пощипывая вокруг скудную траву. Надежды на отдых не оправдались. Проснувшись, я почувствовал себя вконец разбитым. С трудом взобрался на седло.

2 июля.

Второй день находимся в Хайсатах, на месте кочевья первого бага[1] Малчин-сомона[2]. Очень высоко. В полдень, в теплынь, в тени палаток лежит снег.

С утра приехал секретарь местной партячейки. Попросил посмотреть больных детей. Со мной отправились мои постоянные спутники, немного знающие русский язык, — Цыденжап и Гоша. Ехали без дороги, карабкаясь с горы на гору. После спуска с некоторых круч я оглядывался назад и удивлялся: как это мы ухитрились спуститься. Впрочем, это заслуга отнюдь не наша. Монгольские некованые лошади способны взбираться и спускаться чуть ли не отвесно. Временами виднелось гигантское синее пятно, сливающееся с горизонтом. Это второе по величине озеро в Монголии — Убсанор. Казалось, до него совсем близко, а на самом деле — больше 100 километров.

Юрта секретаря партячейки находилась у подошвы лесистой горы. При нашем приближении из юрты вышла женщина, оттащила в сторону лежащую у входа собаку и села на нее верхом. Предосторожность не лишняя: близкое знакомство со злющим псом-великаном не предвещало ничего хорошего. Юрта ничем не отличалась от сотен других: земляной пол, высокие сундуки с замысловатыми китайскими замками, кожаные курдюки для простокваши и кумыса и в центре очаг.

Осмотрел детей. Они оказались здоровыми. Родители были разочарованы и даже немного обижены, что я не дал лекарств. Потом попросил осмотреть его секретарь партячейки, потом его жена, родственники и знакомые. Получился настоящий амбулаторный прием.

Возвратившись в лагерь, я нашел у своей палатки — она выделялась красным крестом — группу ожидающих больных. Как мне удалось выяснить, врача здесь видят впервые. Исключение составляют те, кто бывал в Уланкоме. Многие даже не знают, что означает столь распространенное слово «доктор», знают «эмчи» — лекарь.

Новости в Монголии распространяются чрезвычайно быстро. Монголу ничего не стоит проехать за 20—30 километров к знакомому «на пиалу чая».

К месту наших остановок обычно засветло съезжались араты — кто подлечиться, кто послушать новый доклад, музыку, посмотреть кино. Так и на этот раз. В самих Хайсатах всего несколько юрт, а возле наших палаток целый табун лошадей.

Перед майханом — красным уголком — разноцветными флажками огорожена площадка для выступлений членов агитбригады. В репертуаре бригады свыше пятидесяти номеров. Находчивость и изобретательность ре-

---

[1] Баг — становище, первичная административная единица.

[2] Сомон — район.



Народный дом в Улан-Баторе.

бят неиссякаемы, и они выступают два-три дня подряд не повторяясь. В перерывах между выступлениями организуются игры. Вот пожилой монгол в темной дэли с завязанными глазами медленно шагает, держа перед собой толстую суковатую палку. По условиям игры, он должен разбить тарелку. Стараясь итти прямо, он все больше уклонялся от цели. Подойдя к месту, где по его расчетам находится тарелка, он заносит высоко над головой палку и изо всей силы бьет ею по земле. Тарелка мирно лежит в двух шагах. Смущенный неудачник быстро сбрасывает повязку и спешит скрыться в толпе.

Невдалеке набрасывают кольца на вбитые в землю колышки. Возле каждого колышка — премия: мыло, зубной порошок, книжка, карандаш.

6 июля.

В Малчин-сомоне живут преимущественно дюрбеты. Наречие их несколько отличается от халхасского так же как и внешность, у многих маленькие черные усики и бородки. Халхасцы, если у них и появятся несколько волос на верхней губе, старательно выдергивают их специальными щипчиками.

Часов в десять утра, сидя в своей палатке, я услышал слова команды:

— Нег-хоир! Нег-хоир! [1]

Летняя школа пришла в строю на оспопрививание. Тяга к прививкам против оспы здесь исключительно велика. Многочисленные случаи заболевания оспой в памяти у всех. Неудивительно, что родители привозят детей за один-полтора уртона. Семи-восьмилетние ребятишки приезжают верхом, помещаясь на одной лошади с отцом или матерью; малюток доставляют на верблюдах в плетеных корзинках, по парочке в каждой.

Школьники не только сами соблюдают порядок, но и помогают навести его среди неорганизованной детворы,

[1] Раз-два! Раз-два!

ободряют трусишек, забавляют плачущих грудных детей.

После прививки оспы, бригада показала так называемый санитарно-просветительный номер. Под звуки патефона на площадку вышли восемь человек. Все они несли на руках по большому куску картона с нарисованным изображением какой-либо части тела. Выстраивались полукругом, и каждый из участников делал два шага вперед и читал советы, как надо ухаживать за своим телом. Эти наставления написаны шутливыми стихами. Такая агитация, доходчивая и остроумная, понравилась и ребятам, и взрослым, и старикам.

Гоша учил зрителей аплодировать. Многим это занятие пришлось по душе, и они били в ладоши чуть ли не беспрерывно.

Когда лучи заходящего солнца окрасили нашу долину в сине-оранжевый цвет, с окрестных гор стали спускаться стада овец. Они так густо заполнили склоны, что создавалось впечатление, будто массивы гор двигались, сползали вниз, грозя затопить долину. Разноголосое блеяние разносилось на несколько километров вокруг.

9 июля.

Последний день нашего пребывания в Цаган-Чулуне (Белый камень). Цаган-Чулун огражден скалами и труднодоступен. Сюда редко приезжают из аймака, газеты и новости доходят с большим опозданием. Бригада с воодушевлением поработала среди населения, большинство которого впервые в жизни увидело электрическую лампочку и удивлялось, что от нее нельзя прикурить.

Когда лагерь был свернут и верблюдов с грузом отправили по направлению к следующей остановке, мы поехали к юрте отца участника нашей бригады Гурижапа. По дороге меня перехватили. Надо было свернуть километра три в сторону, посмотреть больного. Я спросил, почему не приехали раньше. Брат больного замялся и ничего не ответил. Поехали Цыденжап и я.

В старенькой прокопченной юрте на кусках кошмы, укрывшись овчинами, лежал больной. Лихорадочным блеском светились в темноте глаза. Дышал больной часто и тяжело. Из запекшегося рта вырывались хрипы. На его шее висела тесемка с многочисленными амулетами — завшивевшими кожаными мешочками. Поговорив с Даши (так звали больного), мне стало понятным смущение его брата. Даши просил позвать врача, как только узнал о приезде бригады. Однако брат продолжал поить его отварами из ламских «задачек». Чувствуя, что болезнь усиливается, и узнав, что мы уезжаем, Даши решительно заявил:

— Сейчас же зови доктора или я сам поползу к нему.

У Даши мы задержались около часа. Приехав к отцу Гурижапа, мы застали пир в разгаре. Члены бригады и ближайшие родственники хозяина тесным кольцом сомкнулись вокруг сваренного барана. На столе вырастала гора удивительно чистых, словно отполированных костей. Дамба — отец Гурижапа — удовлетворенно поглаживал редкую седую бородку. Когда-то он был пастухом у феодала, а сейчас его сын занимает крупный пост в министерстве просвещения, а сам он — свободный человек.

11 июля.

Первый день работы в Хергас-сомоне. Это один из немногих сомонных центров, которые не кочуют. Хергас состоит из двух половин. Одну, бо́льшую, занимает известный монастырь Дэжелин с шестьюстами монахов. На другой половине — здание (не юрта, а именно здание) сомонного управления, амбулатория, магазины монгольского центрального кооператива, клуб, спортивная площадка, школа.

Несколько часов провел в школе. Занятия проводятся в новом здании,

школьники живут в юртах. Любовно разукрашен красный уголок. Ребята сами нарисовали портреты Ленина, Сталина, Ворошилова, Сухэ-Батора и Пушкина. Девочки развесили свои вышивки, преимущественно с изображениями животных. Два учителя — высокий, худощавый, с европейским лицом Сурун и коренастый Доксой — все свое время отдают школе. Как мухи мед, облепляют их школьники.

Произвел осмотр всех учеников. Ни одного случая чесотки не обнаружил. Теперь это меня уже не удивляет. Слухи о повальном распространении чесотки оказались неверными. Большой запас вилькинсоновской мази путешествует со мной почти нетронутым. Чесотка поражает главным образом монастыри, обитатели которых живут очень скученно и отличаются нечистоплотностью. Учителям Хергасской школы удалось приучить ребят к воде и мылу. Это немалое достижение, если вспомнить, что ламы запрещают мыться.

В большой юрте разместилась школьная столовая. Ребята с успехом действуют вилками — орудиями, совершенно незнакомыми их отцам.

Перед вечером 60 учеников — почти все они носят пионерские галстуки — проделывали физкультурную зарядку. Они маршировали под песни. Эхо в ущельях повторяло высокие, чистые, словно серебряные колокольчики, звуки. Некоторые мотивы показались мне знакомыми. Это были наши советские песни: «По долинам и по взгорьям» и «Полюшко-поле».

12 июля.

За день принял около 70 больных. Среди них — высокопоставленный лама Доржи. Он рассказал о своем знакомстве с академиком Владимирцевым, путешествовавшим когда-то в этих краях, о его граммофоне, произведшем на местных жителей сильнейшее впечатление. Лама Доржи, видимо, сильно гордится своим знакомством с академиком. Он и пришел-то специально для того, чтобы рассказать об этом.

Из Цаган-Чулуна приехал брат Даши. Он привез и отдал мне две кожаные сумочки с ламскими снадобьями и круглую медную ложечку для отмеривания лекарств.

— Это тебе, — сказал он. — Даши велел передать. Он просил еще дать ему русских порошков. Ему стало лучше. Ламу мы выгнали.

Он немного помедлил и вытащил изза пазухи круг свойского сыра, завернутый в тряпку. По монгольскому обычаю, я протянул обе руки и принял подарок. Пиала, наполненная кумысом, и коробка папирос были моим ответом.

Из Улан-Батора я захватил полторы дюжины комплектов детского белья — «приданого». Хотелось не просто отдать белье какой-нибудь матери, а разъяснить и ей, и другим матерям его назначение. Надо иметь ввиду, что согласно ламским указаниям, детей не только мыть, но и стричь до трехлетнего возраста нельзя. Ламские предрассудки преследуют верующего не только от первого до последнего дня жизни, но еще до рождения. Одна женщина меня уверяла, что беременные не должны здороваться — через соприкасающиеся руки они могут поменяться детьми. Вот если между здоровающимися лежит лошадиный помет, тогда обмена не произойдет.

В перерыве между выступлениями бригады мы передали молодой матери комплект белья. Увидев такое количество рубашонок, пеленок, распашонок, подгузников, женщина растерялась, не зная, что с ними делать. Учительница Норжима, единственная мать из членов агитбригады, помогла разобраться во всем этом разноцветном ворохе и надела на ребенка голубую распашонку. Две сотни зрителей жадно следили за каждым движением Норжимы. Ребенок на глазах преображался, становясь все более и более отличным от других детей. Женщины внимательно рассматривали нехитрый покрой дет-

ских принадлежностей, чтобы самим сделать такое же белье своим детям.

13 июля.

Многие женщины, бывшие у меня на приеме, спрашивали:

— Можно ли мне шить?

Сперва я не придавал этому вопросу какого-либо значения и просто отвечал, что можно. Потом я спросил у одной больной: почему она боится шить?

— Ламы говорят, что иголка острая и еще больше «вострит» болезнь, — ответила женщина.

Выйдя из палатки, я увидел больше десятка сбившихся в кучу овец. Это подарок арат бригаде. Что делать с этой живностью? Посовещавшись, решили передать подарок в фонд обороны страны. Через некоторое время, когда араты об этом узнали, количество скота возле наших палаток увеличилось больше чем втрое. Араты любят свою народно-революционную армию, мужественно проявившую себя в стычках с японо-манчжурами. Рассказы о смелости и находчивости цириков передаются из уст в уста.

Не так давно крупные японо-манчжурские части попытались вторгнуться на территорию Монгольской народной республики. На одном из пунктов наблюдатель заметил в бинокль, как какая-то женщина подъехала верхом к телеграфному столбу и перерезала провод. Сделать это было ей нетрудно — ночью выпал глубокий снег. Женщина, видимо, была хорошо инструктирована: она перерезала провод с двух сторон, наматывала его в круг, забирала с собой и ехала к следующему столбу. В это время вблизи пункта опустился самолет. Наблюдатель быстро подбежал к самолету и сообщил летчику о случившемся. Не поднимаясь в воздух, летчик по снежному аэродрому погнался на самолете за женщиной. Шум мотора испугал лошадь, она метнулась, и женщина выскочила из седла, угодив головой в сугроб. Летчик подрулил машину и заставил перепуганную женщину сесть с собой. Позже выяснилось, что один лама — японский шпион — приказал верующей монголке перерезать провода, по которым, как уверял он, связаны между собой злые духи. Неграмотная набожная женщина не посмела ослушаться ламского приказания, продиктованного, как ее уверили, самим богом.

Часа в четыре сомонный дарга[1] Хайнзан — он недавно демобилизовался из армии и носит еще военную фуражку — пригласил бригаду на прощальную беседу. Всеобщим уважением пользовалась пожилая монголка — мать девяти сыновей. Все ее сыновья находятся на государственной службе: один — ветфельдшер, другой — сомонный дарга, третий — командир народно-революционной армии и т. д.

Девушки блеснули мастерством в исполнении национального танца «быйлик». Медленные, ритмичные движения отдаленно напоминают начало лезгинки. Танцовали девушки под аккомпанемент народного инструмента «морин тологой» («лошадиная голова»). Предание говорит, что впервые гриф этого инструмента в виде лошадиной головы и струны из конского хвоста сделал какой-то монгол в память погибшего любимого коня.

Хергасцы дали нам новых лошадей, и перед вечером мы отправились в дальнейший путь. В дороге к нам пристал бродячий лама. Замусоленная желтая перевязь — «орохомчи» — из прочной далембы покрывала его потрепанную дэли. На голове чудом каким-то удерживалась плоская широкополая шляпа. Он из той породы монахов, которые большую часть года проводят в разъездах от юрты к юрте. Они занимаются лечением больных, дают советы по вопросам семейной жизни и попутно разносят венерическую заразу. Иногда духовное начальство дает им ответственное поручение: подобрать из детворы перерожденца, в которого «пе-

---

[1] Да́рга — начальник, председатель.

ревоплотился» какой-нибудь умерший святой. В таких случаях подношения ламе бывают особенно щедрыми, его нужно задобрить, чтобы он мог замолвить словечко перед своим начальством. Подсчитав барыши и найдя их недостаточными, настоятель монастыря может объявить, что перерожденец не отыскался. История повторяется сначала. Ламы отправляются в новый поход.

Приставший к нам лама уверял, что он, если захочет, может вызвать дождь. Ребята смеялись и на «вызов дождя» согласились. Километров через двадцать остановились на ночлег. При свете карманных электрических фонарей собрали аргал (помет), развели костер и, напившись чаю, улеглись спать на кусках кошмы. Лама обещал дождь и с удовольствием смотрел на собравшиеся тучи.

А за ночь тучи рассеялись, и утро встретило нас прекрасной погодой. «Вызыватель» дождя чувствовал себя неловко. Желая как-нибудь оправдаться, он сказал:

— Мне стало жаль, что вы промокнете, и я передумал.

14 июля.

Приехали в Турун-сомон. Вдвоем с Дутур-Суруном поехали к озеру, он — поохотиться, а я — постирать белье. Из нашей затеи ничего не вышло. От первого неудачного выстрела утки улетели в более безопасное место, а вязкое дно помешало мне выполнить мое желание.

Вечером побывал в летней школе. Существует она на средства, получаемые от самообложения. До 1921 года во всей Монголии имелась одна светская школа на 50 человек в г. Урге (старое название Улан-Батора). Страна была сплошь неграмотная. Существующие ныне школы — 75 начальных с 4 тысячами учащихся, 8 средних с 800 учащихся, несколько техникумов и многочисленные кружки по ликвидации неграмотности — не могут удовлетворить жажды к учебе. Не желая оставлять своих детей неграмотными, араты содержат на свой счет двухгодичные летние школы, в которых детвору обучают родному языку и арифметике.

Ребята живут при школе: не ездить же каждый день за десятки километров на уроки? Стриженые мальчики и девочки с короткими косичками, все в красных дэли и одинаково измазанные фиолетовыми чернилами, терпеливо изучают остроугольные закорючки монгольской письменности, похожей на зубцы пилы. Легенда так и говорит, что ученому, получившему предложение составить азбуку, приснилась женщина, несущая пилу. Ученый принял это за предзнаменование и стал писать сверху вниз зазубринами. Овладеть монгольской азбукой дело нелэгкое. Одна и та же буква в начале, в середине и в конце слова пишется поразному.

16 июля.

Целый день готовились к надому. Перенесли майханы поближе к месту, где будет происходить этот народный праздник. После обеда всей бригадой отправились в лес, расположенный, как и большинство лесов в западной Монголии, на северном склоне горы. Приятно было взбираться по крутому зеленому подъему в сосновую, пахучую чащу. Застучали, перекликаясь, топоры — ребята рубили ветки для украшения надомной площадки. Нагруженные доотказа зеленью, мы спустились вниз, в долину, оставив после себя широкий след примятой травы.

К вечеру наш лагерь стал неузнаваемым. Перед майханами разбиты аллеи, перевитые красными лентами. Большой участок, отведенный для борьбы, окружен частоколом флажков. Много потрудились над майханом — красным уголком: на раскладных брезентовых койках расставили шахматы и шашки, разложили газеты, брошюры, книги и журналы.

По «стенам» майхана развесили

портреты Ленина и Сталина, портреты руководителей монгольского правительства и народно-революционной партии. На красиво оформленных стендах показаны образцы изделий уланбаторского промкомбината. Инструменты нашего оркестра — баритон и кларнет — начищены до блеска и покоятся рядом с гитарами и мандолинами.

18 июля.

Предпоследний день надома в Турун-сомоне. Борьба становится все интереснее. Одна пара боролась сегодня свыше двух часов. Упрямых борцов несколько раз обливали водой, поили кумысом. Неожиданно пошел град, но и он не помешал — борьба продолжалась.

Закончились состязания по стрельбе из лука. Мишень была сделана из большого куска желтого полотна. Когда стрела пробивала полотно, судьи, стоявшие возле мишени, поднимали вверх руки и протяжно пели.

На надоме ко мне подошел паренек лет двенадцати и на чистейшем русском языке произнес:

— Товарищ, дай папиросу.

Я попробовал вступить с ним в дальнейший разговор, но, оказалось, что этими тремя словами и исчерпываются его знания.

На праздник из Уланкома приехал секретарь айкома ревсомола Дандыр. По его словам, в аймаке 11 тысяч молодежи, в ревсомольской организации — 500 человек. Дандыр — старый ревсомольский работник. Он вспоминает, как несколько лет назад «леваки» из айкома партии, разоблаченные впоследствии как враги народа, провоцировали ревсомольцев на хулиганские выходки. Они заставляли ревсомольцев снимать с араток серебряные украшения и кольца, выбрасывать из юрт предметы религиозного обихода.

— С остатками старины надо бороться революционными методами, — говорили «леваки».

Враги пытались поссорить ревсомол с партией. За всей этой фразеологией ясно торчали троцкистские уши. Но свернуть молодежь с правильного пути не удалось. Ревсомол попрежнему является верным помощником и резервом партии в ее борьбе за некапиталистический путь развития страны.

22 июля.

Приехали в Хан-Хухэ-хурень — крупный монастырь, известный и за пределами аймака. Сегодня и завтра здесь религиозные торжества. Монахи решили объединить два праздника — Цам и Майдари. Так, рассчитали они, выгоднее с экономической точки зрения и внушительнее с религиозной. Основные церемонии будут проведены завтра, сегодня — нечто вроде тренировки, репетиция.

Перед монастырем — большая ровная площадка с тремя нарисованными кругами. Из храма выбегают группы лам, и, рассыпавшись по кругам, начинают танцовать. На ламах одеты новые желтые дэли и желтые плоские шляпы, на ногах — тяжелые гутулы[1]. Одеяние, надо прямо сказать, мало приспособленное для танцовальных упражнений. Жирные монахи напоминают слонов, решивших вдруг поплясать «польку-кокетку». Звуки труб, схожие с паровозными гудками, вполне соответствуют этим, с позволения сказать, танцам. Монастырское начальство восседает в креслах, внимательно следя за точным выполнением религиозного ритуала. Танцоры, сделавшие ошибки, будут завтра наказаны. Во время танцев выражение лица должно быть строгим, отрешенным от всего земного. Взрослым это еще удается, а ламята нет-нет, да и улыбнутся лукаво, по-мальчишески.

Глядя на танцующих лам, я вспомнил, что именно здесь, в этом монастыре, зародилась контрреволюционная организация, представшая недавно перед судом в Уланкоме. Сюда, под мрачные своды храма, сходились и

[1] Гутулы — монгольские сапоги.

съезжались «небесные матери» (так по-тибетски называются ламы), чтобы решить, как удобнее перерезать руководителей аймака, членов партии и ревсомольцев.

Наши верблюды пришли, когда уже совсем стемнело. Мы быстро поставили палатки и стали показывать картину «Мы — из Кронштадта». Для «пикапа» дорога сюда оказалась непреодолимой, и нам пришлось «крутить» вручную. К кино в этом районе еще не привыкли, и нигде не было проявлено столько любопытства к аппарату, как здесь. Стараясь защитить аппарат от подозрительно любопытных личностей, члены бригады вынуждены были лечь вокруг аппарата и прекратить к нему доступ. Показ картины затянулся до двух часов ночи. Во избежание могущих быть «недоразумений», на ночь выделили двух часовых.

23 июля.

Опять танцы монахов. На этот раз ламы в масках, изображающих различных звероподобных божеств и божественных зверей. Почти все маски усеяны маленькими, искусно сделанными черепами с высунутыми закрученными красными язычками. Под завыванье труб и грохот барабанов неуклюже прыгают чудовища с застывшими гримасами. Но вот чудовища садятся, снимают маски, кладут их на землю, и мы видим потные лица лам. Монахи устали. Им устроен отдых — впереди еще много работы. Шустрые ламята разносят чай.

Появилась новая процессия. Впереди несколько лам везут небольшую колесницу, похожую на цыганскую кибитку и украшенную разноцветными лентами. В глубине колесницы стоит золоченая фигура бога Майдари. Двое лам, находящиеся в этой же колеснице, благословляют верующих. Орудием благословения служит увесистый кусок дерева, размером немного больше кирпича, обтянутый желтой материей.

В двух стах шагах от монастыря происходили выступления нашей бригады. Физкультурные упражнения и ламские танцы — это «сегодня» и «вчера» современной Монголии. И хотя это «вчера» еще цепко хватается за «сегодня», все же оно уходит в прошлое.

Вечером на прием пришел арат с сыном-ламенком. Парнишка выглядел гораздо моложе своих лет, казался забитым, запуганным. Я осмотрел ламенка и нашел у него цветущую форму сифилиса. Для отца это не было новостью. Он сказал, что сына заразил его бакши («учитель» — лама).

— Дайте лекарства для моего сына, — плача попросил он, — пусть народная власть его вылечит.

Мы договорились, что арат привезет больного сына в аймачную больницу.

Монастыри являются очагами и распространителями венерических болезней. Не имея возможности, согласно ламскому учению, официально вступить в брак, ламы развращают араток и своих учеников. В течение этой поездки я мог убедиться, что венерических болезней значительно больше в кочевьях, расположенных вблизи монастырей.

24 июля.

Досталась довольно резвая лошадка. Предупредили: может сбросить. И впрямь, лошадь оказалась с норовом — или идет шагом, или внезапно пускается в галоп. Большую часть дороги ехал по глубокому ущелью вдоль бурной речушки, усеянной крупными белыми камнями. Издали их можно принять за глыбы снега или за уснувших лебедей. На одном из деревьев бросилась в глаза гирлянда из бараньих лопаток; на ней тибетскими буквами написаны молитвы. Ламы всюду стараются напомнить о себе.

25 километров проехали быстро, без остановок — подгонял дождь, — и к 2 часам были в Ундурхангае. Сомон оправдывает свое название (ундур — высокий, хангай — лес) — высота здесь больше 2 тысяч метров. Ундурхангай-

сомон — один из богатейших в аймаке. Тучные пастбища, обилие воды и леса создают исключительно благоприятные условия для скотоводства.

Постоянных построек нет. Сомонное управление, кооперативная лавка и школа помещаются в юртах и кочуют вместе с населением. Существует нелепый взгляд, что монголы кочуют исключительно из любви к передвижению и перемене мест. Ничего подобного! Перекочевки тесно связаны с экономическими причинами, главным образом с состоянием пастбищ, и происходят по определенному плану и в определенных районах. Сомонное управление всегда знает, где находится тот или иной баг.

27 июля.

Очень рано у моей палатки собрались больные. В приеме больных и прививке оспы активно участвовали местные жители — Гава и Бато-очир. Гава прошел в аймачной больнице краткосрочные курсы санитаров, научился обращению с самыми ходовыми лекарствами и оказывает теперь населению посильную медицинскую помощь. Он любит медицину и с жадностью ловит каждое слово о ней. Пришел Гава вместе с сыном, прелестным краснощеким мальчуганом Яваном. Гава захотел дать своему сыну русское имя и назвал его Иваном, но постепенно имя «омонголилось», и Иван превратился в Явана.

Бато-очира я знаю по Улан-Батору. Он — студент медицинского техникума, проводит каникулы в родных местах. В недалеком прошлом Бато-очир был ламой. Разуверившись в ламаизме, он убежал из монастыря и через некоторое время поступил в медицинский техникум. Подобные случаи в настоящее время не являются уже большой редкостью. Ламская молодежь, видя, как свободно и счастливо растут юноши и девушки современной Монголии, начинает покидать мрачные стены монастырей, перестает быть так называемыми «желтыми людьми» (желтый цвет — цвет ламства).

В уланбаторском медтехникуме учится сейчас еще один бывший лама — Наван. Отец его — известный ламский эмчи Дамдин отдал сына в крупнейший ламский монастырь Гандан. Здесь, в маленьких кельях и затхлых молельнях, в течение девятнадцати (!) лет Навана обучали молитвам и тибетской медицине. Наван неохотно вспоминает монастырскую жизнь:

— Целый день принуждали нас читать тибетские книги. Мы очень мало понимали, что в них написано, а наши бакши не старались объяснить нам непонятное. От нас требовалось только повторять слово в слово написанное в книгах. За малейшую ошибку наказывали. Как наказывали? По-разному. Били, заставляли ползти на животе вокруг храма, оставляли без еды. Но больше били по голове.

После завершения тибетского образования Наван занялся лечением больных. Он считал пульс, давал ламские «задачки», а его помощники при этом били в барабаны. В позапрошлом году Наван заболел воспалением легких. Ламы всех рангов ходили к нему в юрту, молились о его выздоровлении, давали «задачки», гудели в трубы, отгоняя нечистую силу. Ничто не помогало. Навану становилось все хуже и хуже. Однажды он слабым уже голосом попросил позвать врача, так, на всякий случай. Ламы всполошились. Как? Сын уважаемого, почти святого, эмчи и вдруг к врачу? Что скажут верующие? Нет, они не могут допустить такого надругания над верой. Да и говорит это не сам Наван, а злой дух. И еще более громкие звуки труб и барабанов раздались в юрте тяжело больного. И еще более крупными порциями всевозможного зелья поили Навана.

Наконец, когда положение больного показалось явно безнадежным, ламы согласились позвать врача. Они рассуждали примерно так:

— Если Наван умрет, мы скажем, что виноват врач, а если вы-

живет, можно сказать, что наши молитвы дошли до бога. И в том и в другом случае мы будем в выигрыше, а врач останется в дураках.

Наван выздоровел, а в дураках остались ламы. Через несколько дней Наван был на приеме у председателя Малого Хурала.

— Направьте меня в медицинскую школу, — попросил он. — Ламская медицина не могла меня вылечить, а европейская вылечила, значит, она лучше.

Какие же знания вынес Наван, получивший так называемое высшее тибетское медицинское образование, из монастыря? Он твердо усвоил, например, что сердце находится посередине груди, что у человека десять легких. Весь он был набит подобными анатомическими заблуждениями. Помню, не сразу удалось мне убедить Навана, что сердце находится в левой половине груди. Рисунок из анатомического атласа, видимо, на него не подействовал. Помог рентген. Когда на экране Наван своими глазами увидел живое сокращающееся сердце, он тихо произнес:

— Действительно, с левой стороны.

Первое время Наван чувствовал себя неловко в новой обстановке, среди молодых задорных ребят, ничем не напоминающих медлительных, чопорных лам. Потом привык и снял ламскую дэли и желтую шапочку с меховой оторочкой. Теперь на его голове красуется серая москвошвеевская шляпа.

Осмотрел открытую к надому столовую. Повара-китайцы обещали тщательно выполнить все санитарные мероприятия, кроме одного, — обрезать ногти невообразимой длины. В столовой жарятся пирожки, готовятся пресные китайские хлебцы — манту, свежуются бараны. В соседних юртах в огромных брезентах и бочках хранится кумыс. Ни в одном сомоне я не видел столько кумыса, приготовленного для участников надома. Каждый арат считал своим долгом привезти кожаную сумку, наполненную этим прекрасным напитком.



Артиллерия Монгольской народно-революционной армии в походе.

Как бы ни было жарко, кумыс всегда холоден, всегда приятен, утоляет жажду. Среди монголов он наиболее распространенный вслед за чаем напиток. Сырую воду они не пьют.

В 12 часов дня начался парад. Ревсомольцы, допризывники, араты выстроились в большой круг. Впереди рядов тихо развевались алые знамена; одно было сильно потрепанное, уцелевшее еще от первых лет революции. Парад принимали руководители сомона. Во время парада произошел занятный случай, вызвавший общий смех. Когда принимающие парад поравнялись с группой араток, сомонный дарга бросил отрывисто:

— Сайну!

И вместо четкого ответа «сайн», аратки приветливо крикнули:

— Сайн байна-а! Сайн байну та? (Здравствуйте! Как поживаете?).

Сразу же после парада началась борьба. В борьбу с самого начала вступили сильные борцы. Весьма выносливыми и крепкими борцами показали себя тувинцы. Монгольский народ поддерживает с Танну-Тувинской республикой самые дружественные отношения. Дружба между монголами и тувинцами существует не первый год. В ноябре 1911 года они вместе подняли восстание в Кобдоском аймаке, штурмом взяли Кобдо, разгромили китайские торговые фирмы и уничтожили торговые книги, в которых были записаны долги аратов. Дружба, спаянная кровью, не забывается. Гостеприимные монголы приглашают своих соседей-тувинцев на летние кочевья к себе. Иногда тувинцы приезжают сюда на лето целыми сомонами.

Почти все присутствующие на надоме напряженно следили за борьбой. Лишь несколько десятков человек нашли для себя еще более увлекательное занятие — шахматы. В двух юртах происходит шахматный турнир. «Болельщики», видно, везде одинаковы. И здесь они перебегают от одной доски к другой, волнуются не меньше игроков и, будучи не в силах удержаться, подсказывают исключительно хорошие, по их мнению, ходы. Игроки, перед тем, как сделать ход, долго стучат фигурой по доске. Монгольская игра несколько отличается от европейской. Нельзя, например, объявлять мат конем, снимать последнюю фигуру противника, ладья обладает меньшим радиусом действия и т. д.

Мы собирались уже ложиться спать, когда в палатку вошел русский. Он оказался ветеринарным врачом Убсанорского аймака, приехал сюда на уртонных лошадях по вызову ветфельдшера-монгола. Я, признаться, соскучился по настоящему русскому языку и, должно быть, изрядно надоел ему своими разговорами.

От Сергея Павловича я узнал о блестящем перелете через Северный полюс в Америку наших славных соколов — Чкалова, Байдукова и Белякова.

30 июля.

Свыше трех часов провел вместе с бригадиром на собрании сомонной партийной ячейки. Секретарь ячейки просил меня сделать доклад о здравоохранении в Ундурхангай-сомоне. Горячо обсуждали партийцы мероприятия, направленные к укреплению здоровья трудового аратства. Приняты решения организовать в сомоне юрту-амбулаторию; до присылки фельдшера послать санитара Гава еще на один-два месяца в аймачную больницу; создать сомонную санитарную комиссию; просить министерство здравоохранения организовать продажу лекарств в хоршонах[1] Монценкоопа.

Вот уже второй день лама Маля живет в бригаде. На нем аратская дэли (без выемки на груди) и новая шляпа, украшенная вместо ленты сиреневой дамской резинкой. Он пришел поделиться с нами своими сомнениями. Как быть? Поехать работать на промкомбинат или просить в Госбанке ссу-

[1] Хоршон — магазин.

ду, чтобы обзавестись своим хозяйством? Маля признался, что он давно уже решил уйти из монастыря. Раскрытие контрреволюционной организации верхушки ламства в Хан-Хухэхурене и приезд агитбригады ЦК МНРП ускорил исполнение этого решения.

— Звал я двух своих приятелей — Цыдыпа и Цавья, — сказал Маля, — но они ответили: «Ты пока устраивайся, а потом и мы за тобой».

1 августа.

Приготовились к отъезду, но в этот момент араты приехали звать бригаду в гости. Приглашений было так много, что нам пришлось разбиться на группы.

В одной юрте девятилетний парнишка Жагмин-дагва вдруг заявил:

— Дарю бригаде одну овцу.

Я подумал, что это было сказано по указке отца. Передал свои подозрения бригадиру. Тот ответил, что в Монголии существует обычай ежегодно передавать часть скота сыну, и Жагминдагва является уже собственником небольшого стада, которым он вправе распоряжаться по своему усмотрению.

Выехали только в четыре часа. Верблюды с грузом ушли утром. По вине проводников остались на ночь без воды. По их словам, вода здесь недавно была, а теперь высохла.

2 августа.

В 5 часов утра были уже на ногах. Голодные, томимые жаждой, стали вьючить верблюдов. Гурижап осмотрел вьюки и, убедившись, что они распределены равномерно, дал знак к отправлению. Вслед за верблюдами тронулись и мы. Часа через два добрались до реки Турун. Решили сделать большой привал. Неожиданно встретили табун наших лошадей и верблюдов.

На лошадях и верблюдах, купленных в Уланкоме, мы доехали только до Малчин-сомона. В дальнейшем араты радушно предлагали нам своих лошадей и верблюдов.

— А ваши пусть отдохнут, — объясняли они.

Мы, понятно, от такой любезности не отказывались, а наши животные, в некотором отдалении от нас, под присмотром двух аратов, паслись на тучных пастбищах.

Искупавшись в бурной речушке и постирав белье, отправились в лес за кислицей. Получилось нечто вроде пикника. С неохотой оставляли красивые прохладные места. Впереди снова степь.

3 августа.

Спешим. Надо попасть в Дзун-гоби-сомон к надому. Несмотря на раннее утро, — жарко. С каждой минутой солнце палит все сильнее. Постепенно снимаем дэли и рубашки. Лошади с трудом передвигают ноги по сыпучему песку. Песок красивый, мягкий, как здесь его называют, шелковый, но ехать трудно и утомительно. Легче всего переносят жару, песок и отсутствие воды верблюды. Верблюды идут, не уменьшая скорости, гордо покачивая головами.

Куда ни посмотришь, везде песчаные холмы. Изредка пробиваются кустики травы, твердой, как прутья. Во рту пересохло, а солнце продолжает жечь изо всех сил. После шести часов такой езды за одним из поворотов заметили стадо коров. Ура! Раз есть коровы, значит вблизи и вода, и люди. Лошади понимают это не хуже нас и прибавляют ходу. То, что мы увидели, вознаградило нас за перенесенные испытания. Необъятные желтые пески неожиданно прорезает узкая серебристая лента воды. Поражаешься, как могла уцелеть в этом пекле буйная речушка, и не только уцелеть, но и все оживить на своем пути. Реку обрамляют широкие зеленые берега и кудрявые березы. Вдоль берега стоит несколько юрт. Напившись, вернее, опившись молока, чаю, кумыса, поехали дальше по густой, сочной траве.

Вскоре показались юрты сомонного

управления. Все юрты — и сомонного управления, и Монценкоопа, и аратов — теснятся ближе к воде. Свои палатки мы тоже поставили у самой реки.

Впервые обошелся без спального мешка — тепло даже ночью. Только под утро немного похолодало. Раскалившийся за день песок долго сохраняет тепло. Зима здесь бывает суровой, с сильным снегопадом.

4 августа.

Ни малейшего ветерка. Понуро висят листья берез. Мы с Гошей принимаем больных. Когда жара становится нестерпимой, мы раздеваемся, проползаем под палаткой и прыгаем в реку. Течение быстрое, вода захватывает песок и несет его с собой. Глубина небольшая, но Гоша ныряет, ударяясь головой в песчаное дно. Немного освежившись, тем же путем возвращаемся назад. На мокрое тело надеваю халат и продолжаю прием.

Но вот вдруг зашептали листья берез, сначала тихо, как бы по секрету, затем все шумнее — разразилась пурга: закачались, застонали деревья, поднялись кверху и закружились в бешеном круговороте столбы песка, пронзительно засвистел ветер.

7 августа.

Второй день работаем в Бильчире, на месте слияния Хойт-гол и Нарин-гол. Тут менее жарко, чем в Дзун-гоби. Отчетливо видна гора Ах-Улан (Красный брат), принадлежащая Танну-Тувинской республике. Майханы наши стоят прямо на песке, меж постелей ползают увертливые ящерицы.

Принял 82 больных, 20 детишкам привил оспу, провел четыре беседы. Первым на прием явился муж больной аратки, к которой мы вчера случайно завернули по дороге. В то время у нее находился лама. При нашем появлении он моментально смылся и даже забыл в юрте свой барабан. Муж приехал, чтобы взять те же лекарства, которые мы вчера оставили его больной жене.

Отец десятимесячного ребенка, которому мы подарили комплект детского белья, попросил дать сыну русское имя — ребенка до сих пор звали Нэригуй (Без имени). Я предложил назвать его Володей, в честь Ленина. Как оживились араты! Какие улыбки расцвели на их смуглых лицах! Ленина и Сталина араты горячо любят. Они говорят, что вождь монгольской революции наборщик Сухэ-Батор, преодолев громадные трудности, сумел добраться до Ленина и получил от него помощь.

10 августа.

Тэсс-сомон. Бригадир, Гоша и я встали пораньше, захватили ружья и отправились к ближним озерам. Путь преграждали мелкие речушки, которые мы перешли, не снимая сапог. Озера были окружены высокой стеной густого камыша. Приблизившись к одному из озер, мы увидели на водной зеркальной глади группу лебедей. Затаив дыхание, мы наблюдали за белыми красавцами до тех пор, пока они не улетели. После лебедей многочисленные стаи уток нас уже не привлекали. Мы искупались в ледяной воде озера и вернулись в лагерь.

Принимал больных в сомонной юрте-амбулатории. Заведует ею Банзаракчи. С 9 до 16 лет Банзаракчи служила в няньках в семье русского купца, проживавшего в этих краях. Научилась русскому языку. Затем в течение трех лет была переводчицей в аймачной больнице и одновременно закончила курсы сестер. Вступила в члены народно-революционной партии. Видя, как страдают араты от невежества и шарлатанства лам, Банзаракчи вернулась в свой родной сомон. Не сразу ей удалось выполнить задуманное. Ламы распускали сплетни, будто Банзаракчи выгнали из больницы за воровство «и вообще, — уверяли они, — итти лечиться к женщине — дело богопротивное». Однако молодая, полная энергии и любви к своему народу аратка не сдавалась. Не получая за свою работу ни

одного мунгу [1], она ездила в больницу, выпрашивала там лекарства и возвращалась с ними в сомон. Она не только давала порошки и микстуры, но и делала впрыскивания, промывания, прививала оспу, принимала роды. Часто ей приходилось ездить за советами к врачу в Уланком. Ни разу не пришла ей в голову мысль оставить начатое дело, прекратить борьбу. Постепенно араты начали убеждаться, что Банзаракчи оказывает им действительную помощь, облегчает их страдания. Араты не ограничились признанием Банзаракчи; они собрали денег, которых хватило и на покупку юрты, и на приобретение обстановки, инструментария и медикаментов.

В юрту-амбулаторию приятно зайти. Все здесь чисто, в каждой мелочи чувствуется заботливая, умелая женская рука. У меня еще оставался небольшой запас медикаментов. Пришлось их оставить Банзаракчи. Она взяла все, даже пустые склянки.

— Ничего, — говорила она, — пригодятся.

12 августа.

До следующего уртона Банзаракчи предложила мне свою лошадь. По счету это уже десятая или одиннадцатая лошадь, полученная мною «взаймы». Но таких лошадей, как эта, у меня еще не было. Лошадь Банзаракчи джоромори (иноходец). Ехать на ней — одно удовольствие: она не идет, а танцует.

Подъехали к Убсанору — крупнейшему соленому озеру в Монголии. Мы долго едем по его пологому песчаному берегу. По пути часто попадаются большие табуны лошадей. Цветом и вкусом воды, необъятностью водного простора озеро напоминает море, только волны поменьше. Необжитое людьми озеро оживляют лебеди, гуси и утки. Раздолье им здесь: никто за ними не охотится.

За день проехали больше 50 километров. Усталости нет и следа. Вспоминаю первые дни путешествия, когда после дневного перехода с трудом влезал в мешок и до утра не мог пошевелиться. Что значит привычка! Мог ли я думать, что соленый чай с жиром и мелко нарезанными кусочками баранины станет моим любимым блюдом. Единственное, пожалуй, к чему я не могу привыкнуть, — это к отсутствию хлеба.

15 августа.

Часов в одиннадцать остановились у речки. Помылись, почистились, надели новые дэли. У меня новой дэли не было, и Гурижап дал мне свою, малинового, убийственно-яркого цвета. Километра за три до Уланкома построились в ряды с духовым оркестром впереди. Население высыпало навстречу, глинобитные заборы вмиг обросли ребятишками.

16 августа.

Встретил на почте Тавка. У него деловой, сильно озабоченный вид. Еще бы! Он работает учеником на телеграфе, получил военный билет и в ближайшие дни выезжает в Улан-Батор на призыв.

Вечером просматривал свои записи. На лошадях, оказывается, мы проехали около тысячи километров. Принято 1 378 больных, осмотрено 205 школьников, привита оспа 333 детям, проведено 57 санитарно-просветительных бесед.

[1] Мунгу — монета.

П. Ветин

ОВЛАДЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ

1

В своем докладе на XVIII партийном съезде тов. В. М. Молотов сказал:

«Капитализм накопил немало материальных и культурных ценностей, но он не может уже использовать этого даже в своих интересах. Он уже превратился во многих случаях в душителя прогресса, науки, искусства, культуры. Это действительно так, но тем хуже для капитализма. Теперь уже есть кому воспринять наследство капитализма. Коммунизм растет из того, что создано капитализмом, из его лучших и многочисленных достижений в области хозяйства, материального быта и культуры. Коммунизм по своему перерабатывает все эти ценности и достижения, но не в интересах верхушки общества, а в интересах всего народа и человечества. Надо, не жалея сил, изучать культурное наследство. Надо знать его всерьез и глубоко. Надо использовать все, что дал капитализм и предшествующая история человечества, и из кирпичей, созданных трудом людей на протяжении многих веков, строить новое здание, удобное для жизни народа, просторное, полное света и солнца».

Одним из главных несчастий прежней истории было громадное различие между средним уровнем культуры в стране и высоким духовным развитием отдельных выдающихся людей. Таким высоким духовным развитием отличались, например, Пушкин и его друзья. Но пушкинский кружок был маленьким оазисом, затерянным в пустыне. Сам Пушкин в небольшой заметке о поэте Баратынском говорит нам об этом одиночестве. То же самое чувство одиночества испытывали величайшие художники эпохи Возрождения и даже просветители XVIII века — страстные публицисты и борцы за народное благо.

Глубокое всесторонне развитое понимание науки, искусства и жизни было достоянием небольших кружков, из которых выходили люди, способные отстаивать народные интересы, но всегда ощущавшие громадную разницу между духовной жизнью «маленьких обществ» (как выражался Гельвеций) и средним уровнем просвещения в стране.

Колоссальный подъем культуры, необходимый для перехода к коммунистическому строю жизни, предполагает постепенное устранение остатков этого тысячелетнего зла, которое было печатью осуждения и гибели для всех пе-

риодов культурного расцвета, возникших на почве рабства, крепостничества, капитализма. Новая, коммунистическая культура не может быть маленьким оазисом, она всенародна по своей основе. Грамотность — общая и техническая — является ее первоначальным условием, но последующие задачи своей необычайной грандиозностью оставляют первое условие в тени.

История сохранила нам жилища старых господ, пользовавшихся в своей жизни услугами множества других людей. В дворянских усадьбах, феодальных замках, княжеских дворцах есть много своеобразного обаяния, художественной гармонии, почти утраченной за время господства буржуазной безвкусицы. Все это великолепие было создано руками людей из народа. Но создано лишь для немногих. Коммунизм должен создать не только сытую, но и духовно-насыщенную, богатую разнообразием и красотой, тонким, но определенным вкусом, поистине культурную жизнь для **каждого** человека. Чтобы миллионы людей жили так, как живали помещики, — это еще не идеал, ибо и в жизни помещиков рядом с превосходными вещами было много грязи и вони, и часто жалкое, скудное житье на гроши, выжатые из нищих крестьян, прикрывалось только снаружи блестящим светским покровом.

Не следует забывать, что периоды высшего цветения культуры в прошлом всегда представляли собой смесь изумительного великолепия и крайней беспомощности. «Мы вынуждены строить наполовину из мрамора, наполовину из негодной глины» — эти слова Вольтера хорошо выражают положение лучших строителей прежней культуры. Отделить мрамор от негодной глины и сделать высший уровень культуры не исключением, но правилом, обычным состоянием миллионов людей, рассеянных по необъятному лону нашей великой земли, в городах и селах, на крайнем севере, в тайге и в пустыне, в отдаленных горных аулах и просто в бывшем захолустье бывшей Российской империи — вот задача, которая по плечу только социалистическому обществу.

Настало время, предсказанное Лениным. «Кто-то из нас,—пишет в своих воспоминаниях Клара Цеткин, — я не помню, кто именно, — заговорил по поводу некоторых особенно бросающихся в глаза явлений из области культуры и искусства, объясняя их происхождение «условиями момента». Ленин на это возразил: «Знаю хорошо. Многие искренне убеждены в том, что panem et circenses («хлебом и зрелищами») можно преодолеть трудности и опасности теперешнего периода. Хлебом — конечно! Что касается зрелищ — пусть их! — не возражаю. Но пусть при этом не забывают, что зрелища — это не настоящее большое искусство, а скорее более или менее красивое развлечение. Не надо при этом забывать, что наши рабочие и крестьяне нисколько не напоминают римского люмпен-пролетариата. Они не содержатся на счет государства, а содержат сами трудом своим государство. Они «делали» революцию и защищали дело последней, проливая потоки крови и принося бесчисленные жертвы. Право, наши рабочие и крестьяне заслуживают чего-то большего, чем зрелищ. Они получили право на настоящее великое искусство. Потому мы в первую очередь выдвигаем самое широкое народное образование и воспитание. Оно создает почву для культуры, — конечно, при условии, что вопрос о хлебе разрешен. На этой почве должно вырасти действительно новое, великое коммунистическое искусство, которое создаст форму соответственно своему содержанию».

Ход мысли Ленина очень важен. Ему хорошо известны люди, которые полагают, что для обращения с народной массой необходимы искусственные приемы, ослепляющие «зрелища», стан-

дартная духовная пища, соответствующая «условиям момента». Эти люди — плохие друзья народа. Они высокомерно считают, что для большой человеческой массы всегда, во все времена и во всех странах достаточны грубые суррогаты, сдобренные острыми, сильно действующими приправами. Ленин отвергает эту псевдокультуру. Он отстаивает право народа на подлинно великое искусство. Но это подлинно великое искусство является второй ступенью. Оно органически вырастает из первой ступени — «самого широкого народного образования и воспитания». Без этого условия искусство, обращенное к народу, рискует выродиться в «зрелища», достаточные для римского люмпен-пролетариата, но недостойные рабочего класса и крестьянства социалистической страны.

Так, на заре нашей революции Ленин всячески подчеркивал необходимость органического развития культуры, охватывающей самые широкие массы людей.

Задача овладения культурой тесно связана с другой задачей, стоящей перед нашим народом во всей своей полноте и серьезности. «У нас создано столько предпосылок, столько возможностей для дальнейшего подъема и полного расцвета нашего общества, — говорил в своем докладе тов. Молотов,— что теперь главное у нас состоит в коммунистически-сознательном отношении к своему труду и, особенно, в успешности нашей большевистской работы по идейному воспитанию разросшихся кадров советской интеллигенции».

Совершенно неправильно думать, что задача коммунистического воспитания относится только к отсталым слоям трудящихся, вчерашним единоличникам, людям, нуждающимся в «перековке», и т. д.

Напротив, в коммунистическом воспитании прежде всего нуждается огромная армия больших и малых деятелей советской системы, интеллигенция в широком смысле этого слова.

Коммунистическое воспитание трудящихся и овладение культурным наследством образуют два элемента единого процесса — дальнейшего повышения сознательности. Это самая важная и самая трудная из всех задач, стоящих перед нашим народом. Для перехода от социализма к коммунизму необходимы огромные сдвиги именно в этой области. В настоящее время общество регулирует меру труда и меру потребления. Это необходимая черта социалистического строя жизни. Коммунизм начинается там, где добровольный труд на пользу общества становится обычаем, где отпадает вековая привычка, заставляющая высчитывать с черствостью Шейлока,—не переработать бы лишнего полчаса против другого, не получить бы меньшей платы, чем другой. С этим связана и новая система распределения продуктов, не требующая нормировки со стороны общества, — бесплатное распределение «по потребностям».

«С точки зрения буржуазной, — писал Ленин, — легко объявить подобное устройство «чистой утопией» и зубоскалить по поводу того, что социалисты обещают каждому право получать от общества, без всякого контроля за трудом отдельного гражданина, любое количество трюфелей, автомобилей, пианино и т. п. Таким зубоскальством отделывается и поныне большинство буржуазных «ученых», которые обнаруживают этим и свое невежество и свою корыстную защиту капитализма.

Невежество, ибо «обещать», что высшая фаза развития коммунизма наступит, ни одному социалисту в голову не приходило, а предвидение великих социалистов, что она наступит, предполагает и нетеперешнюю производительность труда и нетеперешнего обывателя, способного «зря», вроде как бурсаки у Помяловского, пор-

тить склады общественного богатства и требовать невозможного» [1].

Эти слова были написаны в 1917 году. С тех пор народы нашей страны прошли огромную школу коммунистического воспитания — школу борьбы с капитализмом, преодоления вековых традиций мелкой крестьянской собственности, очищения своих рядов от изменников и перерожденцев. Энтузиазм и готовность итти на любые жертвы, самобытное творчество новых отношений и форм общественной жизни — все эти и многие другие драгоценные человеческие качества широко проявились в массах и поразили мир, заставили многих скептиков призадуматься над всепобеждающей моральной силой нового общественного строя.

Сколько упорства и самодисциплины, сколько высокой сознательности понадобилось для того, чтобы долгим настойчивым трудом преодолеть разложение, которое создала первая империалистическая война, победить те элементы, которые, по выражению Ленина, «смотрели на революцию, как на способ отделаться от старых пут, сорвав с нее что можно» [2]. «От того, что началась революция, — писал Ленин в 1918 году, — люди не стали святыми» [3]. Только упорная работа большевистской партии над коммунистическим воспитанием масс могла привести и привела к победе социалистического строя жизни, к созданию системы всенародного контроля, от которого некуда деться жулику и паразиту, спекулянту и лентяю. Старый обыватель, похожий на бурсаков Помяловского, уже в значительной степени сошел со сцены. Но задача коммунистического воспитания все еще далеко не исчерпана. Наоборот, именно теперь она выдвигается на первый план.

[1] Ленин, «Государство и революция», т. XXI, стр. 437.

[2] Ленин, Соч., т. XXV, стр. 316.

[3] Ленин, Соч., т. XXIII, стр. 186.

Коммунизм начинается там, где возникает сознательный, бескорыстный труд на пользу общества. Еще в начале нашей революции Ленин увидел зарождение новой формы труда в повсеместной организации так называемых «субботников». В знаменитой речи 20 декабря 1919 года Ленин сказал: «Коммунистическое» начинается только тогда, когда появляются субботники, т.-е. бесплатный, не нормированный никакой властью, никаким государством труд отдельных лиц на общественную пользу в широком масштабе. Это не помощь соседу, которая существовала в деревне всегда, но труд, производящий на общегосударственные потребности, организованный в широком масштабе и бесплатный. Поэтому было бы правильнее, если бы слово «коммунистический» применять не только к названию партии, но и исключительно к тем хозяйственным явлениям нашей жизни, которые осуществляют «коммунистическое» на деле. Если в теперешнем строе России и есть что-либо коммунистическое, то это только субботники, а остальное есть лишь борьба против капитализма, за упрочение социализма, из которого после его полной победы, должен будет вырасти тот самый коммунизм, который мы на субботниках наблюдаем не из книг, а на живой действительности» [1].

В настоящее время организация субботников вышла из практики. Как мероприятие исключительного характера субботники не нужны в условиях нормального функционирования советского хозяйства. Но это не значит, что элементов коммунистического труда, то-есть «бесплатного, не нормированного никакой властью, никаким государством труда отдельных лиц на общественную пользу», в нашей стране стало меньше. Наоборот, область проявления коммунистического отношения к труду в настоящее время гораздо шире, самое

[1] Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 653.

это явление стало гораздо более привычным, а потому отчасти и менее заметным. Бескорыстный, ненормированный труд растет повсюду из честного исполнения своих обязанностей перед государством, растет, как свободное дополнение к установленной мере труда, растет из трудового энтузиазма, любви к своему делу, горячего желания сделать полезное своей родине. Тысячи людей забыли о старой привычке высчитывать с черствостью Шейлока, как бы не переработать получаса против другого. Творческая работа советской интеллигенции — организаторов производства, изобретателей, инженеров, технически образованных рабочих, общественная и партийная деятельность, оживляющая все области государственного организма, подвиги наших героев — все эти формы свободной жизнедеятельности по самой природе своей не могут быть оценены и оплачены в полной мере. Да и кто возьмется установить настоящую ценность самоотверженного поступка или выдающегося изобретения и какими средствами можно было бы это сделать? Там, где начинается творческий труд, долг и влечение, обязанности и собственное желание совпадают, там люди работают уже не для того, чтобы получать за это плату. Наоборот, они получают средства для жизни от государства, чтобы иметь возможность работать по своим способностям на пользу общества. Это и есть коммунистическое отношение к труду, независимо от того, проявляется ли оно в малых делах или в героических поступках.

Чтобы перейти от социализма к коммунизму, нужно сделать бескорыстный общественный труд естественной привычкой миллионных масс. Для этого необходимо преодолеть пережитки капитализма в сознании людей.

2

Капитализм создал могучие производительные силы, мировое хозяйство, быстрейшие средства сношения и связи, современную науку и образование. Однако все эти достижения культуры в гораздо большей степени обязаны своим происхождением стихийному развитию частных интересов, чем сознательному стремлению к общественной пользе. В классовом обществе труд бескорыстный мог быть только исключением, но отнюдь не правилом. Со времени разложения первобытной родовой общины непосредственным стимулом для развития производительных сил и накопления общественного богатства служили стремления к наживе, эгоизм и другие не менее грязные страсти.

Голландский врач по имени Мандевилль, живший в XVIII веке в Англии, сравнивал буржуазную цивилизацию с большой и грязной улицей, по которой движется множество пешеходов и карет. Вы желаете, чтобы это движение продолжалось? В таком случае нечего пенять на кучи грязи и мусора, покрывающие мостовую. В остроумной «Басне о пчелах» Мандевилль иронически доказывал, что преступления, своекорыстие, алчность, безвкусица, пошлость необходимы для процветания общества. Праздность и мотовство нужны для того, чтобы армия художников имела работу. Некультурность полезна для развития культуры. Существование мошенников — для торжества правосудия. «Здесь мы должны искать источник всех искусств и наук и в тот момент, когда исчезло бы зло, распалось бы и погибло все общество».

Взгляд Мандевилля Маркс считал откровенным и честным изображением глубокой внутренней порочности буржуазного строя жизни. История капиталистического общества начинается с преступления. Достаточно вспомнить подвиги «купцов-авантюристов», завоевания Пизарро и Кортеса, ограбление народной массы, уничтожение целых народов. Первыми деятелями нарождающейся буржуазной эры в Италии были такие личности, как Эццелино ди Романо, Чезаре Борджиа. Фамилии Вис-

конти, Малатеста создали немало образцов для современных подражателей. Убийство из-за угла, отравлнния, безобразный разврат, всевозможные виды жестокости были доведены до степени искусства. Итальянские государства впервые в Европе создали широко разветвленную сеть шпионажа.

Эта грязная подоплека буржуазной цивилизации всегда поражала умы наиболее честных представителей общественной мысли и литературы. Английские драматурги эпохи Возрождения — Форд, Вебстер, Марло и сам Шекспир— правдиво изображают бурный взрыв преступных инстинктов, безграничную жажду господства, эгоизм новой, индивидуалистической личности: «Все дозволено»! Самые возвышенные добродетели, самые патриархальные нравы меркнут в блеске золота, текущего из вновь открытых стран и колоний. «Нет ничего подлинного и честного; все в мире основано на воровстве», говорит меланхолик Жак в комедии Шекспира «Как вам угодно». Литература как бы иллюстрирует мысль Ленина: «Богатые и жулики, это — две стороны одной медали»[1]. Ее героями являются бродяга Лазарильо из Тормез, искатель приключений Жиль Блаз, авантюристка Моль Флендерс. Джон Гей создает «Оперу босяков», в которой воры и преступники разговаривают, как леди и джентльмены. Дидро устами племянника Рамо, опустившегося прожигателя жизни, сближает представителей высшего света с подонками общества. В XIX веке Бальзак рисует моральное разложение высших классов, переплетение денежного мира с преступным. По рассказу Лафарга, Маркс видел в романах Бальзака пророческое изображение тех буржуазных нравов, которые полностью развернулись только в эпоху бонапартистской «второй империи».

[1] Ленин, Соч., т. XXII, стр. 164.

В течение столетий лучшие представители старой культуры размышляли над тем, как воспитать человека и сделать его существом общественным в прямом смысле этого слова. Идея воспитания человеческого рода пользовалась особенным распространением в XVIII веке, накануне буржуазной революции во Франции. Этой проблеме посвящались философские романы, сочинения утопического характера, театральные пьесы. Наиболее последовательная партия Великой французской революции, партия якобинцев, стремилась осуществить на практике целую программу воспитания добродетельных граждан в духе заветов Жан-Жака Руссо. Буржуазная революция различала права человека и права гражданина. Человек — эгоистичен и корыстолюбив, гражданин — самоотвержен и предан общему благу. Права человека должны обеспечить частную собственность, права гражданина — равенство всех. Однако частная собственность сама порождает общественное неравенство. Воспитательный идеал буржуазной революции оставался отвлеченной моральной заповедью, неспособной преодолеть своекорыстные интересы имущих собственников.

В эпоху термидора лихорадка наживы охватила Францию. Революционные войны республики превратились в грабительские походы. Великая французская революция угасала, покрытая кровью своих лучших сынов, трижды проданная, запачканная спекуляциями и взяточничеством. Жулики, паразиты и авантюристы набросились на завоевания революции. «Добродетельные граждане» из свиты Робеспьера погибали на эшафоте или становились сенаторами. Народ безмолвствовал. Не было подлинно пролетарской партии, которая могла бы повести революцию вперед, обрубить лапы буржуазному хищничеству и мелкобуржуазной анархии.

Энтузиазм сменился глубоким разочарованием. Великий немецкий поэт Шил-

лер говорит в стихотворении «Начало нового века» (1801 г.):

Где приют для мира уготован?
Где найдет свободу человек?
Старый век грозой ознаменован,
И в крови родился новый век.
. . . .
След до звезд полярных пролагая,
Захватили смелые везде
Острова и берега; но рая
Не нашли и не найдут нигде.
Нет на карте той страны счастливой,
Где цветет златой свободы век,
Зим не зная зеленеют нивы,
Вечно свеж и молод человек.
Пред тобою мир необозримый!
Мореходу не объехать свет;
Но на всей земле неизмеримой
Десяти счастливцам места нет...

(Перевод Курочкина)

Так идеал человека, свободного от грязных пятен старого общества, был перенесен в царство грез. Воспитать в людях чувство бескорыстной преданности общественному благу, сделать это чувство естественным, органическим, привычным — какая прекрасная и в то же время неосуществимая мечта! В человеке есть нечто «радикально злое», говорит немецкий философ Кант. Каждый человек необходимо стремится к своей личной выгоде, подобно тому, как вода всегда стремится занять самое низкое положение. Таков исходный пункт классиков английской политической экономии.

Но буржуазное общество было молодо и внушало надежды. Погоня за наживой приводит к конкуренции, а конкуренция способствует стихийному росту мирового рынка, развитию производительных сил и накоплению богатства наций. Она несет с собой дешевую роскошь и дешевое образование, удовлетворение множества индивидуальных потребностей, утверждение известных норм общежития и права, без которых не может развиваться даже буржуазное хозяйство. Отсюда выросла новая теория, заменившая теорию социального воспитания, созданную революционными просветителями. Новая теория говорила о постепенном стихийном процессе роста внешней культуры. Пусть человек-собственник внутренне черен, как сажа, но он поддается дрессировке и может привыкнуть к соблюдению внешней законности, условных правил общежития. Пусть разница между частной собственностью и кражей не велика. Замечено, что даже воры не грабят друг друга. И в разбойничьих шайках существует своя мораль.

Опасность, кровь, разврат, обман
Суть узы страшного семейства.

«Задача создания идеального общественного строя, — сказал однажды Руссо, — осуществима только для народа ангелов».

«Задача создания культурного общежития, — как бы отвечал ему Кант, — разрешима даже для народа дьяволов».

Это была либеральная теория цивилизации — мирного и постепенного улучшения человеческого общества. Кант является одним из ее основоположников.

Он сомневается в том, что посредством общественных переворотов можно достигнуть подлинной внутренней чистоты в отношениях между людьми. Дьявольский эгоизм отдельного человека неистребим. Неистребим и эгоизм отдельных наций, которые стремятся подчинить себе другие народы.

Человек — существо общественное, но необщительное.

К счастью, именно эта необщительность, или антагонизм сил, создает возможности для некоторого очищения человеческого общежития, хотя бы внешнего. Каждое дерево в лесу стремится лишить другие деревья воздуха и солнца, но тем самым оно принуждает другие деревья тянуться вверх и расти прямолинейно, а не изогнуто и криво. «Всякая культура и искусство, украшающие человечество, прекраснейший об-

щественный порядок суть плоды необщительности, которая вынуждена сама собой дисциплинироваться и, таким образом, посредством вынужденного искусства полностью развить задатки природы». Простейший эгоизм заставляет людей обуздывать свои хищнические инстинкты, соблюдать элементарные правила культуры.

Правда, буржуазное общество предполагает общественное неравенство, и Кант говорит в одном из своих сочинений: «Большинство людей, не нуждаясь для этого в особом побуждении, как бы механически работает над потребностями жизни и обеспечивает удобства и досуг для других, которые занимаются не столь неотложными делами, делами культуры, науки и искусства и которые держат первых в состоянии угнетения, суровой работы и минимального наслаждения». И все же происходит какое-то постепенное повышение всеобщей культурности.

Одним из главных препятствий на пути цивилизации являются бесконечные войны. И так как подлинное братство народов, согласно теории Канта, невозможно, то нужно создать хотя бы внешнее объединение миролюбивых наций. В сочинении «О вечном мире» Кант набрасывает проект особой Лиги, которая должна гарантировать входящие в нее государства от нарушения их прав, от внешней агрессии.

Некоторые статьи этого проекта звучат в настоящее время очень любопытно: «Ни одно государство не должно насильственно вмешиваться в устройство и управление другого государства». В особой статье запрещаются некоторые «адские приемы, гнусные само по себе» и распространяющиеся также на мирное время. Это «наем в неприятельском государстве убийц, отравителей, нарушение капитуляций, подстрекательство к измене». Шпионаж кажется Канту еще более укоренившимся злом.

Можно ли посредством всех этих запрещений покончить с войной? Кант отдает себе отчет в том, что его проект федерации народов — только суррогат действительной всемирной республики, недостижимой для буржуазного человечества. Постольку и «состояние вечного мира» является только идеалом. Объединение миролюбивых наций не устраняет своекорыстной, хищнической природы буржуазного национализма. И все же оно может поставить ощутительные преграды «потоку враждебных стремлений». Привыкая к сохранению законности, к внешней культуре, человечество может и внутренне измениться к лучшему в бесконечно отдаленном счастливом будущем.

Мы превосходно знаем, что либеральные иллюзии были ложны. И в то же время они имели свои реальные корни в жизни. Быстрое и относительно мирное развитие цивилизации в XIX веке, прогресс образования и культуры, преимущества «культурной» торговли, основанной на конкуренции перед ростовщичеством, демократического капитала—перед капиталом черносотенным и октябристским — все эти исторические черты буржуазного общества прежнего типа поддерживали иллюзию постепенного торжества гуманности, просвещения и социального чувства над стихийной злобой и эгоизмом.

Современный немецкий писатель Генрих Манн в статье «Путь немецкого рабочего» говорит: «Либерализм и пусть ограниченный гуманитаризм еще на худой конец делали капитализм выносимым; они очищали его так, что вспышки совести и человеколюбия все же имели место». Либеральный гуманитаризм стремился запереть хищного зверя в клетку и приручить его хотя бы отчасти. Поразительно быстрое одичание буржуазного общества в период первой империалистической войны и особенно в последние десятилетия наглядно показывает всю иллюзорность этой надежды. То, что в «нормальном» капитализме было прикрыто оболочкой

прогрессивного развития, выступило теперь наружу. Стихия варварства и насилия разорвала старые юридические и моральные нормы, которые при всей их относительности играли все же положительную роль.

Современный империализм надругался над элементарной законностью старого, «честного» буржуазного строя. Подтвердилось замечательное наблюдение Маркса по поводу временного господства босяков и солдат в контрреволюциях XIX века. Наступает такой момент, когда буржуазия открыто должна заявить: «Одно только воровство может еще спасти собственность, клятвопреступление — религию, прелюбодеяние — семью, беспорядок — порядок»[1]. Для поддержания своего господства имущие классы хватаются за самые нечистые орудия.

Поразительно падение уровня буржуазной политики в течение последних десятилетий! Никогда еще не была так велика политическая роль всевозможных проходимцев, разложившихся субъектов, охвостьев мюнхенской богемы, бывалых служителей контрразведки.

Крах буржуазной теории цивилизации — совершившийся факт. Многие западноевропейские и американские писатели с изумлением и растерянностью останавливаются перед этим закатом старых буржуазных идеалов. И в самом деле — есть над чем призадуматься.

Опыт всего человечества убедительно показал, что без уничтожения частной собственности любая культурность остается только внешней позолотой, которая слезает при первом серьезном испытании. Без коренного изменения социальной основы культура не может стать органическим, внутренним достоянием людского общежития, благоразумие, цивилизация, искусство не могут сделаться второй природой, т. е. обычаем, традицией, естественной привычкой. Прошло то время, когда антагонизм частных интересов, вопреки своей эгоистической природе, способствовал развитию культуры. Буржуазная конкуренция привела к железному прессу монополий. Современный капитализм превращает живое содержание культуры в мертвый, безжизненный штамп, в пустую фразу, лишенную содержания.

Внешняя культурность буржуазного обывателя фабрикуется автоматически посредством радио, рекламы, навязанных школой предрассудков, шовинистической или усыпительно-пацифистской жвачки больших газет. Недавно умерший чешский писатель Карел Чапек в романе «Война с саламандрами» превосходно осмеял психологию «культурного» обывателя современного капиталистического города.

Саламандры — разновидность морских ящериц, обитавших где-то на побережье тропического моря и открытых там голландским капитаном Ван-Тохом. Эти мифические саламандры обнаруживают удивительную способность к усвоению всех технических результатов буржуазной цивилизации и всех ее ходячих словесных формул. Они легко усваивают человеческую речь, читают газеты, овладевают различными профессиями, размножаются с невероятной быстротой. Вот разговор ученого с саламандрой, имеющий целью выяснить степень ее интеллигентности:

«**Ученый.** Как вас зовут?

Саламандра. Эндрью Шейхцер.

У. Сколько вам лет?

С. Не знаю. «Хотите иметь моложавый вид? Носите корсаж Либелла».

У. Какой сегодня день?

С. Понедельник. Отличная погода, сэр. В эту субботу на скачках в Инсоме будет бежать «Гибралтар».

---

[1] К. Маркс, «18-е Брюмера». Собр. соч., т. VIII, стр. 412.

У. Сколько будет трижды пять?

С. Для чего это?

У. Считать умеете?

С. Да, сэр. Сколько будет двадцать девять на семнадцать?

У. Предоставьте нам спрашивать, Эндрью. Назовите нам английские реки.

С. Темза.

У. А еще?

С. Темза?

У. Других не знаете? Кто царствует в Англии?

С. Король Георг. Да хранит его бог!

У. Хорошо, Энди. Кто величайший английский писатель?

С. Киплинг.

У. Очень хорошо. Вы читали что-нибудь из его произведений?

С. Нет. Как вам нравится Мей Уэст?

У. Лучше мы будем спрашивать вас, Энди. Что вы знаете из английской истории?

С. Генриха Восьмого.

У. Что вы о нем знаете?

С. Наилучший фильм последних лет. Сказочная постановка. Изумительное зрелище.

У. Вы видели этот фильм?

С. Нет, не видел. Хотите познакомиться с Англией? Купите себе «форд-малютку».

У. Что вы больше всего хотели бы видеть, Энди?

С. Гребные гонки Кембридж — Эксфорд, сэр.

У. Сколько есть частей света?

С. Пять.

У. Очень хорошо, назовите их.

С. Англия и остальные.

У. Назовите остальные.

С. Это немцы. И Италия.

У. Где находятся острова Джильберта?

С. В Англии. Англия не станет связывать себе руки на континенте. Англии необходимо десять тысяч самолетов. Посетите южный берег Англии.

У. Можно ли осмотреть ваш язык, Энди?

С. Да, сэр. Чистите зубы пастой «Флит». Экономно расходуется. Наилучшая из всех — английская продукция. Хотите, чтобы у вас хорошо пахло изо рта? Пользуйтесь пастой «Флит».

У. Спасибо, хватит...» [1]

Человек-саламандра, быть может, — один из самых страшных продуктов эпохи разложения капитализма. Нельзя мыслить себе дальнейшего развития культуры без преодоления ядовитой внутренней пустоты «саламандрового века». Только социалистическое общество обращает весь научный, моральный, художественный опыт, накопленный человечеством, весь разум цивилизации в нечто неотделимое от внутреннего чувства, общественного инстинкта, естественного стремления миллионов людей.

Социалистическое общество, устранившее главный источник развращенности и эгоизма людей — частную собственность, построено в нашей стране. Учет и контроль, наблюдение за мерой труда и мерой потребления, социалистическая дисциплина стали незыблемыми завоеваниями общества. Теперь задача заключается в том, чтобы заповеди социалистического общежития полностью и целиком вошли «в культуру, в быт, в привычки» [2].

Впервые в истории создана почва для широчайшего массового усвоения подлинной, органической, а не только внешней культуры.

Слово «культура» часто понимают формально: как определенное количество знаний, техническое овладение предметом своей работы, так называемое «мастерство» в искусстве, т. е. испол-

[1] Ср. журнал «Литературный критик» № 7 за 1938 г., статья А. Платонова «О ликвидации человечества».

[2] Ленин, Соч., т. XXVII, стр. 406—407.

нение, форма и, наконец, как внешние условия, в которых живет человек. В этом смысле определенный культурный уровень есть нечто необходимое, полезное и приятное, но вместе с тем, и нечто второстепенное, внешнее. Говоря об овладении культурным наследием прошлого, часто имеют в виду подобное усвоение формы «мастерства культуры».

Это представление имеет свои исторические корни, и все же оно неправильно. Для социалистического общества существует не только формальное мастерство Пушкина или Шекспира, их стихотворная техника, умение живо передавать действительность, сценические приемы и т. п. Без одушевляющего идейного содержания формальные элементы мертвы. Великие достижения культуры, научные открытия, художественное совершенство, подлинная утонченность мысли основаны на серьезном идейном богатстве, на отражении реальных человеческих потребностей, великих исторических движений. В этом смысле деятельность классических представителей науки, искусства, литературы всегда была и будет своего рода подвижничеством, ярким проявлением нравственной энергии, преданности своему делу — делу прогрессивного человечества.

Без внутреннего содержания внешние признаки культуры превращаются в свою собственную противоположность, в издевательство над элементарными понятиями о человеческом достоинстве. Кто не помнит, как замечательно осмеял Щедрин в «Господах ташкентцах» цивилизаторские кадры царской России? Вот монолог одного из представителей этой оравы «деятелей», которые, как стая ос, перелетали из губернии в губернию, исполняя предначертания начальства (Щедрин окрестил их «пустыми бутылками»):

«— Покуда порожняя посуда имеет возможность дребезжать и звенеть, моя обязанность — тоже дребезжать и звенеть, и время от времени наполняться той жидкостью, которая наиболее подходит ко вкусам минуты. Какая это жидкость — до этого мне нет дела, ибо я не просто бутылка, а бутылка, относящаяся с полным равнодушием к тому, что ее наполняет. Зная, что я ничего не знаю, я обязываюсь чем-нибудь заменить эту пустоту, и заменяю ее готовностью. Поэтому я переимчив, вертляв, дерзок на услугу и ни перед какой профессией не задумываюсь. Никто не застал меня ни в каких подвигах, которые могли бы свидетельствовать, что я такое, и это в совершенстве обеспечивает мою свободу. Я публицист, метафизик, реалист, моралист, финансист, экономист, администратор. По нужде я могу быть даже другом народа. Вчера существовало крепостное право — я был крепостником; сегодня крепостное право отменено — я удивляюсь, как можно было дожить до настоящей вожделенной минуты и не задохнуться. Всякая минута застает меня врасплох, и всякая же минута находит меня готовым. Сколь разнообразны вольные художества в Российской империи, столь же разнообразны и роды моей готовной деятельности. Над всеми парит одно: моя всегдашняя непоколебимая готовность следовать указанию всякого одаренного способностью указывать перста, хотя бы этот перст был и запачкан».

Социалистическому обществу необходимы десятки и сотни тысяч специалистов в разных областях хозяйственной, научной и культурной работы, десятки и сотни тысяч способных, энергичных администраторов, людей, умеющих создавать различные организации, укреплять их, руководить ими. В своей области эти люди должны обладать множеством специальных познаний, деловитостью и энергией. Но самое главное требование, которое предъявляет к ним социалистическая страна, состоит в том, чтобы они не были похожи на рыцарей «порожней посуды», осмеянных Щедриным, не были похожи на «пустые бутылки», которые можно на-

полнить любым содержанием и которых каждая минута застает врасплох, но застает готовыми приноровиться к любой конъюнктуре и следовать указаниям «всякого одаренного способностью указывать перста». При самых лучших организаторских способностях, смелости и размахе, при самом высоком образовании подобная внутренняя пустота неизбежно приводит к перерождению. Люди перестают интересоваться перспективой нашего движения вперед. Они «перестают понимать правду нашего дела и превращаются в беспринципных деляг, слепо и механически выполняющих указания сверху» [1].

Отсюда только один шаг до прямой поддержки врагов, до сговора с агентами империализма. Таковы уроки, извлеченные из разгрома шпионских гнезд внутри страны, уроки, о которых партия устами товарища Сталина напомнила всем работникам советского и партийного аппарата. Отсюда понятно, что задачи коммунистического воспитания новых кадров не есть предмет назидательных поучений, которые можно читать и выслушивать в часы досуга. Это задача гораздо более серьезная и сложная.

В старой царской деревне мыло и керосин были редкостью. В настоящее время чистота, электрический свет, городская одежда вошли и все более входят в быт колхозного крестьянства. Тысячи трудящихся в городах населяют новые дома, снабженные всеми условиями комфорта. Мраморная облицовка, лоджии в духе эпохи Возрождения, колонны, украшенные листьями аканфа или египетскими цветами лотоса, оживляют архитектуру. Широкие лестницы ведут внутрь просторного здания. Радио, кино, театр, музеи, выставки, среднее и высшее образование формируют сознание людей, жадно глотающих все, что несет им культуру. И нужно, чтобы все эти внешние средства формировали людей высокого идейного уровня, не самодовольных выскочек, «нуворишей» культуры, хватающих повсюду вершки и готовых дребезжать на любую тему, как пустая бутылка. Ибо слово «культура» не означает одно лишь накопление различных сведений (хотя бы и очень полезных), приобретение ученых дипломов и разного рода званий, общественного положения и внешнего лоска. Подлинная культурность предполагает глубокую внутреннюю порядочность, добровольное и добросовестное соблюдение правил социалистического общежития, определенное развитие чувства товарищества и беззаветную преданность делу народа.

Внутреннее ничтожество не скроешь ни чистой одеждой, ни мраморной облицовкой. Равнодушие к общему делу, карьеризм, склока, бюрократическое лицемерие, головотяпство, вызывающее естественное раздражение большого числа людей, мелкобуржуазное хвастовство, официальная шумиха, подхалимство по отношению к вышестоящим и неосновательное чувство превосходства по отношению к остальной человеческой массе — все эти проявления малой сознательности глубоко враждебны советскому строю.

У нас уже выросли широкие слои новой, советской интеллигенции. Мы стремимся поднять до уровня интеллигенции все население нашей социалистической страны. Но слово «интеллигент» имеет двоякий смысл. Оно означает не только квалификацию (инженер, техник, директор), но и определенный морально-политический уровень, т. е. внутренние духовные качества человека, его высокую сознательность. Помноженная на организационную работу партии, эта сознательность является великой материальной силой, которая может решить и, несомненно, решит все задачи, связанные с переходом к коммунизму. Недаром товарищ Сталин в своем докладе на XVIII съезде партии сказал:

---

[1] И. Сталин, Отчетный доклад на XVIII съезде ВКП(б).

«Нужно признать как аксиому, что чем выше политический уровень и марксистско-ленинская сознательность работников любой отрасли государственной и партийной работы, тем выше и плодотворнее сама работа, тем эффективнее результаты работы, и наоборот,— чем ниже политический уровень и марксистско-ленинская сознательность работников, тем вероятнее срывы и провалы в работе, тем вероятнее измельчание и вырождение самих работников в деляг-крохоборов, тем вероятнее их перерождение. Можно с уверенностью сказать, что, если бы мы сумели подготовить идеологически наши кадры всех отраслей работы и закалить их политически в такой мере, чтобы они могли свободно ориентироваться во внутренней и международной обстановке, если бы мы сумели сделать их вполне зрелыми марксистами-ленинцами, способными решать без серьезных ошибок вопросы руководства страной, — то мы имели бы все основания считать девять десятых всех наших вопросов уже разрешенными. А решить эту задачу мы безусловно можем, ибо у нас есть все средства и возможности, необходимые для того, чтобы разрешить ее».

Э. Гард

КАРЬЕРА АФАНАСЬЕВА

«Аудитория Готье» — так называется эта не совсем обыкновенная комната.

Под потолком, на необычной высоте, — большие окна, через которые видно только небо. От окон амфитеатром спускаются скамьи. Напротив — огромная школьная доска и на ней сохранились еще написанные мелом химические формулы.

Вокруг «аудитории Готье», в проходах и коридорах, массивные двери. На них дощечки с надписями: «Препаратная», «Перевязочная», «Соблюдайте тишину — за дверью больные». Мы находимся в первой городской больнице имени Пирогова — постаринному «Градской больнице», одной из старейших больниц Москвы. Здание в стиле XVIII века, с колоннами, с садом и бесчисленными флигелями, переносит посетителя в ту далекую эпоху, когда на всю Москву было не более 150 врачей и в Градскую больницу приезжали люди из соседних городов. Теперь здесь клиники 2-го Московского медицинского института. Только в них одних работают сотни будущих врачей, которые в недалеком будущем понесут полученные знания во все края нашей необъятной страны.

Сегодня «аудитория Готье» имеет необычный вид: здесь заседает выездная сессия народного суда под председательством товарища Чевердина.

— Кого же судят?

— Судят молодого человека, который не поехал в Кзыл-Орду.

— Ну и что же? Во всем этом надо еще разобраться. Того же мнения держатся, повидимому, и вузовцы, заполнившие сверху донизу «аудиторию Готье». Юные лица взволнованы и серьезны, сдержанный шопот проходит по скамьям амфитеатра от низа до потолка. Обычные студенческие места сегодня занимают вперемежку с молодежью и седовласые врачи, профессоры, и солидные больничные служители. Сотни глаз обращены вниз, где против судейского стола на обыкновенном венском стуле сидит молодой человек — Иллиодор Афанасьев, врач, инструктор лечебной физкультуры, обвиняемый.

Вид у него скромный, и кажется, что он хочет сказать: «Что вы на меня так смотрите? Я самый скромный, обыкновенный человек и никакого интереса не представляю. Вот я сижу и жду. Сейчас недоразумение объяснится, и я выйду отсюда, сольюсь с толпой, смешаюсь с вами...»

Но аудитория пытливо и настороженно следит за ним, и это внимание, видимо, смущает молодого человека еще больше, чем вопросы председателя суда.

Впрочем, молодой человек далеко не такой юнец, хотя и окончил вуз весной этого года — ему за тридцать, и все его поведение на суде обнаруживает в нем довольно опытного дельца и расчетливого карьериста.

Иллиодор Николаевич Афанасьев решил посвятить себя физкультуре.

Он поступает в физкультурный институт, и в течение четырех лет советское государство бесплатно обучает Афанасьева, заботится о нем, давая молодому человеку возможность посвятить себя избранному им делу.

По окончании института Афанасьев устраивается на работу в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко и занимается физкультурой — лечебной гимнастикой с больными. Работа требует особых навыков: необходимо помнить всегда, что перед тобой не просто физкультурник, а сумасшедший, и физкультура для него — лекарство. Инструктору нехватает медицинских знаний.

Афанасьев поступает в медицинский институт — наука ведь не продается в нашей стране: если хочешь учиться — пожалуйста. Государство снова обучает его,

заботится о нем, в течение пяти лет всячески помогая ему.

Одновременно с учением Афанасьев продолжает работу в больнице имени Кащенко и пишет для медицинских журналов ряд статей по вопросам лечебной физкультуры. Но вот окончен и второй вуз. Иллиодор Николаевич Афанасьев — врач-физкультурник, преподаватель лечебной гимнастики в больнице имени Кащенко, столичный житель.

Жизнь течет налаженно и не без комфорта. В Москве у молодого врача хорошая комната в старом доме с колоннами на Большой Якиманке, солидная для начинающего специалиста научная библиотека, хорошо оплачиваемая работа.

Молодой человек начинает делать карьеру.

Врачей-физкультурников у нас единицы, быть среди них первым не так уж трудно. Статьи в медицинских журналах придают вес, этакую ученую солидность.

И вдруг вся эта приятная жизнь должна рухнуть. Молодого врача вызывают среди других окончивших этой весной вузы в Наркомздрав и направляют для работы в Казахстан, в город Кзыл-Орду, врачом-физкультурником психиатрической больницы.

Сообщает ему о назначении лично заместитель наркома. Афанасьев пытается отказаться: его, видите ли, не готовили к деятельности врача-психиатра, а если он и работает сейчас в больнице имени Кащенко, то не врачом-физкультурником, а инструктором лечебной физкультуры.

В этих тонкостях не может разобраться никто, кроме самого Афанасьева, и путевка в Казахстан ему выписывается.

Как! Оставить Москву, начатую карьеру, тащить за тридевять земель свою библиотеку, ехать туда, где, быть может, нет ни электричества, ни ванной, ни маршрутных такси! Нет, не для того он учился девять лет на счет своего государства, чтобы «тянуть лямку» рядового врача где-то на окраине!

Начинаются метания, столь характерные для людей типа Афанасьева. Он ищет протекции, просит походатайствовать за него и Комитет по делам физкультуры, и Институт физкультуры, и больницу имени Кащенко, и своих бывших профессоров. Но все, точно сговорились, уклоняются от ходатайств: девять лет, молодой человек, учились за счет народа, надо же быть полезным этому народу там, где этого требуют обстоятельства! Врачей нехватает. В царской России их было 20 тысяч, в СССР их 100 тысяч. Но и этого мало. В Кзыл-ордынской больнице 400 больных и всего 2 врача. Поезжайте, дорогой товарищ, поезжайте!

Тогда Афанасьев посылает письмо в Кзыл-Орду товарищам-врачам с запросом: как дела в больнице и как вообще идет жизнь в городе Кзыл-Орде? Повидимому, ответ неутешительный — нам он не известен. Может быть, ванны нет, может быть, электричество, чорт его возьми, мигает, а больные ведут себя, как заправские сумасшедшие.

«Нет, ехать нельзя!» решает Афанасьев.

Путевка остается невзятой, она сиротливо лежит в медицинском институте, куда ее переслали из Наркомздрава. Все путевки разобраны, все уехали по назначению. А вот эта путевка — врача Афанасьева — лежит и чего-то ждет.

В нашем уголовном кодексе есть статья 131-я, созданная точно специально для Афанасьевых. Статья говорит о нарушении договора с государством. Верхсуд разъяснил, что специалисты, окончившие вузы и отказывающиеся выехать по назначению для работы по специальности, подпадают под действие именно этой статьи, как нарушающие постановление ЦИК и Совнаркома от 15 сентября 1933 года «Об улучшении использования молодых специалистов». Положение это устанавливает, что обучавшиеся за счет государства обязаны проработать в течение пяти лет по назначению соответствующего наркомата.

Давно известно, что уголовный кодекс мешает жить всем совершающим преступления. Становится он и на пути карьеры Афанасьева. Его предупреждают: «Если не поедете, дело будет передано прокурору». Он решает попытаться перескочить через статью 131-ю и отвечает: «Передавайте».

И вот он стоит перед судом, под сотнями устремленных на него глаз врачей и медвузовцев, и ровным, спокойным голосом дает объяснения.

Это — заранее приготовленная, продуманная и прочитанная по бумажке речь. Нехорошее впечатление производит она, и юная аудитория волнуется, порою громко, возгласом или смехом, выражая свое настроение.

Кажется, все — и суд, и публика — ожидали, что обвиняемый встанет и скажет просто:

«Да, я виноват. Мне жалко было расставаться с Москвой, — знаете, такая хорошая комнатка, удобная работа, столица... Теперь я сознал свою вину перед обществом, перед теми сотнями больных и двумя врачами, которые ждут меня в Казахстане, и я поеду, куда бы меня ни послали!»

Но Афанасьев для своего оправдания избирает самую кривую, извилистую дорогу, протоптанную издавна всеми дельцами и карьеристами, людьми не очень твердых жизненных правил. Он заявляет, что и не

думал отказываться от поездки на периферию, — нет, ничего подобного, его хотят оклеветать, он отказывался только от работы в психиатрической больнице Кзыл-Орды, ибо он ведь не психиатр. Пусть его пошлют чернорабочим в любое место — он поедет. Но, добавляет он торопливо, разве Наркомздраву нужно, чтобы врачи работали чернорабочими?

Здесь, в Москве, он занят научной работой. Он — «отдельно врач и отдельно физкультурник». Просит не смешивать.

— И не взбалтывать? — иронически замечает кто-то на верхних скамьях.

Афанасьев говорит о своих научных работах, о том, что он не знает в труде отдыха, что бытовые условия не имеют для него никакого значения, о своем бескорыстии.

Не совсем понятно, для чего он все это говорит — ведь вот на судейском столе лежат документы, опровергающие эти красивые, записанные на бумажке слова. Но Афанасьев любит говорить — плавно, округленными фразами, сдержанно; вероятно, он сам слушает себя не без удовольствия.

А документы и факты устанавливают:

Афанасьев окончил медицинский вуз, чтобы получить редкую квалификацию врача-физкультурника, а в Кзыл-Орду его посылают именно врачом-физкультурником. Его научные работы — это статьи, которые, по отзывам специалистов, не представляют чего-либо оригинального. Бытовые условия не только имеют для него значение, но он, повидимому, прежде всего интересуется ими — именно о бытовых условиях он запрашивал врачей Кзыл-ордынской больницы. А в его бескорыстие трудно поверить, когда знаешь, что, отказываясь от поездки, он жаловался, что денег на дорогу ему дают мало — 900 рублей.

Где-то в документах по делу, в каком-то отзыве или письме, произнесено слово «дезертир». Страшное и позорное слово! В наши дни, когда международная атмосфера так сгущена и оборона страны приобрела особо первостепенное значение, когда все честные граждане СССР должны занять свои посты и нести работу на своем участке с исключительной четкостью и дисциплинированностью, — в эти дни слово «дезертир» звучит особенно веско и значительно. И Афанасьев это понимает.

Выдержка «ученого» покидает его — не до «поз», не до красивых слов оратора! Взволнованно он протестует. Но натура берет свое: и в этом случае обвиняемый пытается укрыться за свои «научные труды», он как бы потрясает ими перед судом.

Тогда выступает профессор М. А. Гуревич. Свидетель знаком с работами Афанасьева и расценивает их, как «не представляющие чего-либо особо оригинального». Профессор полагает, что обвиняемый должен был ехать в Кзыл-Орду. Афанасьев — ученик свидетеля. Да, он способный, но при институте его не оставили — были более способные. Многие из учеников профессора уезжали на периферию рядовыми, малоопытными врачами, а возвращались аспирантами. Кзыл-Орда — это тоже школа.

Свидетель Костин, заведующий кадрами Наркомздрава, рассказывает, что в Казахстане очень большой недостаток во врачах. В Кзыл-ордынской больнице всего два врача, оба молодые, кончившие вуз в прошлом году; они не отказались, и поехали, и справились с работой. Но два врача на 400 больных — это, конечно, недостаточно, им нужна товарищеская помощь. «А вот Афанасьев, — заканчивает свидетель,— отказался выполнить свой долг перед родиной».

Еще два свидетеля проходят перед судом, два профессора.

Вопрос: «Должен ли был Афанасьев ехать в Кзыл-Орду?» вызывает у них почти обиженное недоумение. Конечно, конечно, должен был ехать!

Судебное следствие закончено. В прениях сторон подводятся итоги.

Общественный обвинитель профессор Страшун произносит горячую, взволнованную речь:

«Я выступаю здесь от имени преподавателей вузов, готовящих советских врачей, и от имени врачей, которые уехали туда, куда их послало государство, я выступаю и от имени больных Кзыл-ордынской больницы».

«Я видел в Монголии, — говорит общественный обвинитель, — врачей, которые боролись с сифилисом, не имея специальной подготовки венеролога, и они побеждали болезнь. Я знаю врачей Хасана, врачей наших дальних окраин. Эти врачи вернули долг народу, отдав ему свои знания...»

Профессор напоминает, что такой крупный ученый-психиатр, как Кащенко. — в больнице его имени и работал Афанасьев, — начал некогда свою врачебную деятельность скромным участковым врачом. И сколько еще таких примеров дает наша родина!

«Пятьдесят лет назад писатель Глеб Успенский говорил, что мы дождемся еще когда-нибудь человека, который придет на помощь братьям своим в глухих углах нашей родины. И вот мы дождались: сотни советских молодых специалистов едут во все концы родины Глеба Успенского — на помощь своим братьям. Вы, Афанасьев, большой должник советского народа, вы

учились за счет народа, за его счет накапливали знания для своих статей. Но долг вы отказались отдать. И вы забыли, что советский врач не только прописывает порошки и ставит термометр, он участвует в строительстве! Вы отказались и от этого... В Западной Европе у врачей нет работы, они готовы ехать куда угодно. А вас, Афанасьев, еще уговаривают поехать на работу, дают деньги на дорогу и на переезд. Но вы отказываетесь, вам удобнее в Москве... Да, к сожалению, еще есть врачи, которые, получив назначение, первым делом интересуются не больными, а вопросами: есть ли «там» электричество, какова квартира и какой климат? Вы, Афанасьев, из этого типа врачей!..»

«Аудитория Готье» сегодня не лекционная аудитория, не зал студенческого собрания, а зал суда, бесстрастного и строго делового. Но молодежь не выдерживает— дружные аплодисменты заканчивают взволнованную речь профессора, общественного обвинителя. Эти рукоплескания — общественный приговор обвиняемому. Аплодирует и старик больничный служитель — сорок лет он в больнице, скольких врачей перевидал, и юных, и седых, и ученых, и рядовых, при нем они входили в эту аудиторию профессора Готье робкими первокурсниками и при нем выходили из стен этой больницы врачами. Старик аплодирует вместе с молодежью, очки прыгают у него на носу, а губы что-то шепчут...

Прокурор товарищ Черенков полностью присоединяется к общественному обвинителю. Член социалистического общества должен руководствоваться в своей деятельности общественными интересами, а не своими личными желаниями. В поведении Афанасьева не только нарушение договора, но и антигосударственный поступок; он представляет опасность для нашего общества, его необходимо временно изолировать, лишив на два года свободы. Пусть знают все Афанасьевы, что советский суд будет с ними бороться!

Слово переходит к защитнику. По аудитории точно волна пробегает — и тихий шелест, и шопот, и даже подавленные вздохи. Что можно сказать в защиту этого врача?

И вот мы ждем «последнего слова» обвиняемого. Как много может сказать он вот здесь, в знакомой ему аудитории, перед лицом суда и товарищей-медиков! Но Афанасьев остается верным себе до последнего момента. Кажется, что и здесь, на суде, в эту решающую для него минуту он делает карьеру. «Он не обвиняемый, не рядовой врач, он научный работник, непонятый ученый»... Вот что угадывается за его коротенькой речью. Он даже не оправдывается — точно он выше оправданий, извинений, он только полемизирует с прокурором, протестует против слова «дезертир».

Вот он садится на свой обыкновенный венский стул. И всем становится ясным: карьера И. Н. Афанасьева закончена...

Суд выносит приговор: признавая все доводы Афанасьева неосновательными, приговорить его к году лишения свободы.

А. Сперанский

ПАВЛОВ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

(Воспоминания)

В лабораторию Павлова я пришел в 1923 году уже немолодым человеком, имевшим за плечами много лет работы в области теоретической и практической медицины. В то время я переживал личный кризис, был полон разочарования и недовольства и состоянием медицинской науки, и формой моего участия в ней. Недовольство это не распространялось однако на медицину как на предмет.

Целью моего вступления в павловскую лабораторию было изучение физиологического эксперимента, казавшегося мне основным методом исследовательской деятельности в биологии. Иван Петрович был об этом осведомлен и не счел это препятствием для допущения меня к работе. Естественно, что, вступив в лабораторию, я пытался не только перенять всю сумму приемов, необходимых в повседневной работе, но по возможности старался усвоить систему самой работы, последовательность смены идей и фактов, которая определяет в е д е н и е и с с л е д о в а н и я.

Мне очень повезло. Мое рабочее место оказалось в комнате, где Иван Петрович проводил часть своего времени в наблюдениях и беседах с другими сотрудниками. Здесь обсуждались полученные данные, строились планы, переживались успехи и неудачи, шел горячий обмен мнений. Мало-помалу я научился слушать и понимать, а временами заглядывать в ту чудесную лабораторию, которую Иван Петрович носил в своем мозгу.

Некоторыми из тогдашних впечатлений я и позволю себе здесь поделиться.

Если в многолетней творческой работе Павлова попытаться найти основное, что определяет каждый отдельный этап его работы, мы должны будем сказать: э т о р а с ч е т, э т о д а л е к о и д у щ а я к о м б и н а ц и я, причем комбинация совершенно особенная.

Когда наука приступает к реализации своих планов, результат слишком часто отличается от того, что ожидалось. Лишь в случаях разработки вполне установленных положений протоптанный путь приводит к знакомым предметам. Н о э т о у ж е н е н а у к а, а т е х н и к а.

Понятно отсюда, что молодой человек, приступая к научной работе, не может ставить себе целью закончить жизненный путь сведением в систему добытых им материалов.

Оглядывая жизненный путь Павлова,

позволительно думать, что *он на это рассчитывал*.

Павлов строил здание из кирпичей, которые им же самим и изготовлялись. Вести и закончить такую работу можно лишь при условии, когда материал меняется вместе с планом, последний же в каждый данный момент согласуется с движением и сопротивлением материала. Эту форму работы Павлов оценил еще на первых шагах своей деятельности, и потому *в наследстве его почти нет случайных вещей*.

Коротко говоря, *саму идею, руководящую исследованием, он держал под постоянным исследовательским контролем*.

В итоге, более чем за шестьдесят лет борьбы и исканий, он ни разу не попадал в ложное положение, никогда не чувствовал себя вынужденным менять позиции, ибо *не прекращал строительства новых*. Факт всегда имел для него двоякое значение: как утверждение данной частной закономерности и как повод дальнейшей оценки создавших его положений.

В указанных условиях утрачивается абсолютное значение факта и играет большую роль место, которое он занимает в системе.

Так намечается объединение предмета и метода.

Свою удачу исследователя Павлов создал своими руками. Ему были чужды опасения канонической критики. *Он не искал подтверждений, он искал доказательств и потому не боялся проверки*.

Новое в науке лишь тогда легко принимают, когда это новое можно просто присоединить к старому. Когда же это не удается, когда неизбежным оказывается пересмотр старого, это вызывает раздражение, достигающее нередко открытой вражды.

Павлов также не избежал своей судьбы. Он был признан величайшим физиологом своего времени и, однако, в международной обстановке в какой-то степени был одинок.

Характерно, что он это предвидел. По некоторым признакам можно допустить, что еще смолоду он к этому готовился.

Вот два характерных случая.

Еще в юности, будучи студентом университета, Иван Петрович вступил со своим братом Дмитрием в своеобразное соревнование. Каждый из них обязался научиться излагать любой сложный вопрос, перед любой аудиторией и в любое время, делая это понятно и просто, хотя бы случайная аудитория оказалась пестрой. Прошло немного лет, и он приобрел репутацию спорщика, дискуссия с которым весьма опасна.

И он не раз говорил нам: «То, что вы логически рассуждаете, значит, конечно, что вы не сумасшедшие, но пока это и все».

Он понимал необходимость овладеть оружием логики, он им овладел, но не допустил себя до переоценки его действительной стоимости в делах исследования.

Другой пример.

Все знают, а многие даже помнят, что в период становления условных рефлексов в лаборатории запрещено было не только говорить, но и думать, пользуясь привычными терминами психологии. Нарушение этого правила каралось. И сотрудники, и даже сам Иван Петрович ежедневно становились втупик перед задачей нового словесного оформления явлений, по природе своей близких к психологическим.

Их своеобразие не было принципиальным. Оно определялось объективностью условий получения фактов. Но тогда *и все то дело заключалось в этой гарантии*, дававшей возможность поставить новые факты на одну доску с материалами других разделов физиологии. Этот героический период, создавший почти из ничего подлинную физиологию больших полушарий, требовал бдительности и борьбы со всем тем, что вторжением извне мог-

ло запутать, загрязнить или опошлить великое начинание.

Теперь, конечно, для всех уже ясно, что это не было ни капризом изобретателя, ни упрямством начетчика. Как только основные закономерности определились и была достигнута возможность перед лицом всего мира поставить вопрос о физиологии больших полушарий, Иван Петрович первым заговорил о высшей нервной деятельности в тонах, для того времени науке не свойственных. Внезапно он перестал бояться психологических терминов, ибо почувствовал силу вызвать их на бой, столкнуть с новой действительностью и в этом столкновении нащупать путь дальнейшей работы.

Расчет всего предприятия вскрылся в момент, когда победа была обеспечена, а единство системы сделалось для всех очевидным.

Не случайно однажды Павлов сказал навсегда запомнившуюся мне фразу: «Исследователю, кто бы он ни был, дано в жизни написать только одну книгу».

Вторая и, может быть, самая яркая черта в характере Ивана Петровича — это удивительная цельность его натуры исследователя.

Исследование не было родом его занятий, его профессией. Это была форма его отношения к жизни вообще. И потому, чтобы учиться у Павлова, не требовалось быть непременно физиологом или врачом. В его идеях и начинаниях все стояло вне шаблона, все дышало своеобразием и поразительной новизной инициативы. Теоретик и практик, физик, биолог и математик находили здесь примеры руководства, действительные и полезные для самых различных областей исследования. Произошло это именно потому, что работа и жизнь Павлова были смешаны до полной невозможности их разделить.

Ему незачем было искать развлечений во вне, ибо наука удовлетворяла запросам и его ума, и эмоций. Все виды искусственного возбуждения и аффекта были органически ему чужды, ибо служили лишь помехой высшей из доступных ему радостей — ясности представлений. Наконец, отдых, как смена предмета занятий, никогда и никаких специальных усилий от него не требовал. Все, что совершалось вокруг, легко становилось поводом для проявления его неисчерпаемого исследовательского инстинкта. Ему все было интересно, все требовало разбора, догадок, эксперимента и выводов, в будущем все могло пригодиться.

Хорошо известно, сколько труда потратил Павлов на наблюдение за самим собой. Долгие годы следя за своим организмом с педантизмом и настойчивостью часовщика, он достиг понимания многих его особенностей и выработал ряд полезных привычек, несомненно способствовавших и его долголетию, и редкой сохранности сил.

Вспомнить хотя бы об одной наивной и трогательной манере его — приводить себя в состояние хорошей работоспособности, когда он почему-либо был угнетен.

Обычно это бывало по утрам, зависело же от пустяков: легкого нездоровья, мелочных неприятностей (забыл проверить или завести часы), иногда от случайных встреч. В такие дни, усевшись на обычном месте, Иван Петрович молча приступал к ритуалу протирания очков и делал это дольше обычного. Лицо сохраняло выражение брезгливое и чужое.

Большинству сотрудников предвестники эти были уже знакомы. Сотрудники показывали вид, что ничего не замечают, так как заняты своим делом. Однако в лаборатории всегда имелось несколько новичков, спешивших воспользоваться странной незанятостью Павлова, чтобы вступить с ним в беседу.

Обратная сторона такой «удачи» вскоре же выявлялась. Голос Павлова начинал звучать раздраженно, всякая вина собеседника оказывалась виноватой, и дело доходило иной раз до порядочного

шума. Справедливость требует отметить, что доставалось при этом далеко не одним новичкам.

В такой не раз повторявшейся истории самым замечательным был конец. Когда его раздражение достигало апогея, все вдруг обрывалось, как по волшебству. Лицо Павлова прояснялось, глаза светились вниманием и доброжелательством, голос спускался до обычных тонов, а сам он спокойно и весело погружался в милую ему повседневность.

Таких примеров почти бессознательного учета Иваном Петровичем личных своих свойств и особенностей можно привести немало. Иногда это имело отношение даже к мелочам.

Так, при игре в городки он запрещал поднимать с земли и подавать ему палки, которые им были уже брошены. Когда, несмотря на запрещение, кто-нибудь все-таки поднимал и приносил ему его палки, он сердито бросал их на землю и поднимал вновь. Оказалось, что и здесь имелся какой-то расчет, связь отдельных этапов, только в совокупности своей определявших целое. В **систему его игры входили все детали**, в том числе и поднимание палок.

Привычка все подвергать тщательному анализу и проверке, независимо от значения и сложности самой задачи, сделало то, что Иван Петрович не знал скуки.

Помнится один эпизод. Лет десять тому назад Иван Петрович в компании с несколькими сотрудниками поехал в Колтуши для игры в городки. К вечеру следующего дня он должен был вернуться в город, мы же решили остаться. Предстояло отправить его на одноколке, не помню, до ближайшей ли станции железной дороги, или до линии городского трамвая (дорога одна). Это вызвался сделать я, неосторожно сказав, что дело это мне привычное, что еще мальчишкой я умел запрягать и править тройкой.

Слова мои со стороны Ивана Петровича немедленно вызвали совершенно откровенное и полное недоверие. Однако он не отклонил предложения, только тут же пустился все проверять. Я должен был перепрячь уже запряженную лошадь, проделав все это публично, под градом шутливых замечаний, насмешек и наставлений. В течение всего пути мои кучерские приемы подвергались неустанной критике. Для этого были использованы буквально все поводы, какие может дать сравнительно бойкая и в то время тряская дорога. И хотя, в конце концов, уличить в самозванстве меня не удалось, а на место мы прибыли благополучно и во-время, он сошел с тележки неубежденным.

Опыт этот больше не повторялся, но, и однажды поставленный, он был проведен по всем правилам науки.

Таким Павлов остался и перед лицом смерти.

Небольшое недомогание гриппозного характера, с которым ему почти уже удалось справиться, внезапно осложнилось. Утро последнего дня застало его взволнованным и беспокойным. Пришедшим к нему врачам он озабоченно заявил, что чувствует себя необычно, как никогда раньше, что он забывает слова и произносит другие, ненужные, что он совершает некоторые движения непроизвольно. «Позвольте, но ведь это кора, это кора, это отек коры».

Попытка разубедить его со стороны присутствовавших здесь терапевтов не имела успеха. Иван Петрович попросту заявил, что не интересуется их мнением, и потребовал невропатолога. Проявленную им в периоде ожидания крайнюю нетерпеливость проще всего, казалось бы, объяснить общим болезненным состоянием. Однако это было не совсем так.

Вскоре после приезда проф. М. П. Никитина, подробно обсудившего вместе с Иваном Петровичем тревожившую его нервную симптоматику, больной успокоился и вскоре уснул.

Потом уже выяснилось, что и здесь, в этом последнем своем наблюдении, бедный Иван Петрович был прав.

Вскрытие действительно показало наличие у него отека коры.

Когда спустя два часа больной пробудился, для всех стало ясным, что мы его потеряли. Но даже и в этот последний, короткий и сумеречный, период кипучая и вечно деятельная натура Ивана Петровича сумела себя показать. Он лежал тихо, в полузабытьи, из которого временами его удавалось выводить для питья или приема лекарств, и тогда каждый раз он непременно спрашивал: «Который час?»

Дважды он проявил беспокойство, пытался подняться, отбросить одеяло, спустить ноги, что было уже ему не под силу. Тогда он обращался к присутствующим: «Что же вы, ведь уже пора, надо же итти, помогите же мне».

В сущности, только этим и проявился его бред.

Незадолго до смерти он написал свое знаменитое письмо к молодежи. Пусть же молодежь знает, что здесь не только наставления мудрого учителя, что в этом письме Иван Петрович написал прекрасную правду о себе.

А. Хинчин

О ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ

Статья члена-корреспондента Академии наук СССР проф. А. Я. Хинчина посвящена вопросам преподавания математики в нашей средней и высшей школе. Товарищ Хинчин остро и сильно ставит вопрос о том, что современный уровень математического образования не соответствует задачам третьей сталинской пятилетки, и предлагает конкретные пути решительного улучшения этого дела.

Важность математического образования для советской молодежи не требует доказательств. Математика — основа технических знаний и огромного большинства точных наук. Естественно поэтому то внимание, с которым относится советская научная общественность к состоянию преподавания математики в нашей школе: этой теме было посвящено специальное собрание Московского математического общества, на котором был заслушан доклад проф. Хинчина и обсуждены его тезисы, одобренные правлением общества.

Следует указать, что вопросы, поставленные в статье проф. А. Хинчина, хотя они и адресованы в основном в область математики, не могут оставить равнодушными и вообще всех работников народного образования. Немало недостатков, на которые автор указывает применительно к своей специальности, свойственно еще нашей школе вообще.

Советская молодежь, ленинский комсомол прямо заинтересованы в скорейшем устранении этих недостатков. Советской молодежи нужно всестороннее, но реальное образование, ибо школа должна готовить молодежь к труду и обороне советского государства.

Известно, какие большие, многообразные и ответственные задачи возлагают решения XVIII съезда ВКП(б) на нашу среднюю школу. Третья сталинская пятилетка предъявляет высокие требования, в частности к делу математического образования молодого поколения. Уровень его должен отвечать заданиям новой высшей полосы социалистического строительства.

В данное время массовое математическое образование находится в таком состоянии, которое даже не приближается к желаемому. И это в первую очередь нужно отнести за счет неудовлетворительности, а подчас и порочности программ по всем разделам математики, преподаваемым в начальной и средней школе.

Недавно «Правда» в передовой статье писала: «Не справившись с делом политехнического образования, Наркомпросы вынуждены были отменить так называемое «трудовое обучение». Но, отменив, ничего взамен не дали. Программы наших школ до сих пор еще страдают оторванностью от жизни. Советской же молодежи нужно всесторон-

нее», но реальное образование, ибо школа должна готовить молодежь к труду и обороне советского государства».

Эта глубоко важная оценка особенно верна в отношении программ по математике. Если в той же статье «Правды» приводится пример ученика, знакомого с теорией электронов, но не умеющего справиться с элементарным повреждением электрической проводки в квартире, то ведь в отношении математики дело обстоит еще хуже: здесь ученик не только не имеет достаточных практических навыков, но знания его не охватывают величайших открытий последних трех веков. Наши программы представляют собой мало удачную копию дореволюционных программ и, за редкими исключениями, оставляют научное развитие ученика на уровне XVII столетия. В любой другой науке — физике, химии, биологии — такое положение вещей было бы совершенно немыслимо; только в математике мы почему-то до сих пор миримся с ним.

Самой категорической необходимостью является введение в школьные программы оснований анализа бесконечно малых. За это говорит решительно все. Анализ бесконечно малых, бесспорно, стоит в ряду величайших завоеваний человеческой культуры, подобно эволюционной теории в биологии и молекулярным теориям в физике и химии. Практические приложения его неисчислимы. И, если мы хотим довести научно-культурный уровень рабочего и колхозника до уровня работников инженерно-технического труда, то как же мы можем спокойно смотреть на отсутствие в математических школьных программах того, что составляет собой математическую основу всей современной техники? Тем более, что анализу бесконечно малых принадлежит весьма важная роль в деле формирования научного, диалектико-материалистического мировоззрения. Энгельс многократно говорил о том, что диалектика входит в математику вместе с диференциальным и интегральным исчислениями, и мы, математики, лучше всех знаем, как глубоко верны эти слова.

Все часто повторяемые возражения против введения анализа бесконечно малых в курс средней школы либо основаны на ошибочных предпосылках, либо указывают на препятствия, вполне и без ущерба для школы преодолимые. Неверно, будто восприятие этого раздела представляет для учащихся особые затруднения; те, кто в свое время обучались в реальных училищах, хорошо помнят, что усвоение элементов анализа проходило гораздо легче, чем, например, усвоение многих глав стереометрии, не говоря уже о решении головоломных геометрических задач. Неверно, будто преподавание анализа представит непомерную трудность для нашего учительства: и молодые учителя, и старые кадры учительства, при наличии хороших учебников и доброй воли, без всякого сомнения успешно справятся с новой задачей. Неверно, наконец, будто десятилетняя школа не может вместить основания анализа в свои и без того перегруженные программы. Действительно, эти программы перегружены; но мы должны внимательно посмотреть, **чем** они перегружены; среди их материала есть еще много такого, что не имеет ни идейно-мировоззренческого веса, ни практического значения и сохраняется исключительно в силу слепой традиции. Какое идейно-воспитательное значение имеют всякие «особые случаи» решения косоугольных треугольников, всякие «возвратные», «трехчленные» и прочие уравнения, головоломные стереометрические задачи и многое, многое другое?

В какое сравнение может итти все это с анализом бесконечно малых, уже почти триста лет составляющим собой главную идейную основу математической науки и главное математическое орудие естествознания и техники? Без всякого сожаления и без всяких колебаний нужно изгнать из школьных программ все архаизмы, все то, что сохраняется в этих программах только по-

тому, что «отцы и деды» так учились. Если мы букву «ять» изгнали из правописания, то нет никаких оснований давать ей свить себе гнездо в школьной математике...

Конечно, введение в школьный курс элементов анализа бесконечно малых не должно копировать старых реальных училищ, где все преподавание велось в духе и стиле элементарной математики и только в последнем классе, в виде механически прицепленного придатка, появлялись элементы аналитической геометрии, диференциального и интегрального исчислений. Разумеется, мы хотим и требуем большего. Программы должны быть построены так, чтобы идеи переменной величины и функциональной зависимости, являющиеся прямым математическим выражением основных черт диалектического миропонимания, как можно ранее усваивались учащимися и как можно ранее становились основным стержнем всего школьного курса математики. Элементы анализа не должны быть «приложением», а должны лежать в основном русле программы, составлять ее неотъемлемую, органическую часть, должны быть связаны крепкими нитями со всей основной тематикой этой программы.

Нельзя закрывать глаза на то, что создание такой программы есть дело большой трудности и чрезвычайной ответственности — задача, с которой можно справиться только в том случае, если вся научная общественность примет деятельное участие в ее разрешении. Несколько лет тому назад наша математическая общественность подняла кампанию за внедрение в школьное преподавание математики моментов, развивающих интенсивность и активность научного мышления. Речь тогда шла главным образом о повышении уровня задачного материала. Эта борьба в настоящее время увенчалась уже значительным успехом. Проведение целого ряда математических «олимпиад», пополнение старых задачников новым материалом, издание задачников повышенного типа, привлечение к этому делу внимания учителей — все это привело к тому, что в настоящее время оканчивающая школу молодежь справляется с решением задач значительно лучше, чем это было несколько лет назад.

Сейчас главная задача переместилась. Все мы, работающие в высшей школе, хорошо знаем, что основным недостатком подготовки приходящих к нам из средней школы молодых студентов теперь является уже не слабость математической техники, а недопустимо низкий и непрочный **идейный уровень**. Даже лучшие наши учителя, умеющие довести у своих учеников технику решения задач до прямой виртуозности, не всегда уделяют достаточно внимания идейному развитию учащихся. Обращение учеников с нулем и бесконечностью таково, что высшей школе приходится начинать с искоренения из умов своих воспитанников антинаучных представлений, привитых им средней школой. Ученик, блестяще владеющий логарифмическими вычислениями, очень часто не может вычислить $10^{\lg 7}$ и пытается обратиться к таблицам, т. е. фактически не знает, что такое логарифм. Не так давно один старый учитель на одном из наркомпросовских совещаний так прямо и заявил, что «нам в школе не до идей, нам бы только по-будничному научить детей вычислять и решать задачи». Надо ли говорить о том, что такая позиция для советской школы неприемлема? В нашей стране, где каждый рабочий — сознательный участник производства, не может иметь места буржуазное ограничение задач школьной математики внедрением голой, безыдейной рецептуры, узких, не открывающих никаких научных горизонтов практических навыков. Мы полагаем, что одной из основных забот новой программы должна стать забота именно о повышении идейного уровня учащихся, о расширении их научного кругозора и о том, чтобы преподавание велось в точ-

ном согласии с установками современной науки, а не на расстоянии нескольких столетий от них.

Если создание такой программы есть дело не легкое, то бесспорно еще более трудным будет внедрение ее в жизнь. Здесь необходима исключительная осторожность и постепенность. Создание новых учебников и методических руководств, пропаганда и разъяснение новых программ в общей и специальной печати, постепенная переподготовка, методическая и научная, значительной части учительства, существенная перестройка педагогической практики в педвузах — вот далеко не полный перечень тех мероприятий, которые необходимо будет планомерно осуществить частью до введения новых программ, а частью параллельно с их введением. В проведении всех этих мероприятий наша научная математическая общественность обязана взять на себя руководящую роль; в этом она должна видеть одну из своих наиболее ответственных и почетных задач перед советским государством.

Далее следует подробно остановиться на проблеме подготовки учительских кадров, взяв ее во всей широте: университеты, педвузы, педучилища, всякого рода курсы, включая и заочное обучение.

Какие бы программы мы ни придумали, какие бы хорошие ни составили учебники и методические руководства, успех в деле преподавания в конечном счете решает уровень учительства. В этом отношении дело обстоит неблагополучно, и со всей определенностью нужно подчеркнуть, что основной причиной этого неблагополучия является недостаточный н а у ч н ы й уровень подавляющего большинства нашего учительства. Нельзя требовать от учителя, чтобы его преподавание велось в согласии со взглядами и установками современной передовой науки, если сам он в этих установках не тверд. Если мы видим организационную беспомощность учителя, его неумение сделать предмет ясным, увлекательным и практически актуальным, то это почти всегда вытекает из недостаточности научного уровня преподавателя, его научной незрелости и несамостоятельности. Если, скажем, порядок изложения каких-нибудь двух глав курса в стабильном учебнике отличается от их порядка в программе, то у нас это рассматривают, как катастрофу, как организационный прорыв; в аварийном порядке изготовляются инструкции, методические документы, часто недоброкачественные вследствие пожарной спешности; раздаются обвинения по адресу составителей программ и авторов учебников. А между тем всякий учитель, умеющий не только излагать по готовым шпаргалкам, но и хоть чуточку научно мыслить, разумеется, с этой пустяковой трудностью справится сам, без всякой посторонней методической помощи.

Надо прямо сказать: мы очень многому учим будущих учителей, в том числе и многому лишнему, но мы не учим их самому главному, что нужно учителю, — умению быть научным организатором и научно-компетентным хозяином педагогического процесса. За последнее время наша печать, в особенности «Учительская газета», уделяет большое внимание педагогическому образованию; на ее страницах ответственные работники Комитета по делам высшей школы и Наркомпроса предлагают целый ряд несомненно полезных и важных мероприятий по упорядочению дела педагогического образования. Но все эти статьи почему-то совершенно обходят его основной недостаток.

Взгляните на любой приказ Комитета по делам высшей школы или Наркомпроса по высшей педагогической школе, оценивающий ее работу и предлагающий мероприятия, направленные к улучшению этой работы. Вы прочтете указания на ошибки в работе дирекции, деканатов и кафедр, вы увидите распоряжения директорам, деканам и кафед-

рам, но вы почти не найдете указаний на дефекты в работе студентов, никогда не найдете распоряжений, адресованных студентам. А часто из такого документа нельзя даже и видеть, что в наших вузах, кроме директоров, деканов и кафедр, имеются еще и студенты.

Это чрезвычайно характерно для всего стиля работы как самих учебных заведений, так и наркомпросовского руководства. На студента смотрят не как на зрелого и ответственного участника, а лишь как на объект работы, за успехи которого отвечают прежде всего директор, декан и профессор. Если студент плохо учится, то виновника извольте прежде всего искать в директорском кабинете, в деканате, в профессорской комнате; студент же играет роль производственного материала, с которого, конечно, нечего спрашивать!

В своем учебном процессе студент ничего сам не организует. С первого дня учебы до последнего государственного экзамена за него обо всем думают директор, декан и профессор. Шесть часов в день студент отсиживает на лекциях или других обязательных занятиях под руководством преподавателя. Дальше он должен проработать, т. е. повторить услышанное по запискам или узаконенному учебнику. Дальше он должен сдавать экзамены, причем и здесь он устраняется от всякого участия в организации хотя бы внешнего регламента этого дела. Мероприятия администрации педвузов по «стимулированию самостоятельной работы» студентов поистине смехотворны. Вместо того чтобы стимулировать эту самостоятельность, они делают все возможное, чтобы в корне ее задушить.

Когда речь заходит о «самостоятельной работе», то прежде всего говорят о консультациях. Побольше консультаций! Что это значит реально? Реально это значит, что студент, не понявший какой-либо мелочи на лекции или в учебнике, вместо того чтобы самостоятельно разрешить возникшее недоумение, что иногда требует не более десяти минут, приучается немедленно бежать к преподавателю, чтобы получить готовый ответ. Реально это значит, что студент, которому нужна такая-то теорема, вместо того чтобы самостоятельно разыскать ее доказательство, пересмотрев три-четыре учебника (все мы знаем, как воспитывают такие розыски), идет к преподавателю и получает законченное указание: книга такая-то, страница такая-то. И это называют мерами к стимулированию самостоятельности!

Допустим, студенты организуют научный кружок, — действительно, начинание прекрасное. Но, чтобы «стимулировать самостоятельность», преподаватели должны составить список тем, установить их очередность, указать всю литературу по каждой теме с точностью до страницы, да еще консультировать студентов при подготовке к докладам. Словом, начинание, в идее организуемое и проводимое инициативой самого студенчества, всеми мерами приближается к обычному процессу пассивной учебы. Чрезвычайно характерно, что дирекции педвузов информировать их о ходе работы кружков вменяют в обязанность не студентам (например, выборным бюро кружков), а заведующим кафедрами, очевидно, считая научный кружок рядовым и регламентированным как все учебные начинания.

Но идут и дальше. Для помощи «самостоятельной работе» студентов подчас прикрепляют к отдельным преподавателям, что означает самое неприкрытое репетиторство. Мы знаем случаи, когда студентов-государственников для подготовки к экзаменам пытались поголовно «прикрепить» таким образом к репетиторам, и только энергичное сопротивление научных работников помешало осуществлению этого вреднейшего мероприятия.

Вместе с этим факультативные курсы и семинары, т. е. именно то, что более всего воспитывает самостоятель-

ность, находятся в наших педвузах в полном загоне. Бывает, что и профессор охотно взялся бы за чтение факультативного курса и студенты хотят его слушать, а директор и декан всеми прямыми и косвенными средствами стараются добиться того, чтобы курс не состоялся. В основе этой странной и на первый взгляд непонятной тенденции лежит всегда нелепое беспокойство о том, как бы студенты не увлеклись этой самой наукой в ущерб узаконенной зубрежке.

В результате всех этих и многих подобных им «мероприятий» студент педвуза очень быстро превращается в хорошо знакомое нам существо, целиком, вплоть до последнего государственного экзамена, поглощенное заботой о том, чтобы формально вызубрить положенное от такой-то до такой-то страницы и отбарабанить вызубренное на экзамене. Все мы хорошо знаем эти пресловутые «консультации» перед государственными экзаменами, когда вы не услышите ни одного научного вопроса, но зато вас буквально забросают настоятельными требованиями авторитетно разъяснить о такой-то теореме, «нужно или не нужно ее знать». Нужно ли знать два определения непрерывности функции или разрешается вызубрить только одно? От встречи с такими государственниками волосы встают дыбом у всякого, кому дорого дело народного образования.

Что можно ожидать от так воспитанного учителя? Как может организовать работу целого класса человек, у которого на протяжении четырех лет обучения старательно и всеми средствами отнимали возможность хоть что-нибудь самостоятельно организовать в своем собственном процессе обучения? И не похоже ли это на то, как если бы школа, готовящая, скажем, инструкторов по плаванию, до выпускного экзамена включительно не позволяла своим воспитанникам спускаться в воду иначе, как на пузырях?

Что же надо сделать, чтобы все это стало иным, чтобы будущий учитель выходил из педвуза научно подкованным и организационно грамотным?

Для этого нужно прежде всего от системы бессмысленного школьнического натаскивания перейти к системе подлинного научного воспитания. Для этого нужно заботиться о расширении научного кругозора, углублении понимания идейных, принципиальных основ науки, а не о формальном заучивании отдельных разрозненных фактов ее. Для этого совершенно необходимо создать в наших педвузах и педучилищах подлинную научную атмосферу и культивировать в студентах любовь к своей науке предпочтительно перед погоней за экзаменационными отметками.

Совершенно ясны те организационные мероприятия, которые должны быть предприняты для достижения этих целей. Это прежде всего — значительное уменьшение числа часов, отдаваемых работе под руководством преподавателя и соответственный перенос центра тяжести на действительно самостоятельную работу студента. Совершенно не обязательно, как это у нас принято, каждую теорему, в деталях изложенную в учебнике, во всех подробностях доказывать с кафедры. Лекции должны не повторять и не заменять учебник, а давать принципиальные установки и идейное освещение тому материалу, который студент самостоятельно изучает по книге. Если мы станем на эту точку зрения, то число лекций по большинству предметов можно будет сократить вдвое, от чего только выиграет уровень преподавания.

Необходимо далее прекратить мелочную опеку над каждым шагом студента, необходимо усвоить взгляд на студента, как на зрелого и в полной мере ответственного работника, за успех работы которого в первую очередь отвечает он сам. Необходимо приучить его к мысли, что кафедра и деканат могут лишь оказывать ему содействие, но что организатором своего времени и своей работы он должен быть сам. Он дол-

жен уметь сам находить нужную ему литературу, и, прежде чем итти на консультацию, он должен со всем напряжением сил попытаться самостоятельно разрешить возникшее у него недоумение. Необходимо в корне ликвидировать все попытки организации репетиторства. Необходимо полностью изжить все проявления либерализма при оценке знаний и учесть при этом, что либерализм многолик и изворотлив. Он проявляется отнюдь не только в проставлении слишком высоких отметок. Когда дирекция или деканаты понуждают профессора в течение одного семестра четыре раза переэкзаменовывать одного и того же студента по одному и тому же предмету, в расчете взять этого профессора «измором», заставить его, махнув рукой, с отчаяния поставить, наконец, «посредственно», то это еще худшее проявление либерализма, ибо продиктовано оно опасным пороком, известным под именем процентомании.

Необходимо, наконец, широко развить в наших педвузах сеть факультативных курсов, научных семинаров и работающих на основе самостоятельной студенческой инициативы научных кружков. И не следует ограничиваться в этом направлении ни к чему не обязывающими пожеланиями, а уже при определении штатов каждого педвуза учитывать потребность в специальных факультативных курсах и семинарах.

Вот те основные сдвиги в учебном режиме наших педвузов, необходимость которых всем очевидна.

Это — для студентов, для будущих учителей. В чем же нуждается уже работающее учительство, его старые кадры? Прежде всего в хорошей книге — научной, учебной и методической, и притом в книге доступной, изданной в таком тираже, чтобы она могла действительно дойти до учителя. Литература, способная повысить научную квалификацию учителя, издается у нас в ничтожном количестве, такими тиражами, при которых она фактически не доступна своему естественному читателю. А между тем пора осознать, что эта литература составляет в жизни нашей школы столь же необходимый элемент, как и учебник для учеников. При наших миллионных тиражах учебников не может быть, чтобы не нашлось средств и возможностей для решения этой, в полиграфическом отношении гораздо более скромной задачи. Наркомпрос должен понять, что здесь идет речь не о роскоши, а о хлебе насущном для нашего учительства.

Необходимо также принять меры к тому, чтобы наши учителя периодически проходили краткосрочные курсы повышения научной квалификации. Даже в две-три шестидневки учитель может получить хорошую и действенную научную зарядку, если только мы позаботимся о том, чтобы такого рода курсы были обеспечены рациональным планом и достаточно квалифицированными лекторскими силами. Самое главное здесь в том, чтобы научное освещение не подменивалось, как это часто у нас бывает, сообщением методической рецептуры, методических шпаргалок. Никакие ссылки на то, что, мол, сами учителя хотят этих шпаргалок, не должны приниматься в качестве предлога для такой деградации. В учительстве, как во всякой среде есть свои передовые и свои отсталые слои, и плестись в хвосте этих отсталых слоев не составляет чести для тех, кто призван руководить учительством и организовать его работу.

Выработка новых программ и подготовка учительских кадров являются бесспорно важнейшими из тех задач школьной жизни, над которыми нужно работать. Однако список таких задач, конечно, может и должен быть значительно расширен, и мы теперь в заключение кратко остановимся на тех из них, решение которых нам представляется неотложным.

Научная общественность в ближайшее время должна внимательно рассмо-

треть работу наших методических научно-исследовательских учреждений, кабинетов и лабораторий, а также методических кафедр педвузов, ознакомиться с их тематикой, их кадрами и методами работы. Рецептура областного или городского кабинета подчас носит для учителя законодательный характер, а у нас есть проверенные сигналы, свидетельствующие о прямой безграмотности этой рецептуры даже в столичных учреждениях. Это неудивительно, так как научно образованных методистов у нас можно пересчитать по пальцам. Подавляющее большинство методических кадров, даже в Москве, до сих пор находится на недопустимо низком научном уровне и воспитывает в учителях педантизм и тот схоластический подход к науке, которым до сих пор так грешит преподавание математики в нашей школе. Но самое худшее в том, что методические кадры совершенно не растут. О воспитании новых методистов никто не заботится, это дело предоставлено полнейшему самотеку. Во всей РСФСР, если мои сведения верны, имеется три аспиранта, готовящихся к научной деятельности в области методики математики! Институт школ составил проект аспирантского минимума, но его никто не хочет утверждать. Комитет по делам высшей школы посылает в Наркомпрос, и обратно.

Никто не знает, должны ли за диссертации по методике математики присуждаться степени по педагогическим или математическим наукам. Никто не знает уровня требований, предъявляемых к такого рода диссертациям. Никто не знает, на ком лежит обязанность руководства диссертантами и кому предоставлено право руководить ими. Педвузы от этого открещиваются, а Институту школ не предоставлено права присуждения степеней. В результате опытный и научно-мыслящий учитель, задумавший серьезно работать над диссертацией и приехавший в Москву искать помощи и оформления своей работы, претерпевает бесконечные мытарства — отсылается из Комитета по делам высшей школы в Наркомпрос, оттуда в Институт школ, оттуда в педвузы и т. д. — и в конце концов уезжает домой ни с чем. А кадры научно апробированных методистов редеют с каждым днем, никем и никак не пополняясь.

С этим положением срочно необходимо покончить. Научная общественность должна возвысить свой голос и потребовать установления порядка в этом деле. Но этим ее роль ограничиться не может. Она обязана принять непосредственное участие и в деле воспитания методической аспирантуры, ибо если она этого не сделает, то новые методические кадры будут так же беспомощны в научном отношении, как работающие ныне.

Мы полагаем далее, что необходимо со всей серьезностью рассмотреть вопрос о возможности некоторой специализации преподавания в старших классах нашей школы. Этот вопрос уже неоднократно поднимался в нашей центтральной печати в связи с известным тезисом доклада тов. Молотова на XVIII съезде партии о необходимости дать школьникам некоторую подготовку к будущей практической деятельности.

Необходимо защитить право передового учителя на здоровый методический эксперимент, оградить такого учителя от педантических придирок директора, методиста, инспектуры, в особенности инспектуры некомпетентной, как это сплошь и рядом у нас бывает. Известны случаи, когда директор или завуч запрещали учителю доказывать теорему не так, как она доказывается в стабильном учебнике. С другой стороны, нередко бывает и так, что сам учитель требует преувеличенной регламентации, которая освободила бы его от необходимости мыслить методически. Есть учителя, требующие, чтобы по некоторым разделам в программе были перечислены все задачи, которые школьники должны уметь решать, чтобы были пе-

речислены не только названия теорем, но и обязательные способы их доказательств. Иной педант-методист с подлинным ужасом говорит о возможности такой катастрофы, что в двух разных школах одну и ту же теорему станут доказывать разными методами. Ясно, что со всеми этими отсталыми, реакционными тенденциями мы должны вести самую решительную борьбу. Человеку в футляре не место в советской школе!

Нужно добиваться, далее, чтобы в четвертых, а по возможности и в третьих классах в ближайшее время были привлечены к преподаванию учителя-предметники (хотя бы окончившие учительские институты) вместо ныне работающих там универсалистов. Мы все знаем, что давно назревшее обновление программ весьма существенным образом упирается в то, что учителя-неспециалисты не в силах справиться с новыми программами.

И, наконец, мы полагаем, что научная общественность должна поднять вопрос о созыве в течение ближайших 1—2 лет всесоюзного съезда учителей математики. Даже в дореволюционное время учительские съезды играли прогрессивную роль. Не может быть сомнения в том, что в условиях советской школы с ее бурной общественной жизнью всесоюзный съезд советского математического учительства будет событием огромного значения, способным во всех отношениях повысить и стимулировать горячее желание наших учительских масс поднять математическое преподавание в школах до уровня, достойного великих культурных и народнохозяйственных задач третьей сталинской пятилетки.

Л. Левин

ЗАМЕТКИ О САТИРИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ

(Зощенко, Ильф и Петров)

Известно, что сатирическое стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся» получило высокую оценку Владимира Ильича Ленина в его докладе на заседании коммунистической фракции Всероссийского союза металлистов 6 марта 1922 года.

Отправляясь от этого стихотворения, Владимир Ильич говорил: «Был такой тип русской жизни — Обломов. Он все лежал на кровати и составлял планы. С тех пор прошло много времени. Россия проделала три революции, а все же Обломовы остались, так как Обломов был не только помещик, а и крестьянин, а и интеллигент, и не только интеллигент, а и рабочий и коммунист. Достаточно посмотреть на нас, как мы заседаем, как мы работаем в комиссиях, чтобы сказать, что старый Обломов остался, и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел» [1].

В этих словах Ленина отчетливо сформулированы общие задачи советской сатирической литературы. В нашей стране до сих пор существуют пережитки капитализма в сознании людей. Обломовщина, охарактеризованная Лениным, представляет собой одну из тех форм, в которых они выражаются.

Носители этих пережитков, подчас вполне откровенные, а подчас искусно и причудливо замаскированные, еще продолжают заражать атмосферу нашей страны микробами стяжательства, алчности, неуважения к людям, казенщины, бюрократического равнодушия и хамства. Именно этих людей, под какими бы личинами они ни выступали, должна беспрестанно «мыть, чистить, трепать и драть» советская сатира.

Этим определяется ее воинствующий, боевой характер. Советский сатирический писатель по самой своей природе должен обладать боевым революционным темпераментом. Его профессия, по шутливому замечанию Зощенко, «вредна и недопустима при малокровии и туберкулезе». Он всегда должен быть готов к той бескровной, но жестокой войне, которая и составляет смысл всей его деятельности.

В своей замечательной и до сих пор еще не вполне оцененной «Голубой книге» Зощенко высказывает весьма любопытные мысли о профессии сатирического писателя. «Профессия сатирика, — пишет он, — довольно, в сущности, грубая, крикливая и мало симпатичная. Постоянно приходится говорить окружающим какие-то колкости, какие-то грубые слова: «дураки», «шантрапа», «подхалимы», «заелись» и так далее». Но «вообще-то говоря, — пишет Зощенко, — если подумать глубже, профессия эта тоже нужная и полезная в общественном смысле. Она одергивает дураков и предостерегает умных от их глупых поступков. Она расширяет кругозор и мобилизует внимание то одних, то других на борьбу то с тем, то с этим. Она иллюстрирует всякого рода решения и постановления, а также приносит известную пользу в смысле перевоспитания людских кадров».

Нарочито-наивная манера, в которой выражены эти мысли, принадлежит, конечно, не самому автору, а традиционному рассказчику, выполняющему в произведениях Зощенко роль посредника между автором и читателем. Свою книгу «Возвращенная молодость» Зощенко охарактеризовал, как «такое, что ли, научное сочинение, науч-

[1] Ленин, Соч., т. XXVII, стр. 177.

ный труд, изложенный, правда, простым, отчасти бестолковым, бытовым языком, доступным, в силу знакомых сочетаний, самым разнообразным слоям населения». На этом «простом, отчасти бестолковом, бытовом языке» всегда говорит тот персонаж, от имени которого Зощенко ведет повествование.

Говоря о том, что профессия сатирического писателя «мобилизует то одних, то других на борьбу то с тем, то с другим», Зощенко переводит некие общие мысли на этот привычный для него «отчасти бестолковый бытовой язык». Но мысли сами по себе не становятся от этого менее правильными. Очень веским подтверждением их правильности является ежедневная сатирическая работа самого Зощенко.

Среди многочисленных сатирических рассказов Зощенко несколько особое место занимает маленький рассказ, озаглавленный «Собачий нюх». Главное действующее лицо этого рассказа — уголовная собака-ищейка, вызванная купцом Еремеем Бабкиным, у которого украли енотовую шубу.

Как только собаку привели на место происшествия, она понюхала воздух, обвела глазами собравшуюся толпу и направилась к бабке Фекле. Бабка попыталась было скрыться, но, увидев, что это невозможно, рухнула на колени перед агентом и призналась в том, что действительно варит самогон. Что же касается шубы, то про нее она знать ничего не знает и ведать не ведает.

Когда бабку Феклу увели, собака возобновила свои поиски, понюхала воздух и подошла к управдому. Тот побелел, упал навзничь и признался в том, что деньги, собранные за воду, действительно истратил на свои личные прихоти.

Пока вязали управдома, собака успела разоблачить еще одного мошенника, подчистившего в своей трудовой книжке год рождения. Тогда купец Еремей Бабкин подал агенту деньги и попросил его увести собаку. «Пущай, — говорит, — пропадает енотовая шуба. Пес с ней». Но собачка на этот раз направилась к самому купцу, и ему пришлось сознаться в том, что шубу он действительно зажилил у своего брата.

Так уголовная собака-ищейка разоблачила добрый десяток мошенников и жуликов. Наконец, на дворе остались только собака и агент. Тогда собака подошла к агенту, и тот, упав перед ней, признался в том, что из трех червонцев, отпущенных на «собачий харч», он два червонца действительно берет себе. «Чего было дальше, не известно. Я от греха поскорее смылся» — таковы последние слова рассказа.

Находились люди, которые считали, что этот рассказ Зощенко носит, так сказать, мизантропический характер, — дескать, честных людей на свете нет и верить никому нельзя. Что уж говорить, если даже сам рассказчик, и тот поскорее «смылся от греха».

Люди, сами достойные того, чтобы стать объектом сатиры, упорно и тупо втолковывали писателю, что, показывая бюрократа и мошенника, он непременно должен тут же противопоставить ему честного человека, — нето читатель, не дай бог, может подумать, что все советские люди — мошенники и бюрократы.

По поводу рассказа «Собачий нюх» эти люди говорили, что его автору свойственно пессимистическое мировоззрение, что он всех советских людей, вплоть до агентов уголовного розыска, считает мошенниками и жуликами, что это объективно является клеветой на русский народ и что, вследствие этого, Зощенко, выражаясь словами Ильфа и Петрова, «не кто иной, как объективный Булах-Булахович или Мазепа».

До самого недавнего времени Зощенко сталкивался с упорным непониманием или нежеланием понять, что лицо, от имени которого ведется повествование в его рассказах, никак не может быть отождествлено с автором. В тех случаях, когда этого уже нельзя было не понять, обычно говорилось, что, конечно, было бы неправильно целиком отождествить Зощенко с его рассказчиком, но что, в сущности говоря, Зощенко все-таки не поднимается над уровнем своего рассказчика и смотрит на мир его глазами.

Таким образом, своеобразие сатирической работы Зощенко оставалось непонятым. Полностью игнорировалась та чрезвычайно индивидуальная литературная манера, которая и делает Зощенко одним из самых интересных и своеобразных писателей современности.

Едва ли не самая существенная особенность сатирических рассказов Зощенко состоит в том, что их автор производит как бы двойное разоблачение. Он разоблачает не только своих персонажей — всех этих бюрократов и пошляков, стяжателей и корыстолюбцев, — но и самого рассказчика, как две капли воды похожего на тех самых людей, над которыми он издевается.

Прекрасным примером этого двойного разоблачения является рассказ «Собачий нюх». Лицо, от имени которого ведется этот рассказ, потому и поспешило удалиться, что между ним и уже разоблаченными мошенниками нет никакой разницы. Это лицо не без основания полагало, что «уголовная собака» не обойдет и его своим вниманием.

В рассказе «Собачий нюх» действительно можно ощутить ту невысказанную мысль, что все люди — жулики и мошен-

ники и что верить никому нельзя. Но тонкость сатирического замысла, характерная для Зощенко, в том и состоит, что эту мизантропическую мысль высказывает, конечно же, не автор, а рассказчик, который без всякого сомнения сам является мошенником и жуликом. В творчестве Зощенко сатирический замысел усложнен тем, что фигура рассказчика также служит объектом сатиры. Только имея в виду эту особенность Зощенко как сатирического писателя, можно составить себе ясное представление о его работе.

В своей речи на III Всероссийском съезде РКСМ Владимир Ильич Ленин говорил: «Старое общество было основано на таком принципе, что либо ты грабишь другого, либо другой грабит тебя, либо ты работаешь на другого, либо он на тебя, либо ты рабовладелец, либо ты раб. И понятно, что воспитанные в этом обществе люди, можно сказать, с молоком матери воспринимают психологию, привычку, понятие — либо рабовладелец, либо раб, либо мелкий собственник, мелкий служащий, мелкий чиновник, интеллигент, — словом, человек, который заботится только о том, чтобы иметь свое, а до другого ему дела нет» [1].

Эти «психология, привычка, понятие», воспринятые с молоком матери и потому столь трудно истребимые, являются главным врагом Зощенко. На протяжении двадцати лет Зощенко неутомимо преследует этого своего врага.

Мелкие человеческие страстишки, ничтожная корысть, копеечная выгода, бездушное отношение к человеку, — весь тот круг представлений, понятий, привычек, который мы привыкли связывать с психологией мещанина, — таков этот враг, живучий, упорный, цепкий, бешено сопротивляющийся победоносному наступлению социализма.

В своих сатирических рассказах Зощенко как бы демонстрирует многообразие тех проявлений, на которые способен этот враг. Он развертывает перед читателем целую систему частных случаев, показывающих, что враг живуч и что борьба с ним не должна прекращаться ни на одну минуту.

В «Голубой книге» Зощенко обобщает свою ежедневную сатирическую практику. Он уже не ограничивается демонстрацией частных случаев. Его интересуют общие законы, управляющие теми людьми, которых он разоблачал в своих рассказах, его занимают внутренние стимулы, руководящие мыслями и поступками этих людей.

«Голубая книга» построена весьма своеобразно. Книга делится на пять больших частей: «Деньги», «Любовь», «Коварство», «Неудачи» и «Удивительные события». Каждая из этих частей в свою очередь делится на два раздела. В первом из них приводятся разного рода исторические эпизоды, иллюстрирующие мысль автора. Во втором рассказываются современные истории, показывающие, что пережитки старины сохранились и в нашей действительности.

Вот, например, первая часть «Голубой книги», озаглавленная «Деньги». В первом разделе этой части Зощенко на целом ряде примеров показывает ту безграничную власть, которую деньги имели над людьми на всем протяжении человеческой истории. Переходя ко второму разделу, Зощенко обещает рассказать «комичные и варварские историйки, происходящие из-за денег в нашей стране, хотя у нас многие печальные дела, связанные с деньгами, вернее — с богатством, уже безвозвратно исчезли».

И далее Зощенко рассказывает эти «комичные и варварские историйки». При этом выясняется, что некоторые из них некогда уже были им рассказаны. Обобщенные и вставленные в единую систему книги, они приобрели совершенно новое звучание.

Так, например, много лет тому назад Зощенко написал рассказ под названием «Спекуляция». В этом рассказе некая молочница взялась за пять червонцев найти мужа вдове, которой она носила молоко. Так как на примете у молочницы не было никого, кроме собственного мужа, и так как ее захлестнула корысть, она предложила своему мужу познакомиться с вдовой. Вскоре муж переехал к вдове и остался у нее навсегда. «Так, — заканчивает Зощенко, — за пять червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга».

Примерно к тому же периоду относится и рассказ «Сильнее смерти». Герой этого рассказа Сисяев спекулировал в эпоху нэпа иностранной валютой и был сослан в Нарымский край. Отправляясь в ссылку, он зашил сохранившиеся у него золотые монеты в старую кожаную тужурку. Вскоре он простудился и захворал. Почувствовав приближение смерти, Сисяев решил проглотить свое богатство. Все монеты он проглотить не успел — его остановили, но пять или шесть штук проглотил. Поправившись от воспаления легких, он стал мучиться желудком. Оперироваться он не хотел из боязни, что «во время хлороформа он недосмотрит и хирурги разворуют его монеты».

Эти рассказы включены в «Голубую книгу». Один из них называется «Рассказ про одну корыстную молочницу», другой — «Рассказ про спекулянта». Так Зощенко обобщает ранее рассказанные им частные случаи и рассматривает их в свете некоторых общих идей. Писатель со всей силой своего беспощадного остроумия разоблачает людей, являющихся носителями пере-

[1] Ленин, Соч., т. XXV, стр. 393.

житков «власти денег». Таким образом, писатель выступает в роли активного борца с пережитками капитализма в человеческом сознании. Он выкорчевывает эти пережитки боевым оружием сатиры.

Говоря о Зощенко, мы все время называем его сатирическим писателем. Нам могут сказать, что это неверно, что мы забываем о той разнице, которая существует между сатирой и юмором, и что в творчестве Зощенко элементы юмора гораздо сильнее, чем элементы сатиры.

Однако все дело в том, что понятия сатиры и юмора претерпели в советской литературе весьма существенные изменения. Конечно, границы между ними продолжают существовать, но объем и характер этих понятий сильно изменились. Сатира утратила свойственный некоторым сатирикам прошлого безысходно-мрачный колорит («горьким смехом моим посмеюся»), а юмор утратил то безоблачное благодушие, которое считалось его отличительной особенностью.

Это объясняется, конечно, изменением самой роли сатиры и юмора в нашей литературе. Сатирическая литература прошлого всегда была орудием борьбы против существующего строя. Советская сатира не только не борется с существующим строем, но всем смыслом своей деятельности способствует его укреплению и борется с его врагами. Естественно, что это коренным образом меняет всю ее природу. Прежде всего это приводит к тому, что сатира приобретает оптимистический характер, не становясь, однако, благодушной и беззлобной.

Благодаря этому меняются и отношения между сатирой и юмором. В творчестве Зощенко, так же как и в творчестве Ильфа и Петрова, мы находим своеобразное соединение сатиры и юмора: гневная и злая сатира там, где идет речь о врагах, мягкий и сердечный юмор там, где речь идет о честных советских людях.

Очень показательна в этом смысле новая книга Зощенко, в которой собраны рассказы последних лет. Среди них особенно интересны два рассказа, озаглавленные «Новые времена» и «Огни большого города». (Надо сказать, что Зощенко вообще очень любит названия, уже использованные в искусстве. Благодаря неожиданности и новизне темы старое название начинает звучать иронически или шутливо, например: «Сердца трех», «Сильнее смерти», «Много шума из ничего», «Двадцать лет спустя», «Браки заключаются в небесах», «Опасные связи». В печати сообщалось о том, что Зощенко пишет книгу под названием «Ключи счастья».)

Герой рассказа «Огни большого города», официант Гаврилов, тяжело заболел. Опасаясь смертельного исхода, жена больного вызвала телеграммой его отца, проживавшего в деревне. Больной уже начал поправляться, когда из далеких мест прибыл седой старик в лаптях, с мешком за спиной, и с палкой. Он первым делом «схлестнулся» с дворником и вообще сразу показал себя грубияном и скандалистом. Эти его качества особенно сказывались еще и потому, что все окружающие, начиная с дворника и кончая его собственным сыном, считали своим долгом посмеиваться над ним, хотя и без всякой злобы. Скандал следовал за скандалом. В довершение ко всему старик страшно «надрызгался» в пивной и его чуть не сволокли в милицию.

Однажды старик гулял по городу и заблудился. Преодолевая страх, вполне понятный после недавнего приключения в пивной, старик подошел к милиционеру. Он думал, что тот закричит на него, засвистит, затопает ногами. Но милиционер, «согласно внутренней инструкции», отдал ему честь. Этот жест, «рассчитанный в свое время на генералов и баронов», произвел на старика такое громовое впечатление, что, возвращаясь домой, он неожиданно отдал честь дворнику, с которым до сих пор скандалил и ругался. И вообще старик совершенно изменился. Тихо и мирно уезжая через несколько дней в деревню, он на прощание отдал честь всем провожающим.

Мораль этого рассказа формулирует «один интеллигент, страдающий сахарной болезнью». «Я завсегда отстаивал ту точку зрения, — говорит он, — что уважение к личности, похвала и почтение приносят исключительные результаты. И многие характеры от этого раскрываются буквально, как розы на рассвете».

Значительно более сложным построением отличается очень интересный рассказ «Новые времена». Этот рассказ с особенной отчетливостью показывает, как в творчестве Зощенко переплетаются элементы сатиры и юмора, как пафос отрицания мелких и подлых человеческих качеств всегда идет рядом с пафосом борьбы за нового, социалистического человека.

Некая мещаночка, по имени Любочка, вышла замуж за одного гражданина, который «так ее любил, как, может быть, и не бывает в этом мире». Стремясь устроить своей Любочке богатую и красивую жизнь, этот гражданин вскоре попался на какой-то махинации и был отправлен на пять лет «на одно крупное строительство».

Там он работал как слон и беспрерывно тосковал по Любочке. Видя такое усердное отношение к работе, его начальник, товарищ Гонецкий, устроил ему свидание с Любочкой. Однако, приехав к мужу, Любочка влюбилась в одного молодого парня из охраны. Этот парень, по фамилии Дошевец, хотя и сознавал, что совершает «преступление по службе», но ничего не мог

с собой поделать. Однажды он пошел к Гонецкому, признался во всем, сказал, что Любочка — социально опасная женщина, которую необходимо удалить со строительства, и что он, Дошевец, готов понести заслуженное наказание.

Гонецкий, посадив Дошевца под арест, сам пошел посмотреть на Любочку. Видя, что Гонецкий рассматривает ее с явным интересом, Любочка начала с ним кокетничать. Он стал с ней встречаться, и она, вероятно, очаровала бы его, если б он не знал, что «человек нового быта — это тот, который с помощью разума умеет управлять своими темными желаниями. И в этом — новая мораль».

Когда на другой день Любочка снова пыталась его завлекать, он улыбался в ответ на ее попытки, разговаривал с ее мужем и шалил с их маленькой дочкой Галей. Сначала Любочка сердилась, потом начала прислушиваться и, наконец, приняла участие в общем разговоре. Так они часто беседовали втроем.

«И Люба всем и каждому рассказывала о Гонецком с огромным уважением. И в ее словах чувствовалось некоторое, что ли, удивление и, пожалуй, растерянность, поскольку в мещанской среде ей до сих пор не приходилось встречать представителя нового быта».

Нетрудно заметить, что в рассказах «Новые времена» и «Огни большого города» развернута, в сущности говоря, одна и та же тема. В одном рассказе старик Гаврилов меняется потому, что к нему по-человечески отнесся милиционер, в другом рассказе Любочка меняется потому, что к ней по-человечески отнесся Гонецкий.

Эта тема служит едва ли не главной темой Зощенко как сатирического писателя. Мы говорим о борьбе с бездушным, хамским, холопским отношением к людям, пережитки которого еще сохранились в нашей стране, и о борьбе за подлинное социалистическое уважение к достоинству советского гражданина. При таком уважении, как бы говорит всем своим творчеством Зощенко, «человеческие характеры раскрываются буквально, как розы на рассвете».

Долгое время Зощенко видел одни только отталкивающие хамство и бездушие, одни только пережитки старого, рабского отношения к людям. Это было, конечно, связано с недостаточным пониманием советской действительности и с незнанием новых людей.

Теперь кругозор Зощенко расширился. В поле зрения писателя вошли новые люди и новые факты. Старому, рабскому отношению к людям, с которым Зощенко продолжает беспощадно бороться (об этом свидетельствуют включенные в его последнюю книгу рассказы «Поминки», «Веселая игра» и др.), теперь противопоставлены факты нового, социалистического отношения к людям, которое Зощенко утверждает всей силой своего творчества.

В этом смысле сатирическая работа Зощенко очень тесно связана с работой того замечательного писателя-сатирика, имя которого Ильф и Петров. По своей литературной манере Зощенко совсем не похож на Ильфа и Петрова, но единое направление таланта этих писателей определяется едиными задачами, стоящими перед советской сатирической литературой.

Выше уже говорилось о том, что в рассказах Зощенко автор скрыт под маской рассказчика, который сам является объектом сатирического разоблачения. Нужно сказать, что в последних произведениях Зощенко функция рассказчика сильно изменилась. Это уже не воинствующий мещанин, как прежде, а просто несколько наивный и простодушный человек, изъясняющийся на том самом «отчасти бестолковом бытовом языке», который составляет одну из особенностей Зощенко, как сатирического писателя.

Ильфу и Петрову свойственна совсем иная литературная манера. В их произведениях повествование ведут сами авторы — наблюдательные и злые люди, необыкновенно остро ощущающие фальшь, приспособленчество, ложь, тупость и борющиеся со всеми этими пороками беспощадным оружием своей сатиры.

Ильф и Петров, так же как и Зощенко, направляют это оружие прежде всего против равнодушного и хамского отношения к человеку. В коротких рассказах и фельетонах Ильфа и Петрова сатирическое задание еще более обнажено, публицистически еще более заострено, чем в произведениях Зощенко. Это больше фельетоны, чем рассказы. Очень часто мы не находим в них никакого сюжета. Чаще всего они строятся на нескольких эпизодах, объединенных лишь общим сатирическим заданием. Таков, например, очень характерный для Ильфа и Петрова фельетон «Равнодушие».

Некий художник, жену которого нужно немедленно доставить в родильный дом, останавливает ночью десятки машин, но ни одна из них не хочет уклониться в сторону на несколько минут, чтобы помочь женщине, рожающей на улице.

Это нарушение самых элементарных правил социалистического общежития приводит Ильфа и Петрова в подлинную сатирическую ярость. «Как жалко, — пишут они, — что номера машин остались неизвестными, что нельзя уже собрать всех этих безумно занятых людей, собрать в Колонном зале Дома Союзов, чтобы су-

дить их... как отчаянных врагов социалистического общества за великое преступление — равнодушие!».

После примера с женой художника авторы приводят еще несколько примеров столь же возмутительного равнодушия к людям. Эти примеры связаны друг с другом лишь общей темой фельетона. Такое строение вещи характерно не только для фельетонов, но и для многих рассказов Ильфа и Петрова.

В своей борьбе за уважение к человеку Зощенко преимущественно занят вопросами этического порядка. В отличие от Зощенко, Ильф и Петров особенно взволнованы чисто бытовой, материальной стороной дела. Они обеспокоены тем, чтобы человеку нашей страны были предоставлены хорошие бытовые условия, чтобы он мог как следует отдохнуть, чтобы его культурно и заботливо обслуживали. Нетрудно понять, что Ильф и Петров, так же как и Зощенко, говорят о социалистическом уважении к человеку, но этот разговор носит в их рассказах и фельетонах чисто практический и деловой характер. Едва ли не самые лучшие рассказы и фельетоны Ильфа и Петрова посвящены именно этим «мелочам быта». Таковы «Веселящаяся единица», «Директивный бантик», «Халатное отношение к желудку», «Горю и не сгораю», «Пытка роскошью», «Для полноты счастья» и многие другие.

Ильф и Петров серьезно взволнованы, например, тем, чтобы советский гражданин, придя в мебельный магазин, мог купить красивый и удобный письменный стол, за которым хотелось бы сидеть и работать. Ильф и Петров действительно озабочены тем, чтобы советские молодые люди были нестандартно и со вкусом одеты, чтобы пиджаки не были узки в плечах и чтобы их удобно было носить. Они, наконец, не на шутку обеспокоены тем, что мы до сих пор не умеем просто и весело проводить время в наших прекрасных парках.

В блестящем фельетоне «Веселящаяся единица» Ильф и Петров с подлинным сатирическим темпераментом издеваются над попытками превратить отдых в «гулятельно-созидательный процесс».

В этом фельетоне речь идет опять-таки о бездушном, казенном, каком-то нечеловеческом отношении к людям, но эта тема решается не в общем моральном смысле, а на практическом деловом примере.

Одним из самых заклятых врагов Ильфа и Петрова является бюрократизм. Этого своего врага Ильф и Петров разоблачают с неистощимой изобретательностью беспощадно, зло, со всей силою своего неиссякаемого и меткого остроумия.

В рассказае «На волосок от смерти» для этого разоблачения найден очень остроумный сатирический прием. Журналисты Присягин и Девочкин получили от журнала «Кустарь-невропатолог» задание написать очерк о психиатрической больнице. Совершенно случайно попав не в сумасшедший дом, а в учреждение «Силостан», Присягин и Девочкин нашли там буквально все те материалы, которые были им нужны для очерка. То, что они видели, дало им повод написать прекрасный очерк «В мире душевнобольных». Когда этот очерк был опубликован, видный психиатр профессор Титанушкин обратился в редакцию со специальным письмом. Он выражал свое удовлетворение тем, что нравы и повадки душевнобольных изображены авторами очерка с таким удивительным знанием предмета.

Рассказы и фельетоны Ильфа и Петрова самым тесным образом связаны с их романами. Тот же самый «Силостан» или почти фантастический «Клооп» из одноименного рассказа очень напоминают столь остроумно описанное в «Золотом теленке» учреждение «Геркулес» с его незабываемым начальником Подыхаевым.

Однако если общие задачи сатирического рассказа и сатирического романа совершенно совпадают, то методы решения этих задач не могут не быть глубоко различными. Это относится прежде всего к работе над человеческими характерами и над сюжетом. Большой сатирический роман не может обойтись без развернутого сюжетного движения. Равным образом он не может обойтись и без широких характеров, разработанных в соответствии с его общим сатирическим заданием.

С этой точки зрения небезынтересно подойти к романам «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Наша сатирическая проза знает огромное количество рассказов и фельетонов, но большие жанры ей как бы не подвластны. Романы Ильфа и Петрова являются в этом смысле исключением.

Впрочем, это утверждение не совсем точно. Евгений Петров как-то рассказал, что сюжет «Двенадцати стульев» был подсказан ему и Ильфу писателем Валентином Катаевым. Мы не знаем, насколько в этом сюжете было предусмотрено появление Остапа Бендера, но мы можем с уверенностью сказать, что этому появлению предшествовали некоторые страницы из сатирической повести «Растратчики», написанной Валентином Катаевым в 1925—1926 годах.

Главный бухгалтер одного московского учреждения Филипп Степанович Прохоров и его кассир Ваничка получили в банке двенадцать тысяч рублей для выдачи жалованья своим сотрудникам. В силу несчастного стечения обстоятельств Филипп Степанович и Ваничка попали на стезю

преступно-легкомысленной жизни, сначала отправились прожигать жизнь в Ленинград, затем поехали в провинцию, прокутили все деньги и кое-как добрались до Москвы, где и понесли заслуженное наказание.

Когда друзья еще пользовались гостеприимством ленинградской гостиницы «Гигиена», однажды к ним в номер вошел человек с пухлым портфелем подмышкой. Внимательно осмотрев обстановку и несколько раз сказав «ага» и «так-так», он извинился, что прервал беседу, и спросил фамилии присутствующих. Присутствующим сразу стало ясно, что их веселая жизнь кончена и что они, еще не насладившись вполне ее прелестями, уже должны держать ответ.

Каков же был их восторг, когда вошедший оказался агентом по распространению художественных изданий. На радостях они купили у него два комплекта этих изданий. Что же касается агента, то и он остался не в убытке. Детально разработанная им система продажи художественных изданий и на этот раз не подвела своего автора.

Конечно, работа этого скромного агента кажется жалкой и провинциальной в сравнении с кипучей деятельностью Остапа Бендера. Несмотря на это, нам все же кажется, что ближайшим предшественником «великого комбинатора», его, так сказать, предтечей был именно этот скромный агент. Мы сознательно говорим «ближайшим», ибо у Остапа Бендера, несомненно, есть и отдаленные предшественники. К их числу принадлежат, например, герои классического плутовского романа.

Ильфа и Петрова, так же, впрочем, как Валентина Катаева, в свое время обвиняли в том, что они не только не разоблачают своих героев, но, наоборот, всячески им сочувствуют и любуются их проделками. Эти обвинения свидетельствовали о столь же грубом непонимании писательской работы, как и обвинения Зощенко в том, что он не поднимается над уровнем своих героев.

Говоря об Остапе Бендере, необходимо иметь в виду, что он все время служит как бы контрастным фоном для бессмертной глупости, пошлости и мещанской ограниченности окружающих его людей. И это только среди них он кажется таким героем. Если бы он попал в нормальную советскую атмосферу, он сразу увял бы и потерял весь свой блеск. Скорее всего он оказался бы заурядным спекулянтом, и Зощенко мог написать о нем свои рассказы «Король золота» или «Сильнее смерти».

В своей статье об Ильфе и Петрове А. В. Луначарский писал о том, что в романе «Двенадцать стульев» показано мещанское болото, «по которому революция шагает в своих семимильных ботфортах». Он упрекал авторов романа в том, что «этого гиганта в семимильных ботфортах они не показали. Он только чувствуется сзади показанной ими картины».

Этот упрек авторами «Двенадцать стульев» действительно заслужен. В сравнении с «гигантом в семимильных ботфортах» Остап Бендер показался бы ничтожным карликом. В сравнении же с лилипутами, переполнившими роман Ильфа и Петрова, он, действительно, может показаться Гулливером.

В «Золотом теленке» авторы попытались показать этого «гиганта в семимильных ботфортах». Именно таково назначение последней части романа, действие которой происходит на открытии восточной магистрали. Следует, однако, признать, что эта часть романа неудачна. Авторы не нашли для нее правильного тона, и она невольно отделилась от романа как некое инородное тело.

Фигура же Остапа Бендера написана в «Золотом теленке» с той же щедростью, что и в «Двенадцати стульях», и в сравнении с ним другие герои «Золотого теленка», пользуясь определением Луначарского, все те же микроскопические гады.

Однако замысел обоих романов Ильфа и Петрова отнюдь не сводится к изображению «великого комбинатора». Выше уже было сказано, что Остап Бендер как бы оттеняет безграничную глупость и почти сказочную пошлость того мира, сатирическое разоблачение которого и составляет главную силу романов Ильфа и Петрова. Бендер одновременно является как бы поводом для этого разоблачения и фоном, на котором оно становится особенно отчетливым и резким.

Своеобразие романов Ильфа и Петрова состоит в том, что весьма условная фабула служит в них тем стержнем, на который нанизываются сатирические сюжеты, лишенные всякой условности.

Именно так построен, например, роман «Двенадцать стульев». Остап Бендер со своим помощником Кисой Воробьяниновым стремится найти драгоценности, спрятанные в одном из двенадцати стульев старого гостиного гарнитура. Этим определяется фабула романа, условность и литературность которой не раз отмечались. Придавая роману непосредственный читательский интерес, она в то же время служит поводом для целого ряда блестящих сатирических описаний.

Вместе с героями «Двенадцати стульев» читатель присутствует на торжественном открытии трамвая в Старгороде, посещает редакцию большой ежедневной газеты «Станок», попадает в общежитие имени монаха Бертольда Шварца, наслаждается

представлением «Женитьбы» в театре Колумба.

Во всех этих описаниях Ильф и Петров обнаруживают поистине неистощимое остроумие. В равной мере это относится и к характеристикам действующих лиц. Имена таких персонажей Ильфа и Петрова, как, например, людоедка Эллочка, давно уже стали нарицательными.

Важнее же всего то, что все эти характеристики и описания лишены литературной условности, печать которой лежит на центральной ситуации романа. Хотя они и расположены как бы на периферии произведения, их значение очень велико: именно они придают роману сатирическую резкость и остроту.

А. В. Луначарский писал о том, что «Двенадцать стульев» нельзя признать сатирическим романом и что по всему своему характеру этот роман чисто юмористический. Для того чтобы стать сатирическим произведением, «Двенадцати стульям» нехватает сарказма, гнева и презрения». «Золотой теленок», по мнению Луначарского, глубже по содержанию и значительно ближе к сатире.

Во всем этом есть доля правды, но было бы все-таки несправедливо пройти мимо тех сатирических элементов, которые явственно выражены и в «Двенадцати стульях». В творчестве Ильфа и Петрова, так же как и в творчестве Зощенко, мы находим сложное переплетение элементов сатиры и юмора.

Советская сатира насквозь проникнута оптимистическим настроением. Смех Ильфа и Петрова заразительно весел и жизнерадостен. В то же время в нем нет и того всепримиряющего благодушия, которое уничтожило бы его разоблачительную силу.

В остроумном предисловии к «Золотому теленку» Ильф и Петров разговаривают с неким «строгим гражданином из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции». Этот гражданин говорит авторам: «Смеяться нельзя! И улыбаться нельзя! Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться! Сатира не может быть смешной».

«Строгие граждане» этого рода, к сожалению, еще не совсем перевелись. Они еще существуют и по мере своих сил пытаются мешать работе наших сатирических писателей, утверждая, что «сатира не может быть смешной».

К счастью, эти попытки уже не могут иметь успеха. Вопреки «строгим гражданам», советские сатирические писатели всем своим творчеством доказывают, что советская сатира может и должна быть смешной.

О. Мошенский

ПОЭМА О ПОЛКОВОДЦЕ[1]

Тема мужества, ставшая столь популярной в нашей литературе за последние годы, является ведущей темой поэзии К. Симонова. Его любимым героем уже в первых произведениях был человек, идущий всегда вперед, ломающий на своем пути все преграды, мешающие достижению намеченной цели. Правда, сперва этот герой явился перед нами в поэме «Дом» как гордый индивидуалист, презирающий человечество. Однако в дальнейшем Симонов отошел от этой неверной трактовки и показал бойца за дело народа. Цель, на достижение которой отдают свои силы и жизнь герои поэта, — это благо родины, борьба за победу революции. Романтический индивидуализм, промелькнувший в первых произведениях поэта, оказался случайным явлением в его творчестве.

К. Симонов среди других произведений создал поэму «Победитель» и балладу «Рассказ о спрятанном оружии», которые во многих отношениях остаются до сих пор лучшими произведениями поэта. «Победитель» — волнующий рассказ о большевике Николае Островском, который оказался сильнее болезни и смерти. Поэма заканчивается замечательными строками, глубоко знаменательными для Симонова:

Мне кажется, он подымается снова...
Мне кажется, жесткий, сомкнувшийся рот
Разжался, чтоб крикнуть последнее слово,
Последнее, гневное слово—вперед!
Пусть каждый, как найденную подкову,
Себе это слово на счастье берет.
Суровое слово. Веселое слово.
Единственно верное слово—вперед!
Слышишь, как порохом пахнуть стали
Передовые статьи и стихи?
Перья штампуют из той же стали,
Которая завтра пойдет на штыки.

«Запах пороха», так явственно ощущаемый Симоновым, явился, вероятно, одной из причин, пробудивших в нем, как и во многих других наших поэтах и писателях, интерес к исторической тематике. Вместе с тем исторический материал являлся особенно благодарным для дальнейшего углубления излюбленной темы Симонова. История нашей родины знает бесконечное число примеров необыкновенного героизма, много ярких личностей, выдвинутых народом в борьбе за свою независимость и свободу. Так подошел Симонов к созданию образа народного вождя. В «Ледовом побоище» одной из главных задач, стоявших перед поэтом, было изображение Александра Невского. Однако здесь автора постигла неудача. Он дал лишь яркое описание внешности Александра. В остальном же Невский был подан довольно поверхностно и неубедительно. Ту же судьбу разделил кузнец Онцыфор, в лице которого автор хотел показать представителя героических народных масс. Поэма имела много достоинств, обеспечивших ее успех. Но бесспорным недостатком ее явилась слабость характеристики главных действующих лиц.

Суворов в одноименной поэме Симонова, напечатанной в № 5—6 журнала «Знамя»,— еще один вариант героического образа в творчестве поэта. Снова автор обратился к истории. Но, в отличие от «Ледового побоища», главной целью здесь является уже создание образа полководца.

Суворов — одна из ярчайших фигур нашего прошлого. Изумительно талантливый полководец, замечательный новатор военного дела, человек безграничного мужества, он являл собой образец беспредельной преданности родине. Вместе с тем он был кровно связан с русским народом, воплощая в себе его лучшие черты. Он был слишком народным человеком для того, чтобы стать «своим» при царском дворе. Его использовали, но постоянно травили. Умер Суворов в опале.

[1] К. Симонов, Суворов, поэма. «Знамя» № 5—6, 1939 г.

Суворов является действительно благодарной фигурой для поэтического изображения, и образ его безусловно принадлежит к числу особенно близких поэзии Симонова.

В своей поэме Симонов ограничился изображением трех последних лет жизни Суворова. Такое ограничение вообще всегда законно. В данном случае его можно считать, пожалуй, особенно удачным. Именно рисуя Суворова, который борется в годы царствования Павла против пруссификации и подвергается за это гонениям, можно было с особой яркостью показать главные черты суворовского характера. В эти же годы произошли Итальянская кампания и знаменитый переход Суворова через Альпы, которые явились замечательным венцом его деятельности и показали с небывалой силой всю многосторонность и мощь его военного гения.

Первая часть поэмы — «Опала». В ней автор рисует Суворова, находящегося в ссылке, и неудачную попытку Павла примириться с великим полководцем. Поэт с большим чувством меры и художественным вкусом изображает жизнь России при Павле. Здесь Симонов впервые показал себя как мастер передачи исторического колорита. Этого не было в «Ледовом побоище», и это — новая черта, выявившаяся в таланте поэта. Атмосфера, царившая в годы властвования Павла, воссоздана в поэме превосходно. Строки, рисующие быт кончанской ссылки также заслуживают всяческой похвалы.

Но вот начинают разворачиваться события. К Суворову прибывает гонец с известием о «прощении». Царь вызывает его в Петербург. Дальше рассказывается, как Суворов, приехав в столицу, протестовал, со свойственной ему оригинальностью, против вводившихся там прусских порядков и как, наконец, добился разрешения уехать опять в деревню. Радостное чувство читателя, возникшее при знакомстве с первыми строками поэмы, начинает, однако, понемногу ослабевать. Перед нами проходит ряд искусно сделанных сценок, изображающих путешествие Суворова в Петербург, его пребывание в столице. Автор попрежнему выдерживает все время столь удавшийся ему колорит эпохи. Но в нас постепенно возникает ощущение, что в поэме чего-то нехватает.

Вторая часть поэмы — «Последний поход» — переносит нас в обстановку легендарного перехода Суворова через Альпы. Перед читателем мелькают строки, невольно напоминающие «Победителя»:

Все поняли—скорей без крова
Старик в чужой земле умрет,
Чем сменит на другое слово
Свое любимое — вперед!

Но чувство неудовлетворенности, возникшее уже при чтении первой части, захватывает нас все больше и больше. Пора, пожалуй, сформулировать причины, которыми это чувство вызывается.

Симонов подробно объясняет в «Последнем походе» политический смысл кампании. Показывает чуждость ее целей русскому солдату. Рассказывает, как, несмотря на свою незаинтересованность в войне за австрийские интересы против тогдашней Франции, сохранявшей еще относительную революционность, русская армия под водительством Суворова проявила чудеса храбрости и стойкости. Наконец, поэт излагает ход военных действий. Все это бесспорно, верно и совпадает с исторической действительностью, но все это само по себе еще не составляет поэтического произведения.

Позируя художнику Миллеру, Суворов сказал:

— Ваша кисть изобразит видимые черты лица моего, но внутренний человек во мне скрыт...

Задача поэта заключалась именно в том, чтобы попытаться раскрыть внутренний мир своего героя во всей его сложности и противоречивости, в тесной связи с исторической обстановкой. Это — единственный путь, следуя которому можно создать действительно глубокий и правдивый образ исторического деятеля. Симонов принял во внимание второе обстоятельство и уделил достаточно места изображению исторической обстановки. Однако первого — раскрытия внутреннего облика героя— он не достиг.

Поэт излагает и слегка комментирует в первой части произведения известные нам факты из жизни великого полководца, соблюдая при этом точность в самых незначительных подробностях. Но сцены, рисуемые им, остаются, за редкими исключениями, лишь удачно выполненными, но не глубокими иллюстрациями. К. Симонов не находит, описывая их, своего собственного поэтического взгляда на изображаемые события. Не чувствуется того индивидуального, особого ощущения жизни, в данном случае — исторического прошлого, которое отличало бы Симонова как поэта от историков. Такое ощущение есть в какой-то степени только в первых строках произведения.

Чувства, вызываемые в читателе образом Суворова, не становятся богаче, многообразнее после прочтения поэмы. Представление о полководце, которое он получил раньше из исторических работ о Суворове, не делается теперь ни ярче, ни красочнее, ни глубже. Поэма К. Симонова не сказала читателю языком образов того, что он не мог узнать из монографий

или популярных книг о Суворове. Она не дала ему также почти ничего такого, что мог бы сказать один лишь К. Симонов и не мог бы сообщить никто иной из поэтов.

Иллюстративность, характеризующая поэму, естественно, ведет к тому, что события в ней не развиваются одно из другого с внутренней необходимостью. Порядок событий определяется только хронологией. Непрерывность действия не является обязательной в художественном произведении, но при отсутствии в нем внутренней логики отдельные его части оказываются между собой не связанными. Таким образом возникает явственно ощущаемый разрыв между тремя частями «Суворова». Поэма распадается как бы на три совершенно самостоятельных произведения, посвященных одному герою.

Вторая часть «Суворова» слабее первой. В значительной степени это даже не иллюстрации, а добросовестное изложение истории стихами. Последняя часть, пожалуй, наиболее поверхностна. Повторяя с ненужными подробностями исторические источники, Симонов рассказывает о кончине Суворова. Изображая тоску умирающего полководца по красоте природы, которой он больше не увидит, автор остается, к сожалению, в пределах шаблона, использованного многими писателями.

Симонов не нашел, создавая свое произведение, правильного соотношения между известными фактами и подробностями истории и художественным вымыслом. Если бы поэт не свел свою роль, в основном, к подборке и изложению исторических деталей, он открыл бы в образе Суворова новые, до него неизвестные, яркие черты и по-новому донес бы этот образ до читателя. Тогда поэт смог бы осмыслить и многочисленные исторические подробности, известные ранее. И поэма зазвучала бы тогда совсем по-иному, не оставшись иллюстрацией к биографии Суворова. В этом отношении поэт проявил значительно большую смелость в «Ледовом побоище».

К. Симонов очень быстро растет как художник. Ряд его последних произведений, в частности поэма «Пять страниц», наглядно свидетельствует об этом. Рост поэта заметен и в «Суворове», если сравнивать поэму с «Ледовым побоищем» — предыдущим историческим опытом поэта. Симонов значительно продвинулся вперед за последние полтора года. Для «Суворова» характерно чувство исторического колорита, которое в «Ледовом побоище» было значительно слабее. В поэме «Суворов» почти нет слабых, недоработанных строк. Очень положительно характеризует К. Симонова и его неустанное стремление к серьезным, большим темам. Однако решает он еще иногда такие темы — об этом свидетельствует «Суворов» — недостаточно глубоко и смело.

Н. Коробков

РАССКАЗЫ ВИКТОРА АВДЕЕВА

Прежде чем выступить в литературе, Виктор Авдеев успел немало испытать в своей жизни. Сиротство, детдом, незадачливый эксперимент с двумя приемными отцами, детколония, беспризорничество, семилетка, школа фабзавуча, институт иностранных языков, снова бродяжничество и, наконец, в итоге долгих блужданий и воспитательной работы детучреждений, — окончательный разрыв с прошлым, твердое вступление на путь сознательного творческого труда. Авдеев окончил московский литературный институт и уже в течение ряда лет выступает на страницах наших журналов со своими повестями и рассказами.

По темам произведения Виктора Авдеева можно разделить на четыре разряда: 1) перевоспитание бывших беспризорников — борьба за «путевку в жизнь»; 2) гражданская война; 3) рост новых людей в колхозах; 4) любовь и семья.

Повесть «Карапет», впервые напечатанная в 1931 году, целиком посвящена первой теме и носит автобиографический характер. В ней автор показывает длинный и противоречивый путь перевоспитания бывшего беспризорника Леонида Новикова. Герой повести был взят милицией ночью «на стреме» — во время воровского налета на квартиру — и попал в тюрьму, а потом в детколонию. На свою новую жизнь в колонии Карапет сначала смотрит, как на вынужденную остановку или пересадку в пути: он-де «поваляет ваньку», «нагреет руки на барахолке», а затем «ищи мышь в жите». Карапет развязно демонстрирует свои блатные манеры, свое презрение к коллективу: предлагает воспитателю «отвалиться на баню» (т. е. убираться), садится за стол неумытым, отказывается от работы и т. д. Но постепенно коммуна переделывает «уркана». Основной метод такой переделки прекрасно описан в «Педагогической поэме» А. Макаренко. Это влияние и контроль товарищеской среды, самого демократически огранизованного коллектива и живой, созидательный труд. Раньше (в ночлежке, в тюрьме и т. п.) всякая «буза» Карапета встречала поддержку «братвы», а тут наоборот: неодобрение товарищей, изоляция. Сначала Карапет упорно не хотел работать и решил покориться только «для близиру». Но затем коллективный труд его захватил.

Однако новая жизнь далась не сразу. Только после неоднократных срывов, дрянных выходок и волынок, после целого ряда рецидивов, лишь в результате длительной и трудной работы коллектива школы и комсомола могло появиться нижеследующее заявление Карапета в ячейку ВЛКСМ:

«Прошу комсомол примите меня в свои ряды ВЛКСМ, как я имею социальное положение был беспризорным и для вас свой.

Я теперь не тот, как был раньше. Я все понял за коммунизм, а также и за беспризорных каким был раньше... Теперь я привержен к советской власти и хочу устроить мировую революцию и бузить больше не буду, примите меня пожалуйста в свои ряды...»

Достоинство повести в том, что автор правдиво показал Леонида Новикова в развитии — показал долгий и мучительный процесс постепенного изживания люмпен-пролетарской психологии и роста нового, социалистического сознания. Этот процесс ярко выражен в отношениях Леньки к одношкольнице Оксане. Сначала он относится к ней высокомерно («с девки, один плешь, ничего не получится») и на предложение помощи в учебе отвечает гордым отказом: «не нуждаемся, сами не лаптем деланы». Товарищеское отношение Оксаны к себе Леонид считает

кокетством, и, пуская в ход все известные ему «кавалерские» приемы, он пытается в лесу овладеть Оксаной. Но вышло совсем не так, как он ожидал. Оксана сама неравнодушна к Леньке, но ее чувство чисто и слито воедино с чутким и хорошим отношением к нему, как к товарищу, которому необходимо помочь. Животная грубость Леньки испугала Оксану, смутила ее душу. На вопрос Карапета, почему она его оттолкнула, — Оксана отвечает:

« — Понимаешь Леня, я не потому там, что... — Она покраснела и сердито и нетерпеливо махнула рукой. — Просто я еще не выросла... гадко... стыдно... Ну, понимаешь... будем по-товарищески лучше.

Она застенчиво подняла влажные, тепло сиявшие глаза, губы ее несмело раскрылись в улыбку, лицо стало милое, немного смущенное».

И Карапет, сначала думавший, что Оксана только пожеманилась, что она его «разыграла», постепенно осознает свою неправоту и начинает чувствовать к девушке уже новое, здоровое и благородное любовное влечение, соединенное с товарищеским уважением к любимой.

Большинство рассказов Авдеева написано на тему о гражданской войне. В рассказе «Турман» автор повествует о работе красных в деникинском тылу. Перед нами матрос Хобля (начальник голубиной почты) и сын солдатки, хозяйки дома, — подросток Пашка. Пашка из простого любопытства привязался к веселому матросу, и тот, при отступлении красных, дает Пашке поручение: ожидать возвращения турмана (почтового голубя, заброшенного на самолете в деникинский тыл) и ни в коем случае не давать голубя в руки белым. Пашка с честью выполняет это поручение. Остановившимся у солдатки белым казакам трактирщик рассказывает о том, что до них тут «матрос воздушный стоял». В это время прилетает турман, на которого деникинцы выпускают сокола-истребителя. И вот в самую критическую минуту случилось непредвиденное: турман, подбитый из рогатки чьей-то ловкой рукой, исчезает, камнем падая в соседний сад. Это работа Пашки.

«— Гу-улюшка, гуля... Я ведь не понарошку тебя картечиной..., — шепчет Пашка. — Я тебя больше никому... Помру, а не отдам, ей-богу. Погоди, смеркнется, до матроса подадимся. Письмо-то у тебя цело? Ага, тута. А с тобой мы еще вернемся на голубятню...»

В рассказе «Вдова» перед нами образ казачки Одарки Лычковой, мужа которой, большевика, еще при царе убили за революционную деятельность. Действие происходит в тылу у белых. Одарка едет в Новороссийск за мануфактурой и тут встречается с большевиком Семеном Кубаровым, который под видом спекулянта выискивал необходимых людей. Одарка, вначале далекая от политики, занятая только своей вдовьей долей, постепенно осознает цели большевиков и помогает им в организации партизанского движения в тылу у белых.

В рассказе «Феномен» — те же герои: красные, под видом актеров бродячей труппы, ведут в деникинском тылу подпольную работу — печатают и распространяют большевистские листовки.

В рассказе «Сувенир» описан случай, происшедший на фронте с командиром полка Лановым, показывается смелость, находчивость и отвага Ланова при ликвидации спровоцированного анархистами бунта батальона в боевой обстановке. Ланов сумел убедить и пристыдить обманутых анархистами бойцов и быстро расправиться с зачинщиками-провокаторами.

Драматичен и значителен рассказ «Интернационал». В казачьей станице (прифронтовая полоса) красноармеец Юсалов организует (из местных барышень, учителей, участников церковного хора и т. п.) музыкальную школу. «Школу эту открыл я для бедняцкого классу, — говорит Юсалов. — Я сам служил в полку, в оркестре, и знаю, как музыка в бою душу подымает. Орудием нашим против белых генералов должно быть все: и шашка и песня». Организованный Юсаловым оркестр успешно исполнял никогда не слыханный в станице «Интернационал» и действительно превратился в оружие большевистской пропаганды, в средство организации масс вокруг советской власти. Такой оборот дела пришелся не по нутру станичным богатеям и кулакам, и они сначала пытаются переманить Юсалова в церковный хор, а потом, потерпев в этом неудачу, обманно зазывают Юсалова в другую станицу (якобы для организации в ней оркестра) и по дороге зверски убивают. Юсалов умирает героем — с пением пролетарского гимна.

Самым значительным из серии рассказов о гражданской войне является «Казак». К казачьей станице подступили белые офицерские части. Казак Гудыля поджигает хату и вместе с сыновьями уходит к партизанам. Сын Гудыли, Ивашко, совершает проступок: он стащил у попадьи рясу на портянки. Проступок мелкий, но Гудыля, как честный и принципиальный борец за советскую власть, как руководитель отряда, не может простить сына — он рассматривает его, как мародера, и сначала хотел его застрелить, но под давлением партизан смягчает наказание — изгоняет сына из отряда: «Он (Гудыля) был страшен в своем горе и железном упорстве. Он сказал, что не потерпит в отряде бандита. Вы-

гнать его вон. Пусть остается один и хоть к белым уходит: дело его. А коли загладит свою вину, — будет видно, как с ним поступить дальше».

Ивашко, в сущности, хороший казак, приговор отца он переживает, как тяжелейшую драму. Изгнанный из отряда, он не ушел к белым, а решает искупить свою вину своей смертью: он в одиночку вступает в борьбу с отрядом белой, марковской, конницы, пытавшейся обойти партизан с тыла, и гибнет в этом поединке. Отряд Гудыли, предупрежденный об опасности песней и выстрелами Ивашко, бросается на марковцев и, разбив их наголову, находит Ивашко мертвым. В найденном на груди убитого письме партизаны прочитали: «Дорогие батя, Миколай Семеныч, и одноутробные братцы, Федько и Порфир Миколаич, и одностанишники-товарищи, не имейте обо мне черной памяти, я вижу: обычай старинный, что у казаков был, надо оставить и без корысти рубиться за советскую, нашу родную власть...» Партизаны сняли шапки, воцарилась тишина: «Гудыля низко поклонился останкам сына, снял с шеи и торжественно положил ему на грудь сумочку с родимым пеплом. По щекам старого батьки текли слезы, и он не отрывал взгляда от тела покойника все время, пока его забрасывали землей».

Драматическая коллизия, изображенная в «Казаке», глубока и значительна по своему смыслу, и приходится только пожалеть о том, что она описана очень скупо. Сюжет «Казака» вполне мог бы быть использован для большой повести. Следует отметить, что в этом рассказе Авдееву удалось художественно убедительно показать психологию Гудыли и Ивашко и передать колорит гражданской войны на Кубани: читатель как бы ощущает степную ширь, гарь от дымящихся пожарищ, боевую беззаветность партизан, идущих на бой с белыми.

На колхозную тему Авдеевым написано только два рассказа: «Волчья балка» и «Автор». Кулак Евдоким Кудимов («Волчья балка») подбивает своего сына Ипата (конюха колхоза) на убийство председателя РИКа Стеблова. При этом он пытается сыграть на любви сына к секретарю сельсовета — Ульке Прядковой, которую якобы отбивает у Ипата Стеблов. Ночью Евдоким Кудимов выводит сына на дорогу, по которой должен проехать Стеблов, и вкладывает ему в руки обрез. Но, воспитанный советской школой и колхозом, Ипат отказался стрелять, невзирая на гнев и угрозы отца.

Ипат забросил в пруд отцовский обрез и пошел в отходники — работать на канал. «Погляжу, — говорит Ипат, — где какие города стоят, что делают люди. Заступлю до строителей на Волга — Дон, буду жить с рабочими. Они — народ правильный и назад на старинку не оглядываются, с ними и я стану покрепче».

Авдеев правдиво показал процесс переделки в колхозе бывших кулацких детей, показал силу колхозного строя. Ипат, несомненно, станет «покрепче» и будет строить новую, социалистическую жизнь.

В рассказе «Автор» Авдеев показал, как из самого отсталого и неповоротливого деревенского «Ваньки» вырастает колхозный активист — селькор и редактор общеколхозной стенной газеты Иван Пиунов.

Менее удачны рассказы Авдеева о любви. В рассказе «Письмо» автор пытается показать, как у двух молодых людей («она» — сознательная, «он» — малосознательный) возникает и развивается любовь друг к другу. Это происшествие описано так: в купальне (на экскурсбазе) студент Оверко нечаянно наткнулся на голую девушку Люду и, успев при этом заметить «дутые груди, ноги с ямочками над коленками», впадает по сему случаю в некий транс («Оверко стоял весь красный, испуганно выкатив добродушные глаза»). Герой решает, что «новое чувство, что возникло у него в последние дни, было любовью», и посему он отправляется к Люде на сеновал: «он (Оверко) хотел сказать, что любит ее. Пусть она простит его за неурочное свидание, но так хотелось вылить ей душу — за этим только и пришел».

Читателю ясно, что Оверко лжет, что он пришел совсем не «за этим». Ясно это было и Люде, которая спросонку угостила героя звонкой пощечиной и строгим выговором: «Как тебе не стыдно!.. Разве это товарищ, комсомолец?» — в ответ на что она услышала: «Я... я беспартийный,— пробормотал Оверко, прыгая через три ступени...» Автор свидетельствует, что в дальнейшем неосознательный «беспартийный» герой будто бы «осознал» свою неправоту и, выслушав новое нравоучение героини, понял, в чем заключается настоящая любовь...

Нетрудно видеть, что и обстоятельства и поступки героев выглядят в рассказе довольно пошловато.

Во втором рассказе («Плоды») очень бегло изображена жизнь молодоженов Павла Каленова и Сони Наземовой. Соня беременна. Отец и мать Сони с радостью ждут ребенка, окружают дочь теплым и интимным вниманием. Но муж заставляет Соню сделать аборт. «Я в прошлом году один роман прочитал, — говорит этот пошляк, — там описано, что женщина хороша только любовницей...»

Соне «противно и обидно было мелочно торговаться о ребенке», и она малодушно уступила, но в итоге ею овладело безраз-

личие, холодное равнодушие, — ее любовь к мужу исчезла.

Автор хочет сказать, что таковы плоды или последствия поведения Павла, отнявшего у Сони радость материнства. По видимости сюжет строго нравственный, но по существу перед нами примитив, ибо характеры на скорую руку подогнаны к идее, поведение Павла не мотивировано (всему виной прочитанный им «роман»).

Основное достоинство повести «Карапет» и ряда рассказов Авдеева состоит в том, что молодой писатель описывает новых людей, людей самых простых и обычных, вышедших из народа. И Ленька Новиков, и Оксана, и Одарка Лычкова, и музыкант Юсалов, и казак Гудыля, и Ваня Пиунов— все это те самые таланты, которые при буржуазно-помещичьей власти дремали бы под спудом, а в наше время, как деревья весной, прорастают сильными и красивыми побегами, развиваются в передовых строителей социализма. Авдеев любит своих героев, любит тех новых людей, которых изображает.

С формальной стороны достоинства рассказов Авдеева: экономия слова, скупость, сжатость изложения. У Авдеева есть чувство художественной меры, а это хорошее и ценное качество, которого явно нехватает многим, в том числе и «пожилым», нашим писателям.

Об Авдееве мы говорим, как о молодом писателе. Но, строго говоря, он уж не такой молодой — Авдеев печатается в течение восьми лет, и ему необходимо всерьез подумать о расширении своего художественного кругозора, — можно писать не только о беспризорниках, казаках и т. п., но и о современном рабочем классе, о колхозниках, о советской интеллигенции. Главное же, чего нехватает Авдееву, — это глубокого и всестороннего изображения характеров: пока что он рисует своих героев слишком скупо, несколькими чертами и штрихами, как бы пунктиром или намеком. Таковы все герои его рассказов.

В огне гражданской войны, в условиях социалистического строя родились и непрерывно рождаются, выдвигаются из народа новые люди, организаторы, творцы. Эту истину Авдеев понял. Но для художника это еще довольно общая истина. Необходимо пойти дальше: необходимо глубоко и убедительно показать, что представляют собою новые люди, из каких разнообразных элементов слагаются их характеры. Необходимо показать в характерах не только преобладание какой-нибудь одной основной черты: смелости (командир Ланов), честности и принципиальности (Гудыля), героизма (красноармеец Юсалов) и т. д. Характеры нельзя сводить только к одной черте — необходимо показать различные и даже противоречивые (как, например, у Карапета и Ивашко) черты, т. е. показать характеры многосторонне. При этом, разумеется, всегда надо иметь в виду, что характеры не должны расплываться в этой многосторонности, в конечном счете изображаемый характер должен быть проникнут определенностью, или единством.

Плодотворное развитие художественного таланта всякого писателя — и в особенности молодого — возможно лишь в том случае, если писатель, настойчиво возьмется за овладение культурой (и в частности за эстетическое самообразование); если он серьезно займется изучением фактических материалов истории нашей революции (в них заключено великое множество сюжетов); если, наконец, изучение прошлого будет неразрывно соединяться с самым пристальным, самым внимательным изучением современной действительности, с изучением классовой борьбы, продолжающейся в новых формах, в формах, гораздо более тонких по сравнению с теми, что описаны в рассмотренных нами рассказах. Этот путь, конечно, не легкий. Но только такого рода настойчивая работа над собой может привести к расширению художественного кругозора, к усилению остроты художественного зрения, к новым, более значительным успехам.

Ал. Гюль-Назаров

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ «ДАВИДА САСУНСКОГО»

Народы Советского Союза торжественно празднуют в этом году тысячелетие крупнейшего памятника армянского национального эпоса — героической былины «Сасунци Давид» («Давид Сасунский»).

«Давида Сасунского» сложили в сороковых годах X века армянские бродячие певцы и сказители — випасаны. Это было в эпоху арабского владычества. Наместники арабских калифов, огнем и мечом покоривших Армению, в течение трех столетий (VII—X века) жестоко угнетали маленький свободолюбивый народ. Страна была обложена тяжелой данью. Народ нищал. Не только золото, скот и зерно, но «девушки и юноши, черноволосые и черноглазые, высокие и стройные» становились добычей ненасытных иноземцев.

Армяне не мирились с арабским игом. Одно за другим вспыхивали крестьянские восстания. Их не могли задушить ни бич, ни петля, ни массовая резня непокорных. Армяне уходили из равнин в горы, укрывались в недосягаемых ущельях.

«Сасунци Давид» начинается рассказом о том, как братья-богатыри Санасар и Багдасар построили на неприступных скалах у озера Ван город-крепость из гигантских камней и укрылись в ней вместе с восставшими земледельцами. По имени владеющего ими (а вместе с ними и всем армянским народом) неугасающего чувства они называют эту крепость Сасун, т. е. Ярость.

Отсюда, из Сасуна, Санасар и Багдасар возглавляют борьбу армянского народа против поработителей-арабов.

Наибольшего успеха добивается в этой борьбе сын Санасара — Мгер, богатырь, который сначала убивает терзающего народ чудовищного льва-великана, а затем освобождает Армению и от арабского владычества, изгоняет войска калифа Мсра Мелика и перестает платить ему дань.

Давид — сын Мгера. Он — герой третьей, наиболее значительной по своему содержанию части эпоса. Идея борьбы за свободу и независимость народа от иноземных завоевателей разработана в ней особенно глубоко. Давид — любимый герой народа, и народ наделяет его идеальными физическими качествами: Давид честен, прямодушен, смел и, конечно, сказочно силен. Еще ребенком он восстает против Мсра Мелика, отказавшись пройти под его мечом, т. е. выразить ему свою покорность. Отданный братьями отца в пастухи, он еще в детстве совершает ряд необычайных подвигов, приводящих в изумление и трепет весь Сасун. Четырнадцати лет Давид побеждает (и уничтожает) Мсра Мелика, снова вторгшегося в Армению после смерти Мгера. Свой спор с Мсра Меликом Давид решает в единоборстве, отказываясь от боя с войсками арабов, составленными из бедняков, пригнанных на войну силой. Характерно и обращение Давида к побежденным. Ему не нужно, говорит он, ни чужого добра, ни чужих земель. Пусть воины-арабы возвращаются в свои края и занимаются честным трудом, не покушаясь на свободу других народов.

Заключительная часть эпоса посвящена сыну Давида — Мгеру-младшему. В этой части народ несколько отходит от той историко-социальной основы, на которой он построил начало своего сказа о Давиде. Не найдя на земле справедливости, Мгер запирается (со своим конем и мечом) в пещеру на высокой скале. Он выйдет отсюда только тогда, когда старый мир будет разрушен до основания и люди построят новый мир, счастливый и радостный.

Таково в основных чертах содержание «Давида Сасунского».

Сложенный тысячу лет назад, он не был записан и сохранялся лишь в памяти народной, передаваясь изустно из поколе-

ния в поколение. Естественно, что на этом пути сказ обрастал новыми элементами, новыми героями, перестраивался, создавался в новых вариантах на разных наречиях, которыми так богата Армения. Первоначальный рассказ о храбрецах Сасуна утратил за это время свой местный колорит и приобрел черты, общие и близкие всему армянскому народу.

Впервые «Давид Сасунский» был записан известным армянским литературоведом Гарегином Срванцатианом и опубликован в Константинополе в 1874 году. Этот вариант (прозаический) был включен проф. К. Паткановым в его «Исследование о мушском диалекте», изданное в 1875 году в Петербурге. В 1886 году проф. М. Абегианом был записан новый текст, отличавшийся от прежних стихотворной формой и включавший много новых эпизодов и лиц. Позднее, в 1889 и 1892 годах, стали известны еще два варианта (в Шуше и Тифлисе). В 1898 году в Москве был опубликован русский перевод одного из прозаических вариантов, сделанный проф. Г. Халатьянцем. Перевод в стихах был сделан в 1915 году В. Я. Брюсовым, поэтические переделки на армянском языке — поэтами Ав. Исаакяном, Л. Манвеляном и др.

До 1913 года было записано 23 варианта эпоса. Империалистическая война помешала работе армянских ученых над «Сасунци Давидом», получившей широкое развитие лишь при советской власти. За последние годы было отыскано и записано в разных местностях Армении (и на разных наречиях) до 30 вариантов эпоса, и, таким образом, общее число их превысило 50.

Специальной комиссией ученых и писателей Армении была проведена громадная работа по созданию на основе этих 50 вариантов единого сводного текста поэмы. Работой этой руководил старейший историк армянской литературы—проф. М. Абегиан.

Бригада поэтов, организованная ССП (С. Шервинский, В. Державин, А. Кочетков и К. Липскеров), выехавшая в Ереван, перевела «Сасунци Давида» на русский язык. Большой труд этот (11 тысяч строк) вышел к сентябрьским юбилейным торжествам в Армении в художественных изданиях Гихла и Арменгиза (одновременно с армянским текстом). К юбилею, кроме того, выпускается ряд литературоведческих работ, посвященных «Давиду Сасунскому» (акад. Орбели, проф. Абегиана и Абова, Григоряна и др.).

Над переводами «Давида Сасунского» на языки других народностей Советского Союза работает сейчас до 20 поэтов Чувашии, Татарии, Азербайджана, Удмуртии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Туркменистана и Узбекистана.

В Грузии перевод эпоса уже закончен. Над ним работали поэты А. Машашвили, К. Мосашвили, Г. Леонидзе, Р. Гветадзе, С. Чиковани, К. Каладзе, И. Абашидзе, К. Чичинадзе и К. Лордкипанидзе.

На Украине полный текст поэмы переводится под руководством юбилейной комиссии ССП в составе: П. Тычины, А. Корнейчука, М. Бажана, В. Сосюры.

В Белоруссии такой же работой руководит юбилейный комитет во главе с Янко Купалой.

Чествование «Давида Сасунского» приняло, таким образом, широкий общесоюзный характер, превратилось в праздник всей Страны советов.

На состоявшейся в июле научной сессии армянского филиала Академии наук, посвященной «Давиду Сасунскому», был сделан ряд интересных докладов: писателем-орденоносцем Дереником Демирчяном (о художественных особенностях эпоса), проф. М. Абегианом (история собирания вариантов и их разработки), Гарибяном (язык эпоса), Арутюняном (эпоха эпоса) и др.

Юбилейные празднества начались в Армении 8 сентября торжественным заседанием армянского филиала Академии наук. 16 сентября в Ереване состоялся пленум Союза советских писателей, посвященный «Сасунци Давиду».

Е. Крекшин

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ОБ АШКАДАРЦАХ?

(Письмо, не написанное редакцией журнала «Новый мир»)

«Уважаемый тов. Жучков!

Вы прислали в редакцию журнала «Новый мир» свою поэму «Счастье».

В поэме речь идет о борьбе с последним капиталистическим классом — кулачеством, о победах колхозного строя.

В такой общей формулировке тема ваших стихов нужна и интересна. Талантливые стихи Твардовского, конечно, не исчерпывают колхозной тематики. Остальные поэты пишут о советской деревне сравнительно мало, и особенно в повествовательном жанре.

Но вашу поэму журнал «Новый мир» печатать не будет. Скажем правду (ибо дипломатические увертки только собьют вас с толку и ничему не научат): написана ваша поэма очень плохо. Она неудачна и по замыслу, и по обрисовке действующих лиц, и с точки зрения элементарных правил стихосложения.

Наш журнал стремится печатать образцы художественного творчества, двигающие вперед литературу, воспитывающие эстетический вкус читателя.

Ваша поэма — это только ученическая работа.

Развитие действия в ней примитивно и схематично. В центральном, по идейному замыслу, месте поэмы — поездке Анюты в Москву,— читатель почувствует фальшь, так как необходимость этой поездки никак психологически не мотивирована. После этой поездки ничто не меняется ни в окружающей обстановке, ни в психологии героев поэмы. Вам хотелось конкретно связать рождение колхозной жизни с именем великого вождя народов, выведшего миллионы на этот счастливый путь. Но сделали вы это очень неубедительно и, можно сказать, опошлили большую тему, подали ее несерьезно.

В жизни люди не разговаривают стихами, но это не значит, что автор и все герои поэмы должны говорить одинаковым монотонным языком, без каких бы то ни было индивидуальных различий. Вспомните, как своеобразна у Пушкина речь Татьяны, Онегина, Ленского.

Если в вашей поэме зачеркнуть указание, кто говорит, то реплики действующих лиц легко спутать. И, в самом деле, как различить, что слова

> В городе сказали,
> Что к счастью нет другой дороги

говорит Чекмень;

> Ведь не сладишь со всеми один.
> Отступись ты, не стой на дороге!

говорит Анюта;

> Полетели повсюду слушки
> Без дорог и по разным дорогам.

говорит автор; и что словами

> Какое счастье, что надумал!?
> Дороги считаны по пальцам,
> Березой мечены и дубом!!!

кулаки возражают на речь Чекменя при организации колхоза; и уж, кстати, как понять, что они хотят сказать этой туманной и по сути дела бессмысленной фразой?

В своей поэме вы высказываете очень странные мысли о советской деревне до коллективизации.

Чекмень думает:

> «Не зря ли
> Народ к Чапаеву водил?»,

т. е. стоило ли защищать от белых землю, отобранную у помещиков? И до колхозной жизни ни один честный крестьянин так бы не подумал!

Говорит захожий кулак:

> «В двадцать первом году против нас
> Не смогла и московская сила!»

т. е. в 1921 году кулаки в чем-то, где-то победили советскую власть? Расскажите, если не секрет, что это была за победа?

А сами вы пишете о Чекмене и Заречном так:

Встань, Чапаев, и им прикажи
Помириться и вместе заставь их
Умереть за колхозную жизнь
В самой первой и трудной заставе.—

т. е. прикажи, Чапаев, бедняку помириться с кулаком? Не стал бы этого делать Чапаев!

Во второй главе поэмы вы говорите:

А больше злятся ашкадарцы.

Читатель заинтересован, что это за племя такое — ашкадарцы. Поэма продолжается. Ашкадарцев арестовали. Прочитано свыше тысячи строк стихов. И вот в эпилоге поэмы, за пять строф до ее окончания, мы узнаем, что

За горой, на реке Ашкадаре
Ненавистного хутора нет.

Таинственные ашкадарцы оказываются кулаками, живущими на хуторах у реки Ашкадары.

Если бы сказать это с самого начала, поэма стала бы немного вразумительней.

Поэма бо́льшая. В ней больше 1 600 строк. Чтобы указать на все ее ошибки, пришлось бы писать слишком долго. Отметим главнейшее.

Образ надо додумывать до конца. Торопливость приводит к бессмыслице.

Весной всю ночь пылают звезды,
Легко кружась у дальних сосен
Иль уплывая на восток.

Звезды на нашем небе движутся в обратную сторону — с востока на запад. Поглядите ночью на небо и убедитесь сами.

Кулаки идут, спрятав

Даровые кисеты с зеленой каймо[illegible]

Может быть, «даренные»?

Все колхозный народ белологский:
Широченные плечи у них—
Молодые высокого роста.

Хотите вы этого или нет, но у вас получаются «плечи высокого роста». Это трудно себе представить.

Старик у вас: «на север приветно махает». Предпочтительнее сказать «машет». В слове «межи» ударение надо ставить на втором слоге, а не на первом, как это делаете вы. Со словами «нежить», «зарежет» это слово не рифмуется.

Поговорим и о рифмах. «Без рифмы, — говорил Маяковский, — стих рассыплется». Рассыпается он и с плохими рифмами.

Вы рифмуете: «глыбу — обиду», «поселок — котомкой», «летит — воды», «трубку — Анюта», «говорит — тужить», «голове — пожалей», «утки — Анюты», «смотреть — степь».

Неужели вы не чувствуете, что окончания этих слов (и особенно ударные гласные в них) звучат различно, что никакого созвучия, никакой рифмы здесь нет?

Прочтите вслух свою строфу:

Только яблоню шашкой в плечо
При закате густом и **широком**
Полюбивший разгул и почет
Зарубил офицер черной **сотни**.

В «широком» и «сотни», как ни ищи, никакой рифмы не найдешь.

Вы написали очень слабую, скучную, неумелую вещь. В журнале она займет примерно полтора печатных листа. Поощрять вас за счет авторов более талантливых и квалифицированных произведений мы не можем. Не обижайтесь за резкость. Мы только указали на ошибки, которые обязательно заметит наш культурно выросший за эти годы читатель. Он не простит редакции помещения в журнале неудачных, никому не нужных произведений. Да и вы сами, когда будете писать лучше, будете краснеть при воспоминании, что публиковали когда-то незрелую, неудачную поэму.

Учитесь, читайте, пишите. Мы с радостью будем вас печатать, когда вы сможете создавать прочувствованные, яркие стихи. Надеемся, что у вас хватит мужества не растеряться от неудачи, хватит упорства в работе над собой.

С приветом...»

Необходимое примечание

Это письмо не было написано и не было отправлено. Редакция «Нового мира» приняла и напечатала поэму тов. Жучкова в шестой книге журнала за этот год. Думается, что для редакции, для журнала, для читателей, для самого тов. Жучкова было бы лучше ограничиться письмом вроде приведенного выше.

Очевидно, редакция «Нового мира» посвоему понимает заботу об улучшении качества журнала, заботу о высоком художественном уровне нашей поэзии. Читатель, в конечном счете, разберется и легко отличит настоящие стихи от брака. Но пора бы научиться этому делу и редакциям толстых, солидных и уважаемых журналов.

БИБЛИОГРАФИЯ

РАЛЬФ ФОКС, Роман и народ. Перевод с английского и примечания В. П. Исакова. Вступительная статья Р. Миллер-Будницкой. Гослитиздат, 1939 г. Стр. 232. Цена 3 р. 25 к.

Книга Ральфа Фокса «Роман и народ», переведенная на русский язык, является значительным вкладом в теоретическую литературу: Ральф Фокс не только дает исторический обзор развития романа как литературного жанра, но и задается целью наметить пути рождения нового эпического искусства, достойного носить название социалистического реализма.

Ральф Фокс пал смертью храбрых в боях в Испании. Он погиб в тридцатишестилетнем возрасте, но он много успел для своих лет. Свою жизнь он неразрывно связал с делом борьбы за будущее человечества и был видным деятелем английской компартии, агитатором, публицистом, историком, критиком, автором романов и новелл, путешественником, исследователем и ученым.

Естественно, что, думая о будущем человечества, Фокс обращался мыслью к Советской стране, изучал ее культуру, ее историю, — и в результате этого влечения к социалистическому государству написал биографию Ленина и выявил себя одним из лучших знатоков на Западе истории русского пролетариата.

Все работы Фокса написаны с большой силой, проницательностью и вкусом и обнаруживают незаурядную эрудицию автора, богатство и многогранность его мышления.

Уже в начале своей книги «Роман и народ» писатель объясняет, почему, говоря о литературе настоящего и будущего, он обращается к роману. Роман для него — это первая попытка искусства охватить человека в целом.

По мысли Фокса, роман является эпической формой искусства современного буржуазного общества. Фокс утверждает, что роман достиг полной зрелости в юную пору этого общества и в наши дни поражен болезнями эпохи его упадка.

Когда расцвел роман? Европейский роман возник в борьбе против феодального мира, на исходе средних веков. Тогда роман явился как новая форма, как оружие буржуазии, представлявшей прогрессивные силы истории.

Ральф Фокс называет Рабле и Сервантеса создателями европейского романа. Они были детьми революционных бурь, сваливших средневековый феодализм, и их вдохновлял поток новых идей, благодаря которым они создали великие национальные эпопеи. И Рабле, и Сервантес, творцы эпоса нового общества, были не только романистами, но и людьми действия, борцами.

В центре творений Рабле и Сервантеса стоит человек, освободившийся от пут средневековья, и это внимание к человеку, герою нового общества, — характерная черта молодого буржуазного романа.

Так и Дефо поставил в центр своего «Робинзона» строителя колониальных империй, и Фильдинг закрепил в своих творениях новый исторический тип гражданина зарождающегося капитализма.

Далее Фокс переходит к романистам XVIII века, к Стерну и Руссо, которые превратили индивидуальное сознание в исходную точку миросозерцания человека. Фоксу кажется, что XVIII столетие — это «золотой век» романа. Если роман этого периода не отличается высоким полетом фантазии Сервантеса и Рабле, то он не боится изображать человека и говорит правду о жизни со смелостью, не знающей компромиссов.

XIX век, — доказывает Ральф Фокс, — это период упадка, отступления, которое в наши дни окончилось паническим бегством.

Фокс дает свое объяснение упадку европейского романа. Этот упадок происходит вследствие разрыва буржуазии с на-

родом, вследствие того, что величайшие художники XIX века, охваченные ненавистью или презрением к капиталистическому обществу и, в то же время, чувствуя свое бессилие и одиночество, спасались бегством к дикарям, как Рембо или Гогэн, кончали сумасшествием, как Мопассан или Ван-Гог, самоубийством, как Жерар де Нерваль.

Ральф Фокс, несомненно, чересчур резко критикует XIX век, давший миру таких крупнейших представителей романа, как Бальзак, Золя, Стендаль, Диккенс, Вальтер Скотт, Достоевский, Толстой, наконец, Максим Горький, великий пролетарский писатель.

Если не все эти великие романисты создали революционные эпические произведения, то большинство из них дало миру творения, раскрывающие реалистически правдиво темные стороны капиталистической действительности. Вспомним оценки Энгельсом Бальзака.

Ральф Фокс недооценивает научно-познавательное значение творчества великих реалистов XIX века. В историческом обзоре судеб европейского романа Фокс игнорирует великую роль критического реализма, течения, которое правдиво и страстно разоблачает ненавистные художнику мрачные стороны буржуазной действительности.

В современном романе буржуазной Европы Ральф Фокс не находит ничего, кроме человеконенавистничества, опошления и измельчания личности, крайней идейной бедности и упадочности. Этот кризисный роман — отражение мировоззрения и быта разлагающегося капиталистического общества, которое превращает человека в рабочего муравья, автомата или невротика, одержимого первобытными инстинктами и преступными влечениями.

Ральф Фокс выступает не только сокрушителем этого вырождающегося современного романа. Он видит пути к возрождению эпического искусства романа. Последний должен снова стать народным искусством, он должен вернуться к своим истокам, к языку и поэзии народа, к национальному эпосу, этому живому воплощению исторической памяти народа. Фокс вспоминает о героях революционного романа — эпоса прошлого, о Тиле Уленшпигеле и Робин Гуде и ищет в наших днях таких же национальных героев, могущих стать в центре революционных романов наших дней.

Ральф Фокс находит героя романа в образах профессиональных революционеров, бойцов революции, всех тех, кто является движущей силой истории, кто строит новый мир и сам перестраивает себя в процессе этой борьбы.

Ральф Фокс отметает в сторону ложный метод натурализма, ведущий не к созданию человеческой личности, а к ее разложению, как это мы видим у Пруста и Джойса.

Революционный писатель, по мнению Фокса,—это писатель, активно борющийся за создание нового социального строя. Это не дает ему права подменять реальную картину мира партийными тезисами по тому или другому текущему вопросу. Дело писателя,—справедливо утверждает автор книги,—не проповедывать, а давать реальную, историческую картину жизни. Тогда роман вновь будет национальной эпопеей, мировой книгой, где поэзия обыденной жизни со здоровым юмором, теплым чувством, храбростью и преданностью слиты воедино с ненавистью к угнетателям, с презрением к обману и религиозному лицемерию.

Книга «Роман и народ»—смелая книга, отражающая тоску передовых художников и мыслителей нашей эпохи по настоящему высокому искусству, проникнутому революционным гуманизмом.

Роман—эпическая форма, воспевающая героев. А героизм, утверждает Фокс, естественное состояние человечества, утраченное им в мире эксплоатации и угнетения.

Мы видим на тысячах примеров в Советской стране, как новое социалистическое общество, не знающее эксплоатации человека человеком, рождает своих героев в результате неслыханного расцвета личности, в итоге нового социалистического отношения к труду и человеку.

Именно этот новый человек и должен быть героем революционной литературы, создаваемой методом социалистического реализма. Фокс показывает, что в обыденной жизни существуют необыкновенные сюжеты, ждущие художественной обработки, и никогда еще не было столь благоприятных условий для возникновения революционного эпического искусства, как в наши дни.

Духовным отечеством нового революционного искусства для Фокса является Советский Союз, страна расцвета народного творчества.

Замечательный писатель, Ральф Фокс, предвещая приход нового великого Возрождения, призывает всех писателей-революционеров мира создавать произведения, которые могли бы жить в будущем наряду с великим народным искусством прошлого.

Быть может, самое ценное в работе Ральфа Фокса—это умение связать прошлое с будущим благодаря острому восприятию сегодняшнего дня.

А. Дейч

А. КУЧЕРОВ, Потерянная любовь. Рассказы. Гослитиздат. Л. 1939 г. Стр. 214. Цена 3 руб.

Рассказы А. Кучерова имеют странное свойство. Автор все время как бы прячется за своих героев и пытается изобразить мир с точки зрения примитивного человека. Так, рассказ «Потерянная любовь» написан от имени бывшего чабана, сделавшегося скульптором. В рассказе «Илита» автор видит окружающее глазами девочки Илиты, выросшей в ауле, заброшенном на вершину горы. «Рассказ пастуха» ведется от первого лица и тоже показывает мир с точки зрения человека, только начинающего осмысливать происходящее. Словно впервые открывается жизнь и перед мальчиком—героем рассказов «Окно напротив» и «На реке».

Еще одна особенность. Почти в каждом рассказе чувствуется дыхание какого-то другого писателя. Так, в «Илите» слышится ритм «Земли» Перл Бак. История голодающего аула почему-то заставляет вспомнить о голоде в китайской деревне, описанном в «Земле». Молчаливая, покорная мать Илиты очень похожа на такую же молчаливую и безропотную О-Лан у Перл Бак.

«Рассказ пастуха» порой воспринимается, как неудачная пародия на «Очарованного странника» Лескова. Здесь так же странствует пастух по всему свету и нигде не может остановиться. Как «Очарованный странник» попадает к азиатам, так пастух Кучерова попадает к киргизам. Если странник у Лескова становится нянькой, то пастух Кучерова выбирает другую женскую профессию и делается судомойкой на пароходе. В «Рассказ пастуха» как бы вправлен скелет из «Очарованного странника», и рассказ Кучерова воспринимается, как что-то искусственное, выдуманное, оторванное от жизни.

В рассказе «Окно напротив», опять-таки вызывающем неожиданное воспоминание о Стефане Цвейге, есть одно очень ценное для понимания Кучерова признание, относящееся, правда, к герою рассказа, но применимое и к автору: «Он не представлял себе иной жизни, кроме жизни своей квартиры, неподвижной, будто маленькое озеро в лесной глуши». Четырнадцатилетний книжник, у которого «познания о давно прошедшей жизни были значительно богаче и разнообразнее, чем о настоящей», невольно заставляет подумать о самом авторе.

По первому впечатлению кажется, что сборник «Потерянная любовь» принадлежит начинающему автору, однако обилие реминисценций убеждает в книжности писателя, который хотел спрятать эту книжность за непосредственностью своих героев. Фальшиво звучит эта непосредственность у таких «детей природы», как начинающий скульптор Инал, как девочка Илита, как бывший разбойник Бечо, сделавшийся парикмахером.

Люди в рассказах Кучерова выглядят препарированными по специальному заказу героями нашего времени. Вот почему девочка Илита убивает медведя с одного выстрела прямо в сердце, едва окунувшись в воду, уже умеет плавать, первый раз в жизни чуть прикоснувшись к педали велосипеда, несется так, что ее нельзя догнать.

От того что автор взялся описывать не действительно виденную им, а выдуманную девочку, она оказалась девочкой из сказки, а не из действительной жизни. Так же малоправдоподобно выглядит парикмахер Бечо.

Потому что автор заменяет знание жизни вымыслом, опирающимся на прочитанные книги, ему понадобилось и такое изобилие случайностей в рассказе «Потерянная любовь». Случайно Инал встречается с Машенькой на вокзале, случайно они оказываются в одном купе, через четыре месяца они опять случайно на разных станциях садятся снова в одно купе. После этого читатель уже не удивляется, что заболевшего Инала случайно положили в ту больницу, где Машенька проходила практику, что Инал случайно встретился с братом, который отговорил его жениться на Машеньке. В конце концов и разрыв Инала с Машенькой воспринимается лишь как случайность, завершившая цепь случайностей.

Фальшь чувствуется в сборнике с первой страницы, когда в картинной позе, за стаканом вина, горец, рисуясь, рассказывает историю своей любви, которую он сам называет «кое в чем сентиментальной, кое в чем и необыкновенной». И эта же фальшь пронизывает все рассказы.

Прячась от жизни за ворохом книг и пользуясь такими скудными изобразительными средствами, хорошей книги написать нельзя.

Г. Колесникова

ПОЛЬ ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ, Детство. Предисловие Луи Арагона. Перевод Л. Н. Герст-Рыжовой. Гослитиздат, Л., 1939 г. Стр. 356. Цена 3 р. 75 к.

Детство писателя... Многие из мастеров слова возвращаются к нему в зрелом возрасте, обогащенные жизненным и литературным опытом.

Автобиографические книги о детстве пополнились прекрасным произведением Поля Вайян-Кутюрье.

Французский писатель, поэт, солдат, коммунист, активный боец за дело трудящихся, большой знаток природы, охотник, рыболов, ходок, Вайян-Кутюрье рассказывает в этой книге о том, как слагался характер ее героя, мальчика Поля, каковы были его среда, школа, друзья, увлечения, игры, идеалы.

Мы знакомимся с Полем в том возрасте, когда ему еще поют колыбельную песню: «Ты рученочка моя, маленькая ручка», мы прощаемся с ним — студентом, только что получившим степень бакалавра философии.

Все извращения буржуазного воспитания пришлось узнать Полю на собственном опыте: науку лжи, показные приветливость и гуманность, убеждение в своем праве эксплоатировать человека.

Родители Поля, принадлежавшие к буржуазной интеллигенции, — оба артисты — были по-своему не плохими людьми, но они меньше всего хотели и могли подняться над своей средой.

Об этом рассказано в книге с замечательным беспристрастием, которое отнюдь не создает впечатления, что Поль не любил родителей. Наоборот, ему пришлось преодолевать свою среду, несмотря на чувства, связывавшие его с нею.

План предисловия к этой книге, так и не написанного за смертью Вайяна, состоит из нескольких выразительных строк, как нельзя лучше вскрывающих ее сущность: «Приходишь издалека. Буржуазное воспитание. Интеллектуальная гордость. Необходимость проверять себя каждую минуту. Сохранившиеся цепи. Сентиментальность. Отравление господствующей культурой».

Тут как нельзя уместнее вспомнить слова Ленина о том, что каждый приходит к коммунизму своим путем. Этим «своим» путем для Поля явилась война. «Война, в которой он участвовал как солдат, переплавила для него все ценности, — пишет Вайян-Кутюрье в эпилоге к своей книге, — и переместила их, разрушила все мистическое здание и бесповоротно бросила... в гущу идейной борьбы. Война сделала из него бойца на всю жизнь».

Но едва ли не самые чудесные страницы «Детства» — это те, что посвящены природе, столь любимой Вайяном. Ярко запоминаются описания Пиренеев, Прованса, охоты, рыбной ловли, тружеников земли, встречавшихся на пути героя.

Текст во многих местах книги дополнен своеобразными острыми рисунками автора, который, как известно, был неплохим художником.

В заключение одно замечание: жаль, что такая свежая, талантливая книга издана в неровном, а местами просто плохом, неряшливом переводе, грешащим такими выражениями: «Поль не любил деревни, так скупо отмеренной, за которую дорого приходилось расплачиваться».

Л. Бать

А. РАСКИН и М. СЛОБОДСКОЙ, Пародии и фельетоны. Библиотека «Огонек», № 10, М., 1939 г., издательство «Правда». Стр. 62. Цена 20 к.

Совсем недавно в нашей литературной периодике стали появляться фельетоны, подписанные: А. Раскин и М. Слободской, но эти имена уже хорошо известны широким кругам читателей. Новое литературное содружество оказалось плодотворным и притом органическим: Раскин и Слободской не случайные соавторы, они представляют то редкое сочетание двух дарований, которое дает действительное ощущение творческого единства. И хотя молодые литературные друзья находятся только в самом начале писательского пути, говоря о них, невольно вспоминаешь такие замечательные советские творческие коллективы, каким были Илья Ильф и Евгений Петров в литературе и каким являются Кукрыниксы в графике.

Литературные фельетоны Раскина и Слободского отличает уверенность их авторов в высоком назначении советского искусства и страстная заинтересованность в его судьбах. Эти фельетоны часто очень смешны, но они всегда обязательно целеустремленны. В них есть законная злость против отдельных пороков и заблуждений писателей, актеров, художников, и вместе с тем они всегда оптимистичны: частности не заслоняют от молодых писателей целого, расцвета социалистического искусства, его жизнеутверждающей силы, которая легко преодолеет отдельные слабости.

Приятно отметить, что А. Раскин и М. Слободской не принадлежат к числу тех молодых литераторов, которые излишне спешат с опубликованием своих произведений, мало заботясь об их отделке, и добиваются плодовитости за счет качества. Мы уже успели привыкнуть к тому, что фельетон, подписанный: А. Раскин и М. Слободской, написан точно, оригинально, остроумно. Писатели работают над словом и разборчивы в отборе «смешного» для своих фельетонов, не увлекаясь выигрышными, но пошловатыми «вернячками».

В библиотеке «Огонек» вышла книжка А. Раскина и М. Слободского «Пародии и фельетоны». Все, что напечатано в этой книжке в разделе фельетонов, отличается всеми теми добрыми свойствами, о которых сказано выше. Особенно хорош фельетон «У рупора». Он отлично написан и может быть назван в числе лучших совет-

ских сатирических миниатюр. Удачны и другие фельетоны.

О пародиях Раскина и Слободского этого сказать нельзя. Чаще всего они — более или менее правильное подражание стилю поэта, не больше. В рецензируемой книжке я бы выделил только пародию на Безыменского и своеобразную и неожиданную пародию на Тихонова, а также «Игру слов» и острое сатирическое стихотворение «Золотое руно». В других пародиях есть отдельные удачные находки, например, остроумные девизы в «Песнях», но в общем они малозначительны.

Литературные пародии — своеобразная форма критики. Они должны показать какие-то скрытые для глаза, но весьма существенные недостатки писателя. Именно так работал Александр Архангельский, замечательный мастер пародийного жанра. Раскин и Слободской пока что слабо обнаружили эти совершенно необходимые для пародиста качества.

Было бы опрометчиво на основании небольшой книжки строить догадки о том, в каком направлении будут в дальнейшем развиваться молодые сатирики, и заниматься предсказаниями, что они отойдут от пародии и займутся только фельетоном, или превратятся в драматургов, или станут романистами. Очевидно, Раскин и Слободской пока еще «пристреливаются». Процесс естественный и неизбежный.

И только одно хочется посоветовать писателям: не ограничивать себя узколитературными темами, не замыкаться в них. Надо наряду с этим заняться разработкой тем общественных, «гражданских». Хороший фельетон в нашей прессе не слишком частый гость, а потребность в нем есть большая — вспомним заслуженный успех фельетонов И. Ильфа и Е. Петрова и изредка появляющихся и сейчас фельетонов Е. Петрова.

Такая работа дает большое удовлетворение и самим писателям; она укрепляет их связь с жизнью, расширяет знание действительности. Такая работа нужна и полезна многотысячному советскому читателю.

М. Цейтлин

С. ГОЛУБОВ, Солдатская слава. Исторический роман. Журнал «Знамя», 1939 г., № 7.

Сто лет назад, во время так называемой кавказской войны (завоевание Кавказа русскими войсками), русский солдат взорвал минный погреб в укреплении, осажденном горцами, и похоронил под обломками крепости и себя, и немногочисленный гарнизон, и сотни горцев, ворвавшихся в крепость. Подвиг солдата генералы, командовавшие русскими войсками, приписали себе.

Этот исторический факт положен в основу романа «Солдатская слава».

В нашей художественной литературе тема кавказской войны затрагивалась неоднократно, но обычно писатели брали в орбиту своего внимания восточный фронт, где действовал Шамиль, и не касались западного фронта, войны на побережье Черного моря. С. Голубов является пионером в этом отношении.

В романе раскрываются действительные причины войны с горцами. Кавказ стал объектом экспансии России, Англии и Турции, интересы этих держав взаимно противоречили друг другу, и самостоятельное существование Кавказа оказалось невозможно. Исторически Кавказ всегда тяготел к России, и естественно, что именно Россия должна была присоединить к себе Кавказ. Но царские генералы, прикрывавшие жестокостью свою бездарность, генералы, для которых решающую роль играла личная нажива, жажда почестей, славы и орденов, а не историческая задача объединения Кавказа с Россией, действовали так, что война затянулась на полсотни лет и была необычайно жестокой. Способствовали этому и горские князья, подкупаемые деньгами и лестью английских разведчиков и шпионов.

С. Голубов хорошо показывает и эпоху и обстановку кавказской войны.

В романе действуют генералы Граббе и Раевский, когда-то близкие к декабристам, а после подавления декабристского движения ставшие верными слугами Николая; генералы Головин, Засс, Коцебу, в армиях которых русские солдаты гибли сотнями и тысячами не столько от пуль и кинжалов горцев, сколько от болезней, мора, голода. В романе выведены также переведенные на Кавказ из Сибири декабристы типа Лорера, Назимова, Голицына, неустойчивые и слабохарактерные, в обычном распоряжении правительства видевшие проблески прогресса и с восторгом принимавшие самую незначительную журнальную критику.

Главный герой романа — русский солдат Конан Юрков. Юрков ищет правду на русской земле и не находит ее. Он видит произвол, угнетение русских людей царем и его приспешниками, но не находит выхода из положения, не находит применения своим силам. Он пытается агитировать солдат, но из этого ничего не выходит. Юрков хочет найти правду, раскрыв преступления начальника крепости майора Тараурова, продававшего горским князьям вооружение, которого и без того недоставало для защиты крепости, но убеждается, что и это не та правда, которая ему нужна. Юрков находит свою правду в том, что

жертвует собой, взрывая крепость в момент, когда горцы уже взяли ее, перебив почти всех защитников. Но и этот подвиг, эту правду забрали себе царские генералы. Жизнь и подвиг солдата Конана Юркова писатель резюмирует в кратких словах, вложенных им в уста Лермонтова.

«Что произошло? Очень просто. Солдат совершил подвиг, святой подвиг славы, бессмертный и чистый, как народная русская душа. Как орел, поднялся он над веком себялюбцев, марающих землю... Но к хвосту орла прицепились пауки. И в темных головах своих почитают себя единственной причиной славного полета. Подлость, как и во всем! Орел погиб — пауки висят на мерзкой своей паутине».

Для литературоведов и историков роман С. Голубова не дает ничего нового. Писатель использовал мемуары декабриста Лорера, А. А. Дельвига, книгу «Проделки на Кавказе» Хамар-Дабанова (псевдоним Л. П. Лачиновой) и «Кавказские сборники». Но для широкого читателя от этого роман ничего не теряет, так как использованные материалы давно уже являются библиографической редкостью.

Лермонтов появляется в романе лишь на последней его странице. Естественно, было бы нелепо требовать от автора полной его характеристики. Но точности требовать можно и нужно. С. Голубов одевает Лермонтова в лейб-гусарский мундир, в то время как хорошо известно, что Лермонтов в описываемое время был поручиком армейского полка (Тенгинского пехотного), в который он был переведен царем за «провинность». С. Голубов отправляет Лермонтова в Петербург, тогда как в это время (лето 1840 г.) Лермонтов находился в ссылке на Кавказе. Для писателя-историка такие «ошибки» непростительны.

С. Иванов

Б. ШЕРГИН, У песенных рек. Гослитиздат, М., 1939 г. Стр. 195. Цена 3 р. 25 к.

В течение ряда лет Б. Шергин, сам житель севера, записывал народные высказывания, афоризмы, сказы и песни о вождях народа, о великих сынах родины, о жизни народной на севере.

О себе автор говорит:

Я родом из поморья, умом архангелородец,
Себя не хаю и людей не хвалю.
. . . .
...Я вас в гости зову, во свой дом веду,
За свой стол сажу, свою радость говорю.

(«Морской зазыв», вместо предисловия).

И действительно: вся книга преисполнена искрящейся радости народного творчества.

Первая часть книги («Перед зорями») содержит рассказы о дореволюционной жизни. Тут мы находим яркие картины природы, северного сияния «полуночной страны», «великого студеного моря-океана».

Сюда же органически входят рассказы о рыбном промысле, о «мурманских зуйках», мальчиках-сиротах, «у кого отца нет», находящихся в услужении у зажиточных промышленников на Мурмане.

Захватывают сочной, колоритной народной речью рассказы «Рожденье корабля», «Старые старухи», «Рассказы Соломониды Ивановны».

Заканчивается первая часть книги полным драматизма рассказом «Новая земля» — о рыбаках, которых унесло на льдине в глубь океана.

Вторая часть книги носит название «У песенных рек». Она состоит из сказов о вождях народа — Марксе, Ленине, Сталине, о Сталинской Конституции, Красной армии, о Ворошилове и Буденном, о великих сынах родины Пушкине и Горьком.

Высказывания о Ленине записаны автором в 1927 году; два отрывка о Сталине — в 1927 и в 1929 годах. Затем идут записи более позднего времени (1929—1934 гг.). Большинство высказываний, эпизодов — устная, легендарно-сказочная биография наших вождей, характеристики их личности.

Вот некоторые из этих ярких, красочных высказываний:

Ленин

«Ленин родился, Маркс стал радоваться о нем, стал ждать его. Письма посылал Ленина родителям:

— Володю смеряйте ниткой от катушки и пошлите ниточку мне в письме. Я узнаю, велик ли вырос».

«А учиться Ленин стал, Маркс ему перво слово в тетрадку напишет, Ленин сам дальше знат».

Сталин

«...Его тоже годов семи привели в училище к Марксу. Ребятишки за столом балуют. Маркс говорит:

«Молчите теперь! К нам поступил который землей поворотит».

«Маркс Ленину да Сталину капитал оставил: «На свою семью разделите».

Они на всю землю разделили: «Все — наша семья».

«Сталин в Москве все равно, что всемирна электрическа станция: во все концы мира свет подават».

Глубоко и проникновенно звучат сказы о «преименитом Советском Союзе», о Ста-

линской Конституции, о Красной армии, о Ворошилове и Буденном.

Рассказы о Пушкине принадлежат неграмотной пинежанке С. И. Черной, обладающей поэтическим даром, и даровитой сумской поморке А. В. Щегловой.

«Слово о Горьком» составлено на словесно-речевом материале, собранном у северян в 1934—1936 годах.

Рассказ о Пушкине занимает около десятка страниц, но уже в первых двух строках дан весь Пушкин:

«Он певец был, песенный наблюдатель, книга сказитель, грамоты списатель. Землю, как цветами, песнями украсил».

А о Горьком:

«Почему этот человек назван Горьким? Потому что его слово царям было горько и они Алексея горькой смертью стращали. Потому что он с горестью жизнь начинал, прискорбным путем ходил, полынный хлеб ел, горькую воду пил».

При чтении книги «У песенных рек» Б. Шергина вспоминаются слова нашего великого пролетарского писателя М. Горького:

«Народ — не только сила, создающая все материальные ценности, он единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных».

Д. Маневич

Уполн. Главлита А-19363. Сдано в набор 5/VIII— IX 1939 г. Подп. к печати 19/X 1939 г. Бумага 70×101 см. 1/16 доля. 11 п. л. по 59 т. зн. М. Г. 118. Нар. 867. Фабрика юношеской книги изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», ул. Фридриха Энгельса, 46. Тираж 35 000 экз. **Технический редактор И. И. Соленов.** Корректоры И. Кудашев и М. Соколова.

Цена 2 р. 50 к.

Адрес редакции: Москва, Центр, Новая площадь, д. 6.
Телефон К-1-14-33.